

Даниил
Гранин

Даниил ГРАНИН

Чужой дневник

Чужой дневник

{ Биографии,
автобиографии,
мемуары }



Биографии,
автобиографии,
мемуары

Даниил ГРАНИН

Чужой дневник



Колibri

МОСКВА

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
Г 77



Составитель НАТАЛИЯ СОКОЛОВСКАЯ

Серийное оформление АНДРЕЯ РЫБАКОВА

Оформление обложки ВАЛЕРИЯ ГОРЕЛИКОВА

В оформлении обложки использована фотография
работы Юрия Белинского

В издании использованы фотографии из архива
Даниила Гранина

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

ISBN 978-5-389-14093-6

© Д. А. Гранин, наследник, 2018
© Н. Е. Соколовская, состав, примечания, 2018
© А. В. Фалдин, фото, 2018
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство Колибри®

Содержание

СТРАХ

Запретная глава	9
«Блокадная книга» без цензуры и ретуши	38
Не многое сбылось	66
Страх	73
Немецкий лейтенант и его дочь	173
Строительство «Т»	185
В защиту Сталина	195
Исчислил Бог царствие твое... ..	205

ЧУЖОЙ ДНЕВНИК

Неожиданное утро	
Совсем о другом	215
Неожиданное утро	223
Могила Баха	226
Хемингуэй	229
Церковь в Овере	232
Примечания к путеводителю	
Встреча в аббатстве	249
Пикадилли	264
Счастливый конец	273

СОДЕРЖАНИЕ

Заговорщики	284
Восковые фигуры	290
Тринадцать ступенек	296
Два моста	304
Прекрасная Ута	
Ночью в замке	321
Школьные уроки	325
Разная война	328
Кнопка	334
Старые доски купальни	350
Нас было четверо	368
Портрет Уты	378
Чужой дневник	381

Страх

Запретная глава

Случилось это в 1978 году. Мы с Алесем Адамовичем работали над второй частью «Блокадной книги». Не помню уж, через кого вышли мы на Б-ва. Блокадники, которых мы записывали, передавали нас друг другу. О Б-ве мы были наслышаны от многих и давно добирались до него, однако получилось это не сразу, он жил в Москве, был человек занятой: первый зам союзного министра. Во время блокады Б-в работал помощником Алексея Николаевича Косыгина, направленного представителем Государственного комитета обороны в Ленинград. Услышать Б-ва нам было важно, чтобы обозреть блокадное время как бы с иной стороны — государственных усилий по снабжению осажденного города, по эвакуации населения и ценностей. До этого нас занимали частные судьбы, бытовые истории, но мы чувствовали, что читателю надо приподняться и окинуть разом всю картину, увидеть то, о чем не знал никто из блокадников, замерзавших в своих ледяных норах.

Б-в отнекивался как мог, наконец сдался и щедро потратил на нас несколько вечеров. С трогательной добросовестностью уточнял каждую цифру, факт, а когда речь заходила о самом

Косыгине, щепетильно проверял по каким-то источникам даты, маршруты поездок, названия предприятий. Чувствовалось глубочайшее почтение к Косыгину и школа. Но эта же школа исключала проявление всякого живого чувства. Требовался точный доклад, отчет, пояснительная записка. При чем тут личные переживания? Эмоции мешали. И никаких самостоятельных рассуждений, впечатлений, догадок.

Добиться от Б-ва рассказа о том, как он прожил в блокадном городе семь отчаянных месяцев среди обстрелов, пожаров, трупов, нам не удалось. Он выступал лишь как функция, как помощник Косыгина, не более того. Не считал возможным фигурировать отдельно, сам по себе. Он помощник Косыгина, все они были помощниками Косыгина. Ну а сам Косыгин? Сам-то как, — волновался, боялся, страдал? Что для него значила блокада? Ведь жизнь его, ленинградская, казарменная, проходила на ваших глазах.

Он смотрел на нас с недоумением. Такие вопросы в голову не приходили, да и вообще... Он был несколько смущен, не представлял себе, как такие переживания отзовутся на репутации шефа. Речь шла о нынешнем Председателе Совета министров страны. Да и в ту блокадную пору Косыгин был тоже заместителем Председателя Совнаркома. О людях такого ранга не принято... Да и нельзя за другого. И вот тогда нас осенило — а если спросить у самого Косыгина? Взять и записать его рассказ! Точно так же, как мы записывали рассказы других блокадников. Он для нас в данном случае такой же блокадник, как и все другие. Мысль, что Предсовмина можно расспрашивать и записывать, как обыкновенного блокадника, явно ошарашила Б-ва. Сперва он высмеял нас. Это было легче, чем возразить. Мы настаивали, и воистину — «толцые, и отверзется», — вскоре он призадумался, закричал и разродился туманно-осторожным: «Попробуем узнать».

По своей провинциальной простоте мы полагали, что Б-ву для этого стоит снять трубку и по ихней кремлевской вертушке позвонить своему бывшему шефу: так, мол, и так. Все же почти фронтовые кореша, да и по должности своей

Б-в тоже не жук на палочке. На это Б-в зажмурился от невозможности слушать такую дичь.

Как там далее блуждал наш проект в лабиринтах власти, неизвестно. Время от времени Б-в сообщал нам: «выясняется», «рассматривают», «надо кое-что уточнить», «дело движется»... Потом оно перестало двигаться. А потом двинулось вспять. Почему, отчего — нам не сообщалось, фамилия Косыгина в телефонных разговорах не упоминалась. Текст применялся иносказательный. Мы решили, что вступаем в особую зону правительственных контактов, шут его знает, может, у них положена такая таинственность и постоянная опаска — «это не телефонный разговор».

Уж не рады были, что втянули Б-ва в эту историю. Сказал бы: да — да, нет — нет, что там мудрить. Но, оказывается, чего-то там зацепилось, и назад ходу не было.

Однажды Б-в позвонил мне в Ленинград и попросил завтра быть в Москве. Достать билет в тот же день было не просто, но я понимал, что с такими мелочами Б-в считаться не может, тем более — лицо, которое он представлял.

В Москву я прибыл. К вечеру Б-в заехал за мною, и мы отправились в Кремль. По дороге он пояснил, что согласились принять меня одного, тут ничего не поделаешь.

Бесшумные коридоры, охрана, лесенки, переходы, все блестит, начищено. Приемная... Минута в минуту, нас уже ждали, сразу провели в кабинет.

Косыгин существовал для меня издавна. На портретах, которые мы носили во время демонстрации, на портретах, которые вывешивали шеренгами по улицам: все в одинаково черных костюмах, одинаковых галстуках, разница была в золотых звездочках Героев — были с одной, были с двумя. Годы, десятилетиями они пребывали не старея. На экранах телевизоров, неизменно благожелательные и строгие, они тоже шеренгой появлялись в президиуме, вместе начинали аплодировать, вместе кончали. Что мы знали о них, об их характерах, взглядах, пристрастиях? Да ничего. Ни про их жен, ни про друзей, ни про детей. Не было слышно, чтобы кто-то

из них когда-нибудь покупал что-то в магазине, ехал в троллейбусе, беседовал с прохожими, ходил в кино, на концерт, сам по себе, просто так. Индивидуальность скрывалась тщательно. Впрочем, Косыгин чем-то отличался. Пожалуй, его отличала хмурость. Он ее не скрывал, и это привлекало. Хмурость его шла как бы наперекор общему славословию, болтовне, обещаниям скорых успехов. Из мельчайших черточек, смутных ощущений мы, ни о чем не ведающие винтики, накапливали симпатию к этому озабоченному работяге, который силится и так и этак вытащить воз на дорогу.

...Под коротким седым ежиком лицо узловатое, давно усталое, безулыбчивое. Никаких предисловий, деловитость человека, привыкшего быстро решать, а не просто беседовать. Но мне надо было именно беседовать, заняться воспоминаниями, мне надо было сбить его деловитость. Поэтому вместо вопросов я принялся осматривать кабинет. Нарочито глазел, как бы по-писательски, не скрывая любопытства. Дубовые панели вдоль стен, могучий старомодный письменный стол в глубине, ковровые дорожки, тяжелые кресла. Чем-то этот просторный кабинет, и высокие окна, и вид из них показались знакомыми. Как будто я видел все это, но когда?.. Он уловил мое замешательство. «Да это же кабинет Сталина», — подсказал мне Косыгин.

Вот оно что! Тогда ясно. Сколько навидались мы фотографий, кинофильмов, где Сталин, попыхивая трубочкой, прохаживался по этой дорожке, вдоль этого стола. Годами он работал здесь.

Все во мне насторожилось, напряглось, словно бы шерсть вздыбилась.

— М-м-да-а, — протянул я с чувством, где вместо восторга было то, в чем я сам не мог разобраться.

Косыгин бросил на меня взгляд, линиялые его глазки похолодели.

Мы сели за маленький столик поблизости от входа, подалее от того рабочего письменного стола. Втроем. Косы-

гин, Б-в и я. На столике стоял белый телефон. Ни разу за весь вечер никто не отвлек нас звонком, никто не вошел.

Я достал магнитофон, небольшой испытанный магнитофон, который безотказно послужил нам уже в сотне встреч. Но Косыгин отвергающе помотал головой. Нельзя!.. Почему? — я недоуменно уставился на него. «Нельзя», — повторил он именно это слово. А от руки записывать карандашом? Это можно. И предупредил, что, когда запись будет обработана, прежде чем включать в книгу, он просит обязательно дать ее ему прочесть. И еще: поменьше упоминать его личные заслуги, не выпячивать его роль. Все мероприятия проводились совместно с Военным советом и городскими организациями.

Все это было изложено сухо, бесстрастно и без каких бы то ни было пояснений. С самого начала мне давали понять: все это не так просто, извольте соблюдать.

Он испытующе подождал, не откажусь ли я?..

Итак, что меня интересует? Я перечислил вопросы. Известно, что в Ленинграде к зиме 1941 года скопилось на Сортировочной станции две тысячи вагонов с ценным оборудованием, цветными металлами для военных заводов. Почему это произошло? Можно ли было отправить их до того, как блокада замкнулась? Почему ГКО пришлось послать в Ленинград своего представителя, то есть Косыгина? Как было наладить эвакуацию по Дороге жизни всякого рода приборов, инструмента, наиболее дефицитных вещей? Одновременно срочно вывозить голодающих детей, женщин, мастеров, ученых. Как приходилось выбирать?..

Б-в сидел прямо, отстраненно-молчаливый. Свидетель, что ли? Похоже, что совершалась какая-то процедура, как бы ритуал, предназначенный неизвестно для кого.

Отвечать Косыгин начал издалека. Но вскоре я понял, что он не отвечал, а рассказывал лишь то, что собирался рассказать, независимо от моих вопросов. Блокадники тоже рассказывали не то, что я спрашивал, а то, что было им интересно.

Это меня устраивало. Тем более что это действительно было интересно. И рассказывал он хорошо — предметно, лаконично.

В конце августа в Ленинград из Москвы была направлена комиссия: Молотов В. М. (председатель), Маленков Г. М., Берия Л. П., Косыгин А. Н., Кузнецов Н. Г. (нарком Военно-морских сил), Жигарев П. Ф. (командующий Военно-воздушными силами), Воронов Н. Н. (начальник артиллерии).

— ...Летели самолетом до Череповца. Дальше нельзя — шли воздушные бои. В Череповце взяли паровоз с вагоном. Недалеко от Мги попали под бомбежку. Вышли из вагона, укрылись в кювете, впереди зарево, горят станция, склады, поселок. Пути разбиты. Сидим. Я говорю Кузнецову — пойдем посмотрим, что делается впереди. Пошли. Кое-где ремонтники появились, еле шевелятся. Стоит какой-то состав. Часовые. Мы к ним: что за эшелон? Красноармеец матом нас шуганул. Представляете — наркома и меня, заместителя Председателя Совнаркома! — Он благодушно удивился. — Мы потребовали вызвать командира эшелона. Он явился. Попросил извинить. Оказывается, сибирская дивизия следует на фронт. Через них кое-как связались с Ленинградом, с Ворошиловым. Он прислал за нами бронепоезд — два вагона плюс зенитки...

Этот рассказ я записал буквально. Картина была впечатляющая: в мокрой канаве, ночью, приткнулись, в сущности, все высшие чины правительства и армии. Воют бомбардировщики. Грохочут зенитки. Полыхают пожары. Впервые в жизни попали они в такую передрагу. Вжались в землю, съежились... По себе знаю, какой это страх — первая фронтовая бомбежка. Любопытно, конечно, кто там как себя вел — всемогущий Берия, и Маленков, и Молотов, — как они держались, хлебнув на несколько минут хотя бы такой войны.

Под утро добрались до Ленинграда. Прибыли в Смольный, собрали командование. О положении на фронте докладывал Ворошилов — главком Северо-Западного направления.

Наступление немецких войск удержать не удалось. Немецкие армии двигались на город с нескольких сторон. Обстановка была запутанной, нарушалось управление фронтами. Вечером комиссия подвела итоги. Несколько военных советов — Северо-Западного направления, города, Красногвардейского укрепрайона и других — создавали неразбериху. Решено было создать единый Военный совет, выделить самостоятельный Карельский фронт, передать ему такие-то части.

Уже тогда стало ясно, что руководство города, не понимая опасности, угрожающей Ленинграду, не заботилось обеспечить эвакуацию жителей и промышленности.

Формулировки Косыгина были сдержанны. Можно было бы сказать и резче. Мы с Адамовичем столкнулись, например, с фактами агитации и настроений тех дней, когда отъезд из города считался малодушием, неверием. Поощрялась бравада: «Мы, истые ленинградцы, не покинем своего города!» — и это затрудняло организованную эвакуацию.

Комиссия должна была определить, можно ли оставлять Ворошилова командующим, как наладить взаимодействие армии и Балтийского флота. А за всем этим поднимался грозный вопрос — удастся ли удержать город? Следовало предусмотреть самые тяжкие варианты. Если не удастся, — что делать тогда с флотом, с населением, с городом?.. На завтра разбились на группы. Молотов занимался Смольным, Берия — НКВД, Косыгин — промышленностью. Вечером докладывали в Москву. Молотов сказал Косыгину: «Вы здесь задержитесь. Так сказал Сталин. Потом созвонимся». Косыгин остался организовать эвакуацию предприятий на восток. Вместе с заводами надо было отправлять специалистов.

Вскоре Ставка отозвала Ворошилова, в Ленинград прибыл Жуков. «Провожали Ворошилова тепло, устроили ему товарищеский обед, так что все было по-человечески, — подчеркнул Косыгин, — а не так, как изображено в некоторых романах». Он старался внушить сочувствие и уважение к Ворошилову: «Одно его имя воодушевляло, а появление его на передовой поднимало войска».

Мне вспомнилось августовское наше отступление и сентябрьские бои под Ленинградом, уход из Пушкина. Связи со штабами не было, снаряды не подвозили, обстановки никто не знал, офицеры командовали то так, то эдак. Легенды о Ворошилове вызывали насмешку, даже ругань: где-то, мол, он поднял солдат и повел их в атаку. На кой нам эта атака и этот вояка!.. Два месяца боев нас многому научили, мы понимали, что если командующий фронтом ведет в атаку, то никакая это не доблесть, а отчаяние. К середине сентября фронт окончательно рухнул, мы оставили Пушкин, мы просто бежали. На нашем участке противник мог без всяких препятствий идти до самого Ленинграда. Таково было наше солдатское понимание, вытекающее из того, что видели мы на своем отрезке от Шушар до Пулкова.

Я мог бы кое-что еще выложить Косыгину про командование Ворошилова, до чего оно довело, и как переменилось на фронте, когда появился Жуков, даже до наших окопов дошло... Но я не стал прерывать, понял, что Косыгин не знает военного дела и не знает про Ленинградский фронт. Зато про блокаду он знал то, чего не знал никто.

...Постепенно он увлекся, видно, ему самому интересно было показать, какие масштабы приняла помощь окруженному Ленинграду (это уже в январе 1942 года), как ему удалось мобилизовать обкомы партии разных областей на сбор продовольствия, как наладили в областях прием эвакуированных. Память у него сохраняла фамилии, количество продуктов, машин, названия предприятий. Поразительная была память. Думаю, что рассказывал он про это впервые. Так свежо было удовольствие, которое он испытывал, вспоминая. Бесстрастный голос его смягчался, его уносило в какие-то отступления, которые вроде и не относились напрямую к нашей теме. Но они были интересны ему самому. Одно из них касалось октябрьских дней 1941 года в Москве, самых критических дней войны. Москва поспешно эвакуировалась, в Куйбышев отбыл дипломатический корпус, отправили артистов, Академию наук, наркомов... Из руководителей остались Сталин, Мален-

ков, Берия и он, Косыгин. Между прочим, организовав отправку, Косыгин назначил Николая Алексеевича Вознесенского главным в правительственном поезде. Вознесенского такое поручение рассердило, характер у него был крутой, его побаивались, тем более что он пребывал в любимцах у Сталина. Сталин его каждый вечер принимал. Вознесенский пригрозил Косыгину, что пожалуется на это дурацкое назначение. Следует заметить, что Вознесенский был уже кандидатом в Политбюро, а это много значило.

— Я не отступил, и Вознесенский вскоре сдался: черт с тобой, буду старшим. А я не боялся, мы с ним друзья с ленинградских времен...

Косыгин вдруг замолчал, сцепил пальцы, останавливая себя.

Мало уже кто слышал про Вознесенского. Сделали все, чтобы имя это прочно забыли. Как и «Ленинградское дело». Не было такого, и следов нет. Тем более что делу этому не предшествовала борьба мнений, оппозиция, никого не разоблачали. Да и разоблачать-то было нечего. Не было публичного процесса. Уничтожили втихую. Наспех заклеямили, прокляли, но толком никто не понимал за что, почему.

Значит, они были друзья... Вознесенский Николай Алексеевич, один из самых образованных в том составе Политбюро. «Один из» — это я по привычке. Просто самый образованный, талантливый, знающий экономист. Заодно уничтожили и брата его, министра просвещения РСФСР, бывшего ректора Ленинградского университета, и сестру, секретаря одного из райкомов партии Ленинграда, всю их замечательную семью. Всех подверстали к ленинградским руководителям — П. Попкову, Я. Капустину, А. Кузнецову, в то время уже секретарю ЦК. Происходило это спустя четыре года после войны. В 1949–1950 годах. Те, кто вернулся оттуда в 60-е годы, случайно уцелев, рассказывали мне, как пытали и Кузнецова, и других. Добивались от них, чтобы признали заговор, будто собирались создать российское ЦК, сделать Ленинград столицей России, противопоставить, расколоть партию... Словом,

даже для того времени — бредовина, состряпанная кое-как. Преподносил ее в Ленинграде на активе Маленков, не заботясь о правдоподобии, — наплевать, сожрут.

Кто там с кем боролся за власть — Маленков с Берией, оба ли они против Вознесенского, — не разбери-поймешь. Убрать Вознесенского устраивало и остальных, поскольку Сталин прочил его в преемники, механика клеветы была отработана.

Косыгин, конечно, знал подноготную тех страшных репрессий, что опустошили Ленинград, перекинулись и на Москву, и на другие города. Брала бывших ленинградцев, и не только их. Косыгин уцелел чудом, почти единственный из «крупных» ленинградцев. В ту зиму 1949/50 года за ним могли прийти, взять его в любую минуту. Внешне он оставался на вершине власти, его чтили, боялись, сам же он жил день и ночь в непрерывном ожидании ареста. Смерть предстояла совсем иная, чем наша фронтовая, солдатская, с пулевым присвистом или снарядным грохотом, отчаянная или нечаянная, и другая, чем блокадная — обессиленно-тихая, угасание... Он-то хорошо знал, что вытворяли с его друзьями, про ту пыточную, издевательскую...

Понимал ли он гнусность происходившего? Или все простил за то, что его минуло? Нет, вроде не простил... Но оправдывал ли Сталина? Чем мог его оправдать? Позволял ли себе думать об этом? Что же, гнал от себя недозволенные мысли, чтоб не мешали работать? С годами привык гнать, ни о чем таком не задумывался? Куда ж они деваются, придавленные сомнения, загнанные в подполье мысли, во что превращаются старые страхи?

Ничего нельзя было прочесть на его твердом, опрятно прибранном лице.

— За что же его так, — начал я про Вознесенского, — если Сталин его привечал, то почему же...

Но тут Косыгин, не давая мне кончить, словно бы и не было паузы, словно бы я помешал ему, сделал останавлива-

ющий жест и продолжал свой рассказ. Позже я понял значение этого предупреждающего жеста.

Одну за другой выкладывал он интереснейшие подробности о том, как 16 октября здание Совнаркома опустело: двери кабинетов настежь распахнуты, валяются бумаги, шуршат под ногами, и повсюду звонят телефоны. Косыгин бегом из кабинета в кабинет, брал трубку, алёкал. Никто не отзывался. Молчали. Он понимал: проверяют, есть ли кто в Кремле. Поэтому и носился от телефона к телефону. Надо, чтобы кто-то был, пусть знают...

Тут я вставил про нашего лейтенанта, который, прикрывая отход, бегал от пулемета к пулемету, стрелял очередями, как будто мы еще сидим в окопах.

Один из звонивших назвал себя. Это был известный человек. Деловито справился: «Ну как, Москву сдавать будем?» Косыгин всадил ему: «...А вы что, готовы?» И выругался. Никогда не ругался, а тут выругался.

В Ленинград он вновь прибыл в январе 1942 года. Решилось это под Новый год. 31 декабря к Косыгину зашел П. Попков, в то время председатель Ленгорисполкома. Приехал он в Москву в командировку. С Косыгиным они дружили — земляки, да к тому же Косыгин сам когда-то работал в Ленинграде на той же должности. За разговором припозднились, и Косыгин предложил поужинать вместе. В это время позвонил Вознесенский, спрашивает: «Где будешь Новый год встречать?» — «Не знаю». — «Давай у меня дома». — «Хорошо, но я с Попковым приду». — «Годится». Договорились, поехали к Вознесенскому, поужинали у него, хозяин предложил посмотреть какую-нибудь комедию. Все же Новый год. Отправились в просмотровый зал в Гнезниковский переулок. Сидят, смотрят, смеются, вдруг появляется дежурный: Косыгина к телефону. «Вас товарищ Сталин вызывает». Действительно, Сталин его разыскал, спрашивает, что он, Косыгин, делает? Кино смотрит? С кем смотрит? Выслушал, помолчал, потом спрашивает: каким образом вы вместе собрались? Косыгин подробно объяснил, как происходило дело.

Сталин говорит: «Оставь их, а сам приезжай к нам». Косыгин приехал. Было часа три ночи. У Сталина сидели за столом Маленков, Берия, Хрущев, еще кто-то. Выпивали. Настроение было хорошее. Берия подшучивал над тем, как лежали в канаве. И тут Сталин сказал: «Неплохо бы вам, Косыгин, в Ленинград поехать, вы там все знаете, наладить надо эвакуацию».

— Так состоялось мое назначение.

— Ну и ну, — сказал я. — Хорош Сталин, что ж это он на каждом шагу подозревал своих верных соратников?

У меня это вырвалось непроизвольно, я был полон искреннего сочувствия к Косыгину.

Он помрачнел и вдруг с маху ударил ладонью по столу, плашмя, так, что телефон подпрыгнул:

— Довольно! Что вы понимаете!

Окрик был груб, злобен, поспешен. Весь наш разговор никак не вязался с такой оплеухой.

Меня в жар бросило. И его бескровно-серое лицо пошло багровыми пятнами. Б-в опустил голову. Молчание зашипело, как под иглой на пластинке. Я сунул карандаш в карман, с силой захлопнул тетрадь. Пропади он пропадом, этот визит, и эта запись, и эти сведения. Обойдемся. Ни от кого начальственного хамства терпеть не собираюсь.

Но тут Косыгин опередил меня, не то чтобы улыбнулся, этого не было, но изменил лицо. Качнул головой, как бы признавая, что сорвался, и сказал примиренно:

— О Сталине лучше не будем. Это другая тема.

И сразу, без перехода, стал рассказывать о том, как готовился уехать в блокадный Ленинград в январе 1942 года, как собирал автоколонны для Дороги жизни, обеспечивал их водителями, ремонтниками, добывая автобусы, нельзя же в стужу везти по озеру детей и женщин в открытых грузовиках.

Записывал я машинально, все еще не мог прийти в себя. На кой он выдал мне эту историю про Сталина, мог же понять, что любой слушатель на это отозвался бы так же. Если

у тебя болит, так какого черта ковыряешь. Сталинист он или кто? В самом деле, почему он ничего не изменил в этом кабинете, все оставил как было? Почитает? Боится?

Исподлобья по-новому я озираю громоздкую мебель кабинета, угрюмо-добротную, лишенную украшений и примет, торжество канцелярского стиля... Массивная дверь в глубине, позади письменного стола, откуда, бесшумно ступая в мягких сапожках, появлялся вождь народов.

Спустя четверть века дух его благополучно сохранился и мог привольно чувствовать себя среди привычной обстановки. Есть ли они, духи прошлого, обитают ли они в местах своего жития, — не знаю, какая-то чертовщина все же действует, для меня ведь что-то витало, для нынешнего хозяина тем более многое должно было оставаться. Он-то наглядно представлял, как решались здесь судьбы того же Вознесенского, и Попкова, и Кузнецова, и всех остальных тысяч уничтоженных по «Ленинградскому делу», как обговаривали здесь выселение калмыков, чеченцев, балкар с родных мест, проведение разных кампаний по борьбе то с преклонением, то с космополитизмом, то со всякими шостаковичами, зощенками, ахматовыми.

Господи, какие молитвы и какие проклятия неслись к стенам этого респектабельного кабинета из всех тюрем, лагерей, эшелонов. Кровавые призраки прошлого, они блуждали здесь и поныне неприкаянные, куда же им деваться? Звенели телефоны, шелестели бумаги, заседали министры, замы, референты, секретари приноровисто двигались сквозь бесплотные видения. Минувшее действовало незаметно, как радиация.

Сталинист, несталинист — такое упрощенное определение не годилось. Он вспылит не обязательно из-за Сталина, тут ведь тоже вникнуть надо: вам излагают факты, преподносят случай разительный, вот и толкуйте его как хотите. Но не вслух! И не требуйте выводов! Факты святы, толкование свободно... Это не то чтоб осторожность, это условие выживания. Не трактуй и не трактован будешь. Усвоено, стало

привычкой, вошло в кровь. Любые сомнения в правоте вож-
дя опасны. Чем выше поднимаешься, тем осмотрительней на-
до держаться, тем продуманней вести себя. Взвешивай каж-
дый жест, взгляд. Оплошка приводила к падению, а то и к ги-
бели. Недаром бóльшая часть членов Политбюро погибла.

Выучка обходилась дорого. Личность по мере подъема
состругивалась, исчезала. Когда-то Федор Раскольников до-
вольно точно описал, как Сталин растаптывал души своих
приближенных, как заставлял своих соратников с мукой и
отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей
и друзей.

Страху хватало. На всех. Ни с того ни с сего высыва-
лись чудовищные морды подозрений: а не агент ли ты чей-
нибудь?.. Страх сковывал самых честных, порядочных.

«Вот и вся хитрость — запугивали. Все боялись», — под-
хватывают молодые, и в голосе их звучит пренебрежение.

Попробуй объяснить, что, кроме страха, была вера, было
обожествление, надежда, радость свершений, — сколько вся-
кого завязалось тугим узлом. Моему поколению и то не ра-
зобраться, следующие и вовсе не собираются вникать. «Ува-
жать? — спрашивают молодые. — За что? Предъявите!» Упро-
щают самонадеянно, обидно, несправедливо, но, наверное,
так всегда обходятся с прошлым. Оно или славное, или не-
годное.

Прибыв в Ленинград, он все усилия сосредоточил на До-
роге жизни — единственной жилке, по которой еле пуль-
сировала кровь, питая умирающий город. Изо дня в день на-
лаживал ритм движения, ликвидировал заторы, беспорядок
на обоих берегах Ладоги. Пришлось устранить излишества
приказов, пустословие, улаживать столкновения гражданских
властей и военных, моряков и пехотинцев, больных и здо-
ровых. Надо было превратить эти водовороты в напористый
гладкий поток, чтобы пропустить вдвое, впятеро, в пятна-
дцать раз больше: из города — людей, а в город — муки, кон-
сервов, крупы, мяса... Проложили через озеро трубопровод,

чтобы снабжать город и фронт горючим. Наладили доставку угля электростанциям города. Мобилизовали коммунистов на восточный берег Ладоги, чтобы навести порядок на складах, потому что с хранением продуктов творилось черт знает что. Он переправлялся по этой дороге туда-назад. Когда лед сошел, ходил на катере. Однажды угодил под прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов... Он рассказывал об этом не без фронтовой небрежности.хлопотная была работа, на ногах, без кабинетов, бумаг. Боевая и с точным результатом: каждый день столько-то тысяч спасенных людей — и тех, кого вывозили на Большую землю, и тех, кому доставляли хлеб. Звездные месяцы его жизни располагались среди штабелей легких, иссушенных голодом трупов, аккуратно по расписанию наступающих бомбежек, воя сирен, артиллерийских обстрелов, сна в душном, затхлом бомбоубежище Смольного. Странная вещь — для большинства блокадников, которых я наслушался, трагическая эта, наиболее ужасающая пора в то же время озарена счастливым состоянием духа. Никогда они не дышали такой вольностью, была подлинность отношений, люди кругом открылись. Это, казалось бы, невозможное сочетание горя и счастья подметили и Ольга Берггольц в своих блокадных стихах, и Дмитрий Сергеевич Лихачев в своих записках: «Только умирающий от голода живет настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование».

В Ленинграде Косыгин был сам себе хозяин, был избавлен от каждодневного гнета, хоть отчасти, но свободен. Поэтому ему вспоминалось иначе, с признательностью. Мотался по заводам, отбирал станки, прессы, приборы, специалистов — для вывоза. Скорей, скорей готовить в районах детей, родителей, кто еще мог передвигаться, для отправки их. Поездами с Финляндского вокзала, а дальше пересадить на автобусы и туда, на тот берег, а там тоже наладить прием, кормление, медицинскую помощь и отправку этих сотен тысяч дистрофиков, доходяг, обессиленных, беспомощных людей, с их

малым скарбом, одеждой, фотографиями, остатками прежней жизни, вглубь страны. Отладить систему взаимодействия военных с милицией, с медиками, с железнодорожниками...

Вдруг он спохватился, прервал рассказ: нет, нет, все делалось совместно, разумеется, совместно с Военным советом или же с горкомом партии... Произносил отчетливо, словно бы не только для меня.

...Тем более совместно, что кругом были друзья-товарищи: и А. А. Кузнецов (с ним в некотором роде родственники), и Яков Капустин, и В. С. Соловьев, и В. С. Ефремов, и Б. С. Страупе... Полузабытые фамилии из той питерской гвардии, которую я еще застал, вернувшись с войны. Слой, что отстоялся после «Кировского дела». Когда убили Кирова, тоже произошли массовые репрессии в Ленинграде, почти все они погибли, ленинградские руководители, специалисты, хозяйственники тех лет.

Во времена «Ленинградского дела» опять стали косить подчистую. Не унять было. Заметное, яркое, тех, кто с честью прошел военное лихолетье, выдвинулся, — всех под корень. Я тогда работал в кабельной сети Ленэнерго. Приедешь в управление — того нет, этого. Где? Молчат. Исчезали директора электростанций, главные инженеры. Рядом, в Смольнинском райисполкоме, творилось то же самое. Город затих. Снова — в который раз — навалилась беда, одна не угасла, другая разгорелась. Чего только не натерпелся этот великий город и до войны, и в войну, и после: кара за карой, ни одна горькая чаша не миновала его. Все согнуть старались, в провинцию вогнать, под общий манер обрядить.

Косыгин был коренной питерец. Не помню уж, по какому поводу, а может и без повода, он рассказал, что учился в Петровском реальном училище, там, где теперь Нахимовское училище, там, где высоко, в нише здания, стоит черный бюст Петра Великого. В прошлом году, будучи в Ленинграде, он заехал в училище, просто так, взглянуть на классы своего детства.

— ...Представляете, в спальне двухэтажные кровати стоят, — сердито недоумевал он. — Будто места мало. В столовой ложки алюминиевые, перекрученные. Что мы, не можем будущих офицеров обеспечить?..

Главная досада была на то, что неприглядней стало, чем в его школьные годы.

Опасно возвращаться в места своего детства, большей частью там поселяются разочарования. И все же детство надо иногда навещать, нельзя, чтобы оно зарастало, заглохло. Мне нравилось, что он любил свое детство и бывал там. Директор Эрмитажа Борис Борисович Пиотровский рассказал, как однажды Косыгин приехал к ним в музей и попросил провести его по старой экспозиции, по тем залам, по которым водили до революции. Разыскали сотрудника, знающего границы старого Эрмитажа. Косыгин признался, что ему хочется осмотреть то, что когда-то показывал ему его дед. И долго ходил из зала в зал, останавливался, узнавал, удивлялся детской своей памяти. За время своего директорства Пиотровский не помнил, чтобы кто-то из высшего начальства сам по себе, без делегации, посетил Эрмитаж, захотел бы полюбоваться его сокровищами. Косыгин был первый. Тогдашний секретарь Ленинградского обкома и тот за все годы не нашел времени походить по Эрмитажу.

В чем состояла сложность работы в блокадном городе? — вот что мне захотелось узнать. Всегда ищешь конфликты, столкновения характеров, взглядов, трудно решаемые проблемы. Друзья друзьями, но ведь приходилось добиваться, заставлять разворачиваться того же Кузнецова и Попкова, обеспечивать Дорогу жизни. Да и с А. А. Ждановым было непросто. Тем более что ни в город, ни на фронт в передовые части Жданов не выезжал, обстановку на местах знал плохо. На это жаловались многие блокадники. К чему же сводились разногласия? То, что они были, — известно. Не случайно в своем рассказе Косыгин ни разу не упомянул Жданова, ни по какому поводу.

— Разногласия? — Косыгин посмотрел поверх меня вдаль, морщины медленно соединялись в невеселую улыбочку. — Никаких разногласий быть не могло... Не могло, — повторил он, настаивая. — Вот Хрулев, генерал армии, тот помогал всячески.

Перевел на Хрулева, потом перешел на ленинградских милиционеров, которые, помирая с голоду, продолжали нести службу. Пришлось настоять, чтобы Берия прислал с Большой земли свежие милицейские подразделения. Они крепко помогли тогда.

— Берия не хотел... Отношения Сталина и Жданова к тому времени стали неважными, — как бы невзначай бросил он. — Это Берия постарался...

Разговор коснулся продовольственных поставок, что шли через Микояна. И тут тоже, как я понял, сказались трения между Микояном и Ждановым, не случайно Жданов жаловался Сталину на Микояна. От всего этого возникали дополнительные трудности в снабжении города, Косыгину приходилось маневрировать, учитывать сложные взаимоотношения вождей. Из Ленинграда не так-то хорошо просматривались коридоры власти. Скупые его замечания высвечивали малый промежуток — лишь на шаг, чтоб не запнуться. Вообразить эти самые коридоры власти мне было трудно, у меня появлялась другая картина, привычная мне, — подстанция, распредустройства высокого напряжения, нависшие провода, тарелки изоляторов, медные шины. Воздух насыщен электричеством, повсюду потрескивает, гудит...

Как-то мне пришлось работать под напряжением у самых шин, вопреки всем правилам безопасности. Поднимаешь руку медленно, глаз не спуская с басовито жужжащей рядышком тусклой меди. Каждое движение соизмеряешь, мышцы сводит, всюду ощущаешь электрическое поле, готовое вот-вот пробить насквозь смертельным ударом. Примерно с тем же замедленным, бесконечно растянутым страхом ползли мы однажды через минное поле.

Косыгин вел свой рассказ, умело огибая запретные места, искусно сворачивая, не давая мне рассмотреть, прочувствовать, спросить... По обеим сторонам тянулись запертые, опечатанные двери. А почему? От кого заперты? От себя самого? От нас? Ему бы воспользоваться случаем. Когда еще придется повторить эту дорогу. Времени впереди немного. Восьмой десяток идет, возраст критический, когда ничего нельзя откладывать. Голова его хранила огромные материалы о блокаде, о войне, о послевоенных делах. Расскажи, чего же ждать? Второго раза не бывает. Народ доверил тебе в решающие годы руководить промышленностью, правительством, ключевыми событиями, и, будь добр, отчитайся. Напиши или расскажи. Тем более что творили вы эту нашу историю, судьбу нашу — безгласно, решали при закрытых дверях, никому не открывались в сомнениях или ошибках. Когда-то существовало в обществе историческое сознание. И большие, и малые деятели понимали свою ответственность перед детьми, внуками, свою включенность в историю. Куда исчезло это чувство? Люди стали так немо, словно виновато, уходить из жизни. Но почему? Ведь сделано много хорошего. Если что не так, то тем более надо поделиться... Ты же остался последний из всех твоих друзей-сподвижников, никто из ленинградских секретарей обкома тех лет не уцелел, никого из членов Военного совета тоже нет в живых...

Чем дальше я слушал его, тем меньше понимал, чего он так стережется. Ему-то чего опасаться? Глаза наши сошлись.

— Нельзя того, нельзя этого, а что можно? — вырвалось у меня.

Он понял, о чем я, и понял, что я понял, это перешло из глаз в глаза. Ничего не ответил, хмыкнул то ли над моей бестолковостью, то ли над тем, чего я не в состоянии был увидеть.

Молчаливый телефон стоял между нами на пустом столике. Присутствие его мешало. Он стоял как соглядатай, слухач.

Господи, хоть бы что-нибудь сменил в этом кабинете. Мне стало жаль этого старого, но еще сильного, умного человека, который вроде бы так много мог, имел огромную власть и был так зажат.

...Все же одно обстоятельство надо было прояснить. Во что бы то ни стало. Не отступаться, пока не узнаю, как совершался выбор в делах эвакуации. Выбор между населением и оборудованием. Между умирающими от голода и станками, аппаратурой, необходимой для военных заводов. Вывозили самолетами, баржами, машинами, но транспорта было в обрез, не хватало, приходилось выбирать, что вывозить раньше — людей или металл, кого спасать, кому помогать: фронтовикам — танками, самолетами — или же ленинградцам... Так вот, на каких весах взвешивали нужду и срочность?

— И людей вывозили, и оборудование. Одновременно, — ответил Косыгин.

— Ясно, что одновременно, но это в общем и целом. А практически ведь всякий раз приходилось решать, чего сколько.

— Так и решали, и то и другое, — сердито настаивал Косыгин. — А как тут еще можно выбирать?

— Но приходилось выбирать!..

Я упорствовал, и он упорствовал. Я понимал, что в том-то и беда была, что ему нельзя было выбирать. В этом безвыходность была и общая мука. Не могли выбирать и не могли не выбирать. Вот какого признания я добивался — о мучительности положения, о том, какой душевный разрыв происходил. С него требовали скорее отгружать, обеспечивать заводы, ради этого шли на все. И в то же время надо было вывозить горожан, каждый день умирали тысячи людей. А мы на передовой смотрели в небо и не могли дождаться наших истребителей. Такая вот сшибка происходила. Хоть словцо бы одно произнес об этом. Словечко про ту горечь, про случай самый малый, когда сердце стиснуло, — было же что-то, кому-то помог, пожалел, нарушил. Или наоборот, не помог, упустил...

Но нет, ничего не мог добиться.

Насчет выбора передо мной маячила одна сценка. Пойди у нас по-другому разговор, я бы ее обязательно рассказал. Тогда, кстати, я впервые увидел Жданова. Это было зимой 1942 года. Прямо из окопов нас вызвали в штаб армии, там придирчиво осмотрели, как выглядим. Накануне мы получили новые гимнастерки, надраили свою кирзу, подшили свежие подворотнички. Штаб помещался на Благодатном, так что в Смольный нас везли через весь город. Мы ехали на газогенераторной полуторке стоя, чтобы не запачкаться. В Смольном на вручение орденов нас собрали из разных частей фронта. Нас — человек шестьдесят. Я плохо что видел и замечал, потому что волновался. Провели нас в маленький зал. За столом сидели незнакомые мне начальники, командиры. Единственный, кого я узнал, был Жданов. Все вручение он просидел молча, неподвижно, запомнилась его рыхлость, сонность. В конце процедуры он тяжело поднялся, поздравил нас с награждением и сказал про неизбежный разгром немецких оккупантов. Говорил он с чувством, но круглое, бледное, гладко-блестящее его лицо сохраняло безразличие. В некоторых местах он поднимал голос, и мы добросовестно хлопали. Когда я вернулся в батальон, пересказать толком, о чем он говорил, я не мог. У меня получалась какая-то ерунда, ничего нового, интересного. Ни про второй фронт, ни про наши самолеты. Нас Жданов ни о чем не спросил. Хотя мы были наготове, нас инструктировали в политотделе. Мы все видели его впервые. Ни у кого из нас он в части не бывал, вообще не было слышно, чтобы он побывал на переднем крае. Весть об этом дошла бы.

Вот про обед я ребятам рассказал. Как нас повели вниз в столовую и кормили шикарным обедом. То, что покушать дадут, — это мы знали, это полагалось. Но обед был на скатерти, на фарфоровых тарелках, с казенными ложками. Дали суп гороховый — с кусочком сала, на второе — перловую кашу и котлетку, на третье — розовый кисель. Порции крохотные, не обед, а воспоминание. Зато лежали вилка, чайная

ложка. Самое трогательное — на блюдечке три куска хлеба и конфетка в зеленой бумажке. Конфетка была как бы сверх всякой программы, сюрприз. Ее совали в карманы, в планшеты, на память, друзей угостить. Из всех обедов именно этот помнится. Потом был концерт московских артистов. Пела певица, крупная женщина в длинном шелковом платье с вырезом, чтец читал Некрасова, запомнился баянист с плясуньей. Меня поразило, какие они розовые, свежие. В зале было тепло, некоторые разомлели, похрапывали. После концерта какой-то мужик в защитном френче подозвал нас, сделал замечание: «Мы, — говорит, — летели из Москвы, чтобы порадовать своим искусством, а тут храпака задают, некрасиво. В нас зенитки стреляли, артисты жизнью рисковали в надежде... Концерт этот дорогого стоит...» И в таком роде, и тому подобное. Кто-то извинился, виноваты, с отвычки, мол. Подошел еще помощник Жданова (это мы потом узнали), стоит, слушает. Тогда Витя Левашов оглядел его: «Килограммов семьдесят потянете, не меньше. Вместе с остальными артистами, да еще баян прибавить, составит шестьсот кило, не меньше. Вопрос к вам такой: если эти шестьсот кило переведем на муку и консервы, которые вместо вас привезли бы, мы бы почти целый полк подкормили, что касается гражданских, так тех, считай, тысячу спасли бы. Артисты, конечно, тут ни при чем, им спасибо, но концерт, точно, драгоценный, шестьсот кило продовольствия проспать, за это наказывать надо!» Все посмеивались, даже концертный начальник заулыбался, один только помощник помрачнел. Если бы не орден, погорел бы Виктор. Его потом долго драили. Шутка шуткой, однако прошла по армии, занозистой оказалась. После нее мы стали кой-чего как бы на вес прикидывать.

...Мне было известно про Косыгина несколько историй сердечных, добрых. Одну из них я слышал от Михаила Михайловича Ковальчука, врача на Ладого. Я попробовал напомнить ее, но Косыгин безучастно пожал плечами. Похоже, что забыл. И про мальчика, умиравшего на проходной

Кировского завода, забыл. А ведь возился с ним. Видимо, то, что не имело отношения к делу, память его не удерживала, отбрасывала.

Наверное, чтоб отделаться от меня, рассказал, как в одном из писем отец попросил провести их ленинградскую квартиру. Родители эвакуировались, квартира стояла пустая. Заодно, писал отец, пошарь в полке над дверью. К счастью, дом уцелел, квартира уцелела. Стекла, конечно, повывбивало, стены заиндевели. Косыгин встал на табурет у входной двери, сунул руку в глубину полки и вытащил оттуда одну за другой чекушки водки. Оказывается, у отца был обычай на Новый год прятать «маленькую» на память о прожитом годе. Извлек оттуда бутылочки еще царской водки, с орлом. Целый мешок набрал, потом в Смольном всех угощал.

Вот то личное, что вспомнилось. Все чувства сосредоточены были на Деле. Насчет Дела он мог рассказывать сколько угодно.

Шел девятый час вечера. Я завидовал его выносливости. Меня уморил напряг этого кабинета, вымотали сложные извороты нашего разговора. Пора было подниматься и благодарить: нельзя же отнимать столько времени, да еще после рабочего дня и всякое такое. Косыгин встал, пожелал успеха в издании книги. На это я сказал, что со второй частью у нас будут трудности. По поводу первой части наш ленинградский партийный руководитель заявил¹, что никому такая книга не нужна, что Ленинградская блокада — это прежде всего подвиг и геройство, а мы зачем-то описываем страдания людей, лишения, смерти. Такие примеры ничему не учат. Его слова, конечно, поспешили передать нашему московскому издателю, и тот, человек чуткий к начальственному мнению, попятился.

¹ Г. В. Романов, в 1970–1983 годах первый секретарь Ленинградского обкома КПСС. (Примеч. ред.)

— Только геройство признает, — сказал Косыгин. — Зна-ток. — И он вложил в это слово ту иронию, с какой мы, фронтовики, слушали военные рассуждения гражданских.

— И никто не вступится, — обрадованно сказал я, помогая, подталкивая его, Косыгина. «Ну, это мы вам пособим, поможем», — должен был ответить он. Первую часть он читал, после чего и выразил согласие встретиться. Следовательно, возражений не имел. Разве он не мог дать отповедь и нашему начальству, и кому угодно. Пристыдить, подтвердить. Достаточно было поручить своему помощнику позвонить в издательство. И все. Вопрос был бы решен...

Но на его узловатом лице не появилось никакого сочувствия, наоборот, оно лишилось всякого выражения, осталось каменное равнодушие, как будто не было ни этой встречи, ни нашего блокадного братства, как будто перед ним посторонний, докучающий своими просьбами. Он отвергающе покачал головой. Вмешиваться он не станет. Издательства не по его части. И все. Рука его была теплой, бескостно-мягкой.

Молча мы с Б-вым миновали застеленные дорожками коридоры, лесенки, переходы, охрану. На Красной площади горели прожектора. По мощеной брусчатке растекалось вечернее глазеющее брожение приезжих. Было просторно, свободно, шумно. С облегчением вдыхал я этот чадный, бензиновый воздух. Потянулся затекшим телом, подвигал лицом, почувствовал, как внутри расслабляется, отходит натянутая до предела душа и всякие нервные устройства.

Б-в тоже расправил плечи, вынул платок, вытер шею, затем трубно высморкался, укоризненно понаблюдал мои гримасы.

— Эх, мил-человек, ручался я за вас, хлопотал, а вы...

— Что я?

— Подвели. Вопросыки ваши! Что ни вопрос — как в лужу. Всякий раз в неудобное положение ставили. Неужели не чувствовали? А меня от стыда потом прошибало.

— За вопросы? Да? А за ответы?

— Разве тактично спрашивать о разногласиях с Ждановым? Вы должны понимать — Жданов в то время был членом Политбюро.

— А Косыгин?

— Не был.

— И что с того. Теперь-то он...

Б-в рукой махнул, весь скривился от невыносимого моего невежества. Есть правила, есть субординация, существует, наконец, этикет, если угодно — церемониал. И насчет личного не принято у людей такого ранга выпрашивать. Где вы слышали, где читали, про кого, чтобы вам раскрывали, допустим, их настроения, болезни? Извините. Не положено... Значит, есть тому основания.

О чем он? Моя беда другая — слишком стеснялся! Стыда много, вот и вылез голодным из-за стола. Разве это вопросы? Косыгин и без моих вопросов сам себя за язык держал. Сам себе не доверяет. У него никто ни в чем не виноват, не было ни столкновений, ни промахов, миллион ленинградцев погибли, и все было безупречно. Кроме фашистов, никто ни в чем не виноват. Нам с Адамовичем говорили: стоит ли ворошить, важно, что город отстояли, не в цене дело, победителей не судят, виновных искать — правых потерять, и всякое такое. Мы так надеялись на Косыгина, а он чужие грехи стал прикрывать. Зачем? К чему было то и дело приписывать свои заслуги Военному совету, предупреждать, чтобы не упоминалось лишний раз его имя? Неужели не известно, что литература имеет дело с человеком, а не с организациями? Какая тут, к черту, скромность, все кругами, в обход, на цыпочках, как бы не задеть, не дай бог, не испугнуть летучих мышей и ту нечисть, которую навоображали себе...

Тут Б-в не вытерпел, вскинулся. Будь я в его министерском кабинете, он бы грохнул по столу: «Молчать!» Выставил бы меня. Но тут, на площади, стола нет, чтобы грохнуть,

и выставить некуда. Заругался — писатель называется, насочиняют с три короба, а разобраться в живой душе — кишка тонка.

Чего разбираться, когда и так ясно — не посмел вступить-ся за нашу книгу! Да какая она наша, она — голоса погибших, память всех блокадников, свою собственную славу предал, так чиновно оттолкнул — не по моей части! Трепетный порядок зато соблюл...

— ...Речи слышать, а сердца не учуять, мыслитель, мать вашу за ногу! — прервал Б-в и первый спохватился, что мы перешли на крик, оглянулся на окна Кремля, крепко взял меня под руку, потащил поскорее с площади.

Выйдя на улицу Горького и сменив гнев в своем голосе на смиренное терпение, Б-в осведомился: неужели я и впрямь не понял, что к чему? Допустим, *пошли бы* мне навстречу, *похлопотали бы* за нашу книгу, то есть за книгу, где будут воспоминания, которые я выслушал. Допустим. Однако, как известно, сейчас вышла книга с другими воспоминаниями. Про Малую землю. Там расписаны героическая оборона, лишения, пример политработы, пример руководителя. Книгу изучают, по радио читают, по телевидению, на иностранные языки переводят, ваши писатели хвалят ее захлеб. Она сегодня Главная книга. Вслед за ней вторая часть вышла — «Возрождение», то же самое. И тут на всех, как с крыши, свалится другой воспоминатель. Здравствуйте, пожалуйста, объявился, вот и я. У меня тоже эпопея, да какая! И размах, и заслуга, и достоверность — сортом выше, душой краше. Это как, по-вашему, — приятно будет? Сразу же выяснят и преподнесут хлопоты за «Блокадную книгу» как личный интерес. Старался, пробивал, мол, чтобы опубликовать в пику, чтобы принизить. Конкуренция, подножка, вызов — истолкуют подлейшим образом. Найдутся охотники, лизунов полно.

— Фактически это знаете как выглядело? Как будто вы сталкивали, как будто вы требовали противопоставить! — с некоторым даже ужасом заключил он.

Я вдруг увидел по-новому наш разговор — глазами их обоих. Физиономия у меня, надо полагать, стала озадаченная, а может, идиотская. Кто бы мог подумать, что за всем этим стояло? Вот, значит, в чем разгадка. Довольно просто и убедительно. Да, нехорошо получилось. Я смотрел вниз, на затоптанный асфальт, где дружно шагали наши ноги.

— Так что неизвестно, кто кому должен предъявлять, — сказал Б-в, дожимая меня. Ясно ли мне теперь, что встречаться было, вообще-то, некстати? Потому и тянули. И все-таки не убоялись, пошли на это. Настоящая смелость ума требует. Другой оценил бы: кремень-характер. И как в кремне огонь не виден, так в человеке этом душа.

Передаю лишь общий смысл его торжествующей нотации, ибо ловкое косноязычие его, со вздохами, междометиями, миганием, позволяло обходиться без имен. Ни Брежнева, ни других он не называл, вместо Косыгина употреблял множественное число третьего лица — «они».

— Ладно, не унывай, — отходчиво сказал Б-в. — Наука будет.

— Ох и большая у вас наука, — сказал я. — Далеко видите.

Здорово они вычисляют наперед, телескопы у них, локаторы, предвидят каждый ход и что в ответ может быть, все варианты продумывают. Поднаторели. Провидцы...

Злость неудержимо подступала ко мне, потому что эти два с лишним года я жил среди отчаяния и голодухи блокадной памяти, среди рассказов, смешанных с рыданиями, там не было места расчетам, хитри не хитри, не выкроишь себе ни лишней корочки, ни тарелки бурды. Если только не украдешь, не обездолишь кого-то. Откуда брали они мужество жить по совести?

— Знаете, чего они боялись? Расчеловечиться боялись! — сказал я. — Вы же были там, вам смерть была нипочем...

— Все относительно, — сказал Б-в.

— Нет, не все... Если кому персонально обязан Ленинград, так это Жукову и Косыгину. Он бы мог держать себя...

Б-в остановился и так посмотрел на меня, что я заткнулся.

— Больно вы лихой... И вообще... Лучше до поры до времени помалкивать о посещении. — Взгляд его был сердечен и заботлив.

Мы помалкивали.

Но все равно главу с рассказом Косыгина в «Блокадную книгу» не пропустили. Б-в всячески пытался нам помочь и не смог. Ничего нам толком не поясняли, никакие вычерки их не удовлетворяли, нельзя и все. Косыгин в эти месяцы болел, не мог вмешаться. Так мы с Адамовичем уверяли себя и других, ждали, тянули.

...А вскоре Косыгин умер. Главу нам пришлось переделать, прямую речь убрать, превратить рассказ в набор сведений, неизвестно от кого полученных. Из «Блокадной книги» удалили немало дорогих нам мест, кое-что удалось отстоять. Но были потери особо чувствительные, и эта глава — одна из них. Раз уж мы не могли обличить виновных, то хотелось отдать должное человеку, который в тех условиях сумел наладить эвакуацию и спасти тысячи и тысячи ленинградцев. Не позволили. А может, и хорошо, что Косыгин не увидел свой рассказ в таком изуродованном, безликом виде.

Прошли годы. Изъятую, запретную главу, за которую мы столько боролись, можно было восстановить. Но что-то с ней произошло. В ней явственно проступили пятна, подчистки, то есть умолчания, невнятная скороговорка, все то, что я пытался обойти, то, что творилось во время разговора. Фальшивая интонация временами непереносимо резала слух, тем более рядом с безыскусными рассказами блокадников. Дело было не только в Косыгине, — написанное мною, автором, зачерствело, обнаружилось, что я сам не добиваюсь ясных ответов, веду себя скованно, не смею. От этого и сухость. Главное же, не понять было моего отношения к собеседнику — то осуждаю его, то чту.

Глава, которая казалась нам такой доблестной, честной, ныне обличала нас. И меня, и моего собеседника. Я видел перед собой его сцепленные пальцы, пасмурное наше прощание, как он стоял, опустив руки, сжатый, точно связанный. Что-то сместилось в моем восприятии, как бывает с лучом света, он ломается, переходя в другую среду. Может, все дело было в том, что мы перешли в другое время. Вдруг, почти физически, я ощутил в себе этот перелом-переход, и счастливый, и болезненный...

Порой мне кажется, что, если бы Косыгин знал в тот вечер, как скоро он умрет, или знал бы, как скоро кончится то время, он чувствовал бы себя свободнее, говорил бы не так, не было бы этой оглядки. Грустно, конечно, если только такое знание может освободить нас.

1988

«Блокадная книга» без цензуры и ретуши

В 1975 году приехал из Белоруссии Алесь Адамович и предложил мне писать книгу о Ленинградской блокаде. Посещать блокадников, записывать их рассказы и потом составить из этих записей книгу. Я отказался: не привык писать вдвоем. У меня никогда не было соавторов. А главное, я не представлял, что особо нового можно рассказать о блокаде.

Когда я воевал на Ленинградском фронте, нас изредка отпускали в город с переднего края. Мне удалось видеть город замороженный, город в руинах, город летний, когда на Марсовом поле и в садах сделали огороды.

Мы стояли под Пушкином, видели, как пожары день и ночь выедали город. Столбы черного дыма по всему горизонту, шелест дальнобойных снарядов, летящих через наши позиции. Я видел в городе безмолвные очереди у булочных, саночки с трупами, сидел, прячась от ветра, в заснеженном трамвае рядом с замерзшей женщиной. Кто-то снял с мертвой шапку или платок, и ледяные волосы ее искрились.

Я был уверен, что знаю, что такое блокада. Ну, голод; ну, обстрел; ну, бомбежка; ну, разрушенные дома. Все это известно, ничего нового для себя я не представлял.

Печатается по: *Гранин Д.* Собрание сочинений: В 8 т. СПб.: Вита Нова, 2009. Т. 8. С. 37–66.

Адамович долго уговаривал меня. Наконец он упросил съездить послушать один-два рассказа блокадников.

Первый же рассказ поразил меня подробностями ленинградской жизни о том, как начиналась блокада осенью и зимой 1941 года.

Короче говоря, я дал согласие, и мы взялись за работу. Сперва ходили записывать рассказы вместе, потом порознь, чтобы охватить больше народа.

Истории не повторялись, у каждого было свое. Перед нами раскрывались семейные трагедии, как боролись за жизнь внутри семьи, как добывали воду (водопровод ведь не работал), дрова, хлеб, как использовали то, что было в доме, — муку, клей, потом стали ловить кошек, собак. Голод менял человека... Трудно было сохранить любовь, достоинство. Что творилось в заводских коллективах, как жили в Эрмитаже, в Пушкинском Доме, в Академии наук. Выяснилось, что духовная жизнь, чтение книг помогали людям держаться.

Нам отвечали неохотно. Не хотелось вспоминать пережитые ужасы. И все же рассказывали. Не было случая, чтобы отказались. Была потребность освободиться от запрятаных даже от себя воспоминаний. Плакали, вспоминая; дети, соседи окружали рассказчика, они не представляли себе, как все это было, как их спасала родная мать.

Попадались истории настолько страшные, что мы не решались использовать их, и до сих пор они не опубликованы. Голод искажает человека невероятно. Мы опускались в такие низины человеческой психики, таких человеческих поступков, которые было бы слишком жестоко приводить. Наслушавшись этих рассказов, этих рыданий, истерик и слез, заболел Алесь Адамович. Он слег здесь, в больнице, в Ленинграде — нервная болезнь. Потом слег я. Потому что одно дело — один рассказ послушать, а если за ним — другой, третий, десятый и все это воспринимать... невыносимо.

Пора было приниматься за книгу. Каждая история индивидуальна, но наша книга не могла быть просто сборником

воспоминаний. И так и этак мы обсуждали, как же сделать ее книгой, то есть повествованием, со своим сюжетом, героями, а главное, в чем должна состоять идея такой книги. К тому времени существовал устоявшийся идеологизированный образ блокады как героического подвига ленинградцев, которые, несмотря на 900 дней голода, холода, обстрелов, не сдали город, отстояли. Однако перед нами был другой материал.

Официальная картина блокады могла как-то подойти к заслугам Ленинградского фронта, но горожане, они-то жили и умирали по другим законам...

Мы долго спорили, искали нашу сверхзадачу, глубинный смысл, ради которого стоит создать эту книгу. И наконец сошлись на том, что эта книга должна быть не только о стойкости, мужестве, высоком долге и тому подобном, а вместе с тем и, может, более всего о страданиях и муках людей невоюющих. Это, конечно, резко расходилось с официальным стереотипом.

Партийные идеологи не могли понять, что, не показав всю меру лишений, отчаяния, ужасов, нельзя оценить высоту подвига ленинградцев.

Достаточно сказать, что цензура выдвинула 65 (!) требований. Надо было изъять все упоминания о мародерстве, людоедстве, о злоупотреблениях с карточками, о бездарности и малейших промахах городских властей, тем более партийных, о Жданове наши нелюбезные высказывания. Были требования и совсем странные. Например, мы приводили забавные воспоминания о том, как в марте 1942 года открылось одно отделение Мытнинской бани, куда ходили вместе женщины и мужчины, по талонам. Талонов давали мало, только лучшим работникам; бывало, «стоишь в очереди за водой, спрашиваешь: „Тетенька, вы последняя?“ — а тебе отвечают басом: „Я последний“. Оказывается, это дяденька. На это не обращали внимания. Баня была чудом». И далее про то, каким человек вдруг видел свое тело, во что он превратился. Как мужчина и женщина, в сущности уже бесполое,

помогали друг другу мыться. Целая глава набралась этих воспоминаний.

Цензура категорически потребовала ее изъять. Порнография. Мы доказывали, что это как раз было свидетельством человеческого целомудрия, братства.

Нам сказали, что таково было замечание Суслова, главного идеолога партии.

Некоторые требования удалось снять. Особенно яро цензура настаивала заменить цифру умерших в городе. Ленинградские историки в результате исследований приводили нам число погибших в блокаду примерно миллион человек. Но, оказывается, «разрешена» была цифра 660 тысяч, и не больше! Эти требования соответствовали политике нашей партии — всячески скрывать, уменьшать потери в войне¹. На протяжении пятидесяти лет после Великой Отечественной войны Министерство обороны скрывало от народа подлинные данные об убитых, пленных, раненых, скрывало, что наши потери в сравнении с противником были во много раз больше, печальное свидетельство того, как преступно не жалели солдат наши генералы.

Первые издания «Блокадной книги» вышли с существенными купюрами. Кое-что потом удалось восстановить, но не все. Книга вызвала большой резонанс во многих странах. Мы получали буквально сотни писем.

¹ В секретном распоряжении от 5 марта 1970 года, подписанном П. К. Романовым, начальником Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР «О порядке публикации статей и других материалов крупных советских военачальников, а также о числе умерших от голода в гор. Ленинграде в результате блокады» сказано: «При контроле материалов, содержащих сведения о жертвах среди населения гор. Ленинграда за время блокады в период Великой Отечественной войны, иметь в виду, что, согласно заключению Чрезвычайной государственной комиссии, в результате блокады умерли от голода 641 803 человека». Документ хранится в ГА РФ. Впервые опубликован историком Юлией Кантор в журнале «Дилетант» № 1 за 2014 год. (Примеч. ред.)

Читателям впервые рассказали о том, что творилось в городе-герое.

Было несколько дорогих для нас как бы итогов нашей работы.

Мы убедились, что смертельная, невозможная для существования норма блокадного питания — 150, даже 250 граммов хлеба в сутки (и иногда больше ничего не давали) — все же помогала выжить. Кому? Оказывается, прежде всего тем, кто спасал других. Да, чаще спасались те, кто тратил драгоценные свои калории, ухаживая за родными: носил воду, добывал дрова, стоял в очереди. Этот удивительный закон гуманизма действовал. Конечно, умирали и они, но умирали по-людски.

Убедились и в том, какими огромными резервами духа обладает человек. В блокаду писали стихи, вели дневники, много читали, и эта духовная пища помогала держаться, когда держаться было, в сущности, нечем. Резервы духа и любви опровергали все законы физиологии. Но мы убедились и в том, как преступно поступали руководители города, когда А. А. Жданов отказался в первые дни войны принять эшелоны с продовольствием, пополнить городские запасы. Причина, как водится, сугубо личная — его конфликтные отношения с А. И. Микояном.

Подобных примеров было немало.

Блокада дала куда более значимые примеры доброты, взаимопомощи, самопожертвования. Человек падает на улице от голода, и часто прохожий останавливается, из последних сил помогает подняться, ведет к себе. Что он может дать — кружку кипятка, но и это спасает. Соединяла людей общая беда, общий враг. И было совершенно особое блокадное чувство свободы — от страха, от гнета властей. Горожане во многом были предоставлены самим себе. Они были независимы, точнее, почти независимы, впервые независимы от советской власти, раскрепощенность делала людей лучше.

История Ленинградской блокады дала примеры великого подъема духа, великих страданий и мужества. Единственный город, который, будучи осажденным, не сдался во Второй мировой войне, — был Ленинград.

Боевое охранение наше стояло рядом с немцами. Было слышно, как они разговаривают, как звякает немецкая посуда. И когда снайпер попадал в кого-нибудь — крик, ругань.

Собственно, с этого времени началась блокада Ленинграда. С утра над нами проносились немецкие эскадрильи, шли бомбардировщики бомбить город.

Вечером... под вечер — вторая бомбежка. А между ними — с мягким шелестом проносились снаряды дальнобойной артиллерии. Мы ничему не могли помешать. Вначале пробовали стрелять из винтовок, но это, конечно, ничего не давало.

Город за нами страдал. Мы видели, как его бомбили, обстреливали, и плохо представляли, что творится в самом городе. Вскоре начали ощущать на собственной шкуре голод. И у нас начались отеки, дистрофия. Ходили по ночам на «нейтралку», на картофельные и капустные поля, искали картошку, хоть подгнившую, капустные листья.

За время блокады я в городе был всего два или три. Один раз нес пакет куда-то, проходил село Рыбацкое и видел, как тощая лошадь, которая тащила сани с патронными ящиками, молодой красноармеец погонял ее, упала на подъеме и встать не смогла. Как он ее ни лупил, ни бил — она лишь дрыгала ногами. Вдруг, откуда ни возьмись, налетели люди, закутанные во что попало, с топорами, ножами, принялись кромсать еще живую лошадь, вырезать куски из нее. Буквально через минут двадцать остались только кости. Все обглодали.

Запомнилось и то, какой был город. Занесенный снегом, высокие сугробы, тропинки между ними — это улицы. Только по центральным улицам можно было ехать на машине.

Лежали трупы, не так много. Лежали больше в подъездах. Город был засыпан чистым-чистым снегом. Безмолвный, только тикал метроном из длинных репродукторов, которые были повсюду. Витрины все заколочены. Памятник Петру, памятник Екатерине — завалены мешками с песком. Никто из нас не стремился в этот блокадный город.

Жизнь блокадная шла среди разбомбленных домов. Угол Моховой и Пестеля, дом стоял словно бы разрезанный. Бесстыдно раскрылись внутренности квартир, где-то на четвертом этаже стоял платяной шкаф. Дверца болталась, хлопала на ветру. Оттуда выдувались платья, костюмы. Разбомбленные дома дымили. Пожары после бомбежек или снарядов продолжались неделями. Иногда возле них прохожие грелись. Гостиный двор, черный весь от пожара. В Александровском саду траншеи, зенитки. Траншеи были и на Марсовом поле.

Однажды нам поручили втроем вести пленного немца через город в штаб. Я наблюдал не столько за городом, сколько за немцем, которого вел, — какой ужас был на его лице, когда мы встречали прохожих. Замотанных в какие-то немислимые платки, с черными от копоты лицами. Не поймешь — мужчина, женщина, старый, молодой. Как тени, они брели по городу. Началась тревога, завывали сирены, мы продолжали вести этого немца. Видели безразличие на лицах прохожих, которые смотрели на него. Он-то ужаснулся, а они уже без всяких чувств встречали человека в немецкой шинели.

Два раза к нам на передовую приезжали концертные бригады из Радиокомитета. Артистов мы угощали пшенной кашей, поили водкой. Мы видели, как они ели, как откладывали в пластмассовые коробочки кашу. И понимали степень их голода. Это был другой голод, чем наш, окопный, который тоже заставлял отправлять время от времени в госпиталь дистрофиков и опухших.

...Ей было восемнадцать лет... у нее был роман. Любила Федю, своего жениха. Федю взяли в армию, и стояла его часть

тоже где-то в районе Шушар. Она пробиралась к нему. Носила сухари, варенье, носила домашние вещи: рукавички, шарф. Но главное — как она пробиралась туда. Я знал: заставы наши, патрули не пропускали штатских, гражданских, это строго-настрого было запрещено. Перебежчики могли быть шпионами, осведомителями. Тем не менее она несколько раз побывала у него, шла шестнадцать километров, добиралась до их части, упрашивала, умаливала эти патрули. И ее пускали. То был удивительный пример любви. Любовь, которая попала в блокаду. Ее рассказ меня и тронул, и удивил.

Кроме этого, Адамович уговорил еще к одной блокаднице пожаловать.

Короче, я увидел, что существовала во время блокады неизвестная мне внутрисемейная и внутридушевная жизнь людей, она состояла из подробностей, деталей, трогательных и страшных, необычных. В конце концов, я дал согласие.

Адамович белорус. Прошел войну совсем не такую, как я. Партизанскую, в этом заключалась разница наших представлений о войне, о фронте. Но, как потом выяснилось, это имело и свои преимущества. Его наивный и совершенно свежий взгляд на Ленинград, на ленинградскую жизнь, вообще на жизнь большого города помогал ему увидеть то, что для меня давно стерлось, — не было удивления, особых примет того военного времени.

Так мы начали вместе работать. Блокадники передавали нас друг другу. Тогда блокадников было много. Это были семидесятые годы; середина и конец семидесятых. Мы ходили из дома в дом, из квартиры в квартиру, выслушивали, записывали на магнитофон рассказы.

У каждого оказалась своя трагедия, своя драма, своя история, свои смерти. Люди и голодали по-разному, и умирали по-разному... Мы набрали сто рассказов, и ничего не повторилось. Посмотрели эти сто рассказов и поняли, что у нас есть какие-то пробелы. Тогда мы разделились, начали работать

порознь. Набрали еще сотню, тут стало ясно — надо кончать, иначе захлебнемся.

Что такое эта запись? Тоже интересно. Приходили мы — и блокадники большей частью не хотели ничего рассказывать. Не хотели возвращаться в ту зиму, в те блокадные кошмары, в голод, в смерти, в свое унижительное состояние. Ни за что!.. Но потом соглашались, как правило, не было ни одного случая, чтобы нам отказали наотрез. Иногда мы уходили, а они потом звонили нам и приглашали. Мы не сразу поняли, в чем тут дело. Разобрались — у людей была потребность рассказать, чтобы освободиться. Какая-то женщина, которая пыталась некогда рассказать об этом своим детям или соседям, внукам, родным, — ее не слушали. Не хотели слушать. Когда приходили мы, писатели, с магнитофоном и она начинала рассказ, они собирались вокруг нас и слушали совершенно по-новому: как мы, как посторонние люди. Часто слышали впервые о том, что происходило в этой квартире, что происходило с матерью, что происходило в этой семье. Рыдали, плакали.

Эти рассказы, когда переводили их с пленки на бумагу, занимали по двадцать-тридцать страниц.

Многое решал талант рассказчика. Лучше всего рассказывали женщины. Женская память устроена несколько иначе, чем мужская. Ведь мужская память — она глобальная; мужчин общие ситуации больше интересуют. А подробности быта, бытия, что творилось на малом участке — очередь, булочная, квартира, соседи, лестница, кладбище, — это память... женская. Она была более красочная и крепкая. Примерно из десяти рассказов один, как правило, был гениальный; два-три рассказа — талантливых, очень интересных. Но даже из невнятных иногда рассказов все равно всплывали детали и подробности впечатляющие.

Конечно, прошло тридцать лет. С сорок пятого, допустим, по семьдесят пятый год. Память была засорена стереотипами кинофильмов о блокаде, телевизионных передач, про-

читанных книг и т. д. Все это приходилось отсеивать и добираться до личного. Оно, личное, неповторимо.

Для расшифровки требовались стенографистки. Особые стенографистки, потому что нам важно было не только содержание, надо было сохранить индивидуальность устной речи. Таких стенографисток почти уже не осталось в городе. Но мы нашли. Двух блокадниц: Нину Ильиничну и Софью, забыл ее отчество, к сожалению. Когда они прослушали несколько кассет, заявили, что будут все делать бесплатно. Мы не могли пойти на это, потому что это была — адская работа. Приходилось каждую кассету прогонять несколько раз, чтобы уловить все оттенки живой речи, все эти «э», «м-м», эти мусорные словечки. Обе работали самоотверженно. Если б не они, у нас книга была бы много беднее. Они помогли нам восстановить прелесть, естественную корявость рассказов. И получились личностные рассказы, а не просто стенографическая запись.

Мы набрали двести рассказов. Двести — это примерно четыре тысячи страниц, решили на этом кончить. Но это была четверть работы, сразу возник вопрос: что же это будет за книга? О чем? Для чего? Для кого?

Собственно говоря, с половины работы стало ясно, что напечатать эту книгу будет почти невозможно. Существовал к тому времени устоявшийся, окаменелый стереотип идеологии блокады. Блокада — героическая эпопея. Подвиг ленинградцев, которые не сдали город, отстояли его. Девятьсот дней блокады. Единственный город в истории Второй мировой войны, в истории нашей Великой Отечественной войны, который не сдался. И — все! На Нюрнбергском процессе было, согласно «разрешенным» данным, зафиксировано, что погибло 660 тысяч человек. Мы вскоре уяснили, что эта цифра преуменьшена, и значительно. А главное — что дело не в героизме. В конце концов, для многих это был вынужденный героизм. Героизм заключался в другом.

Это был героизм внутрисемейный, внутриквартирный, где люди страдали, погибали, проклинали; где совершались невероятные поступки, вызванные голодом, морозами, любовью, обстрелом. Это была эпопея страданий человеческих. Это была история не девятисот дней подвига, а девятисот дней невыносимых мучений. Что, конечно, не соответствовало пафосу подвига, того, что прочно вошел в историю Великой Отечественной войны. Тем не менее мы продолжали работу.

Мы решили, что эта книга, во-первых, об интеллигенции и об интеллигентности. Ленинград — город, который отличался высокой культурой, интеллектом, интеллигенцией своей, духовной жизнью. Мы хотели показать, как люди, которые были воспитаны этой культурой, смогли остаться людьми, выстоять.

Второе, что мы хотели, — показать пределы человека. Мы до этого не представляли себе возможностей человека. Человека, который не просто отстаивает свою жизнь, люди эти чувствовали себя участком фронта. Люди понимали, что до тех пор, пока город живой, он может отстаивать себя.

Мы хотели рассказать о том, что такое духовная пища. В общем, постепенно сформировались какие-то темы, которые мы обязательно хотели на собранном материале раскрыть. Просто открыть людям. Мы увидели, что этот материал — уникальный, совершенно особый, нигде в литературе не освещенный. Потому что одно дело — концентрационные лагеря, голод на Украине, голод в Молдавии, другое — блокада. Здесь ужас войны, которая настигает мирных людей. Ужас фашизма. Город должен был вымереть по плану немецкого командования. Это была тоже единственная в истории мировых войн операция.

Так начала складываться эта книга. Мы ее писали, не позволяя себе печатать отрывков.

Не то чтобы мы писали ее втайне, но мы никак не оповещали о ней, чтобы не осложнить издание. Эта книга не годилась для того, чтобы ее писать «в стол». Мы застали уже

последнюю возможность создания этой книги. Потому что блокадники уходили из жизни.

Мы видели, в каких ужасных условиях они жили. Так сложилось, что этим людям, которые столько перетерпели, — именно им хуже всех пришлось после войны. Они остались в том же самом жилье. Надо было вербовать строителей, восстанавливать город. Этим давали жилье в первую очередь. Блокадники жили ужасно, и мы хотели хотя бы этой книгой помочь восстановить уважение к ним и понимание того, что они заслуживают большего внимания и льгот.

Поскольку вместе мы писать не привыкли, Адамович писал — присылал мне. Я все перечеркивал и писал ему, что написано отвратительно и никуда не годится. Присылал свой вариант, он тоже говорил: куда это? что это? кому это? Совсем не то, что мы хотели. И вот так, с руганью, с раздиранием этих рукописей, с выбрасыванием, ссорами постепенно начали продвигаться к окончательному варианту. Эта работа продолжалась долго — года три. Не помню точно, потому что он в это время своими делами занимался, я тоже свое писал. Тем не менее книга постепенно нас захватывала все больше, и в конце концов мы полностью включились в эту работу. Когда кончили первую часть, мы попытались напечатать ее в ленинградских журналах. Нам сразу же ее вернули. Даже и объяснять не стали. Мы поняли, что в Ленинграде напечатать это невозможно. Ни одно питерское издательство не брало ее по идеологическим соображениям. Поехали в Москву, решили обратиться в лучший журнал того времени, да и сейчас он, возможно, остается одним из лучших, — в «Новый мир». Нам помогло то, что главный редактор Сергей Наровчатов был фронтовик и воевал на Ленинградском фронте. Диана Тевекелян ведала прозой. Они прочли и решили взять это, прекрасно понимая, как будет трудно.

Номер с первой частью попал в цензуру, цензура сразу попросила всю рукопись...

Надо сказать, что с помощью «Нового мира» мы кое-что отстояли, но частично — пришлось смириться.

Книга эта вышла и вызвала, с одной стороны — возмущение историков партийных, они считали, что мы «разрушаем героический образ Ленинградской эпопеи». С другой — последовали новые свидетельства блокадников, которые послали свои рассказы, чтобы дополнить книгу, некоторые требовали от нас большей правды, говорили о том, что мы приукрашиваем, были вещи куда страшнее и т. д.

Книга эта была для нас цепью открытий. Мы увидели, что люди во время блокады относились друг к другу гораздо более сердечно, гуманно и милосердно, чем в конце семидесятых годов. Что ныне происходит процесс дегуманизации людей, очерствения, бессердечия; блокада в этом смысле пример того, как в тех страшных условиях люди не позволяли себе эгоизма, который позволяли себе и в семидесятые, и вплоть до нынешнего времени.

Главным редактором Ленинградского отделения издательства «Советский писатель» был Георгий Филимонович Кондратов — бывший секретарь горкома партии. Городское секретарство вошло в его плоть и кровь. Когда он получил нашу рукопись, то немедленно понес ее в обком партии. Два писателя именитых; так просто от них отказаться и запретить невозможно, нужно было какое-то обоснование. Не знаю точно, но думаю, что эту рукопись или доклад об этой рукописи передали вплоть до первого секретаря обкома. И оттуда пришло следующее: «Вы развенчиваете подвиг Ленинграда; ваше дело — не страдания людей, а их мужество и стойкость, а вы смакуете ужасы». Таким образом, эта как бы резолюция обкома партии стала известной; конечно, дальше никакой речи об издании в Ленинграде уже и быть не могло.

Но мы к этому были готовы и пошли к Н. Лесючевскому — директору издательства «Советский писатель» в Москве, считая, что в этом смысле Москва более либеральная и свободная, чем наш Питер. Однако Лесючевскому уже доложили, что Ленинград категорически против этого издания. У нас были тяжелые разговоры с Лесючевским. Он сам, быв-

ший ленинградец, втайне-то, конечно, нам сочувствовал. Мы это видели и понимали. Но и он тоже нам отказал. Вот тогда уже началась битва. Когда напечатали в журнале первую, а затем и вторую часть, когда посыпались сотни писем, когда появились положительные рецензии в московских газетах... Вышла книга уже вторым изданием, третьим, и ни в одной ленинградской газете не было ни разу рецензии на нее. Вот что значила тогда диктатура обкома партии! Эта книга была, видимо, воспринята как подрывная работа по отношению к фильму «Блокада», который сняли тогда по книге Чаковского. Вообще, книга Чаковского была взята за образец. Так следует преподносить блокаду. Так мы ее переведем на экран. Так она соответствует нашему пониманию того, что происходило. И никаких отступлений от этого не будет! А ваша работа — подрывная по отношению к фильму и установкам всех идеологических организаций.

Когда работали, мы друг друга поддерживали уверенностью в том, что никаких запретных вещей для литературы не существует. И нас «поддерживали» в этом смысле Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский и другие собраты и коллеги. Нет ничего запретного в литературе! Обо всем можно рассказать!

Так-то так, но мы столкнулись со столь страшными рассказами — даже сегодня, сейчас не все можно рассказать. Мы, конечно, записывали, но это было невыносимо. И эту невыносимость, этот натурализм блокадной жизни преподносить читателю невозможно, есть какие-то пределы и в литературе.

Например, как один летчик, которого подбили, вернулся в свою семью уже инвалидом... как он страдал от голода и как собирал... вшей с себя и с детей. Собирал вшей и ел их. Геройский летчик. При голоде люди теряли человеческий облик.

Почему Алесь выбрал меня? В Москве мы иногда встречались на каких-то писательских форумах. Тогда очень явственно шло расслоение людей: это наши, это — не наши. Это свои люди, это — не свои. Ну, свои хотя бы потому, что

фронтовики, а еще потому свои, что были авторами «Нового мира». Свои и оттого, что придерживались одних и тех же взглядов. Однажды мне позвонили из «Нового мира» и попросили написать рецензию на его повесть. По-моему, это была его лучшая книга — «Хатынская повесть». И я написал большую рецензию в «Новый мир». С тех пор у нас повелась очно-заочная дружба. Когда он позвонил из Минска и сказал, что хочет приехать повидаться со мной, я говорю: приезжай, конечно. Он был хитрый человек. Сельская хитрость в нем была. Приехал и начал меня уговаривать.

Откуда у него вообще возникла идея такой книги? Она у него возникла из предыдущей работы, которая называлась «Я из огненной деревни», ее он писал вместе с белорусскими писателями — Янкой Брылем и Владимиром Колесником. Они опрашивали людей, которые во время войны в Белоруссии спаслись из истребленных деревень, сумели сбежать, и записали их рассказы. Это тоже тяжелые, страшные рассказы. Книга имела успех в Белоруссии, была переведена на русский язык и за границей. Эта работа воодушевила Алеся. И ему пришло в голову: давай сделаем то же самое на ленинградском блокадном материале.

Глава «Ленинградское дело» предназначалась для «Блокадной книги». Вставить ее в первое издание нам с Алесем Адамовичем не удалось. Издатели, цензура отвергали все наши попытки. Между тем без этой главы многое в судьбе послевоенного города, в судьбе блокадников, да и в истории блокады, было непонятно.

«Ленинградское дело» до сих пор остается одной из самых загадочных страниц послевоенной жизни страны. Документы, связанные с этим делом, были уничтожены, очевидно, сразу после смерти Сталина лично Берией и Маленковым. Версии историков так или иначе сводятся к борьбе за власть: группа Берии—Маленкова хотела убрать Вознесенского и Кузнецова, Вознесенского как конкурента, поскольку Сталин

однажды назвал его своим преемником. Кузнецова Берия опасался — ему поручено было курировать работу НКВД, вряд ли это устраивало других членов Политбюро. Влияние ленинградской группы раздражало. На фоне тогдашнего Политбюро они отличались образованием, культурой и обрели славу спасителей города. История партии знает немало процессов над всякого рода оппозициями. Особенность «Ленинградского дела» в том, что репрессиям подвергали людей безусловно преданных лично Сталину, партии, опытных руководителей, проверенных войной, блокадой. Уничтожили всю ленинградскую верхушку, снимали слой за слоем. Я работал тогда в Ленэнерго. У нас управляющим был Борис Страупе. В условиях блокады он сумел обеспечить энергией оборонные заводы, Смольный. Потом тоже исчез. Погиб начальник кабельной сети города М. Грознов. За что, почему — никто не пояснял. Исчезали один за другим, их даже не называли, как прежде, «врагами народа», просто участники «Ленинградского дела». Говорили — за связь, за знакомство с Попковым, с Капустиным, то есть с секретарями горкома, обкома. Нелепые формулировки обсуждать не позволяли. Неизвестно, сколько людей поглотило это дело, сколько было арестовано, сколько погибло в лагерях. Машина уничтожения никак не могла остановиться. Работала она бестолково, но ожесточенно. Казалось, расправляются с городом, с Ленинградом, давно уже, со времен зиновьевской оппозиции, ненавистной Сталину. Среди обвинений ленинградским руководителям существовало одно — затаенное, публично невысказанное: «Противопоставляется героизм ленинградское столичному, московскому». После войны много разговоров было о том, как вело себя в критические дни московское начальство, про панику в октябре 1941 года, сравнивали с ленинградскими начальниками. Слава города-героя на Неве подняла репутацию Попкова, Кузнецова и прочих. Их заслуги, воздаваемый им почет раздражали членов Политбюро, вроде бы накладывали тень на руководство партии. Одно дело военачальники, полководцы, и совсем другое — гражданские,

партийные деятели: здесь выпячивается, значит, забирает себе даже какую-то часть славы вождя. Есть один вождь и члены Политбюро, которые все равны, а за ними следуют остальные функционеры, иерархия соблюдалась жестко. Конечно, ни Попков, ни Кузнецов, ни другие ленинградцы сами не претендовали на отдельную славу, их вознесло народное мнение, оно сравнивало и отдавало им предпочтение!

Одним из тех, кого я записывал, собирая материалы для «Блокадной книги», был А. Н. Косыгин — Председатель Совета министров. Во время блокады он был отправлен Сталиным в Ленинград уполномоченным Государственного комитета обороны. Историю довольно занятную, даже драматичную, нашего свидания с ним я описал в рассказе «Запретная глава». Она не вошла в «Блокадную книгу»: цензура не допустила. Позже я опубликовал ее отдельно. Был в нашем разговоре один момент, который я не осмыслил. Возможно, если бы мы были у Косыгина с А. Адамовичем, моим соавтором, смысл этого эпизода мы бы сообща выявили. К сожалению, Косыгин согласился принять меня одного. И только нынче, перечитывая записи нашего разговора, я обратил внимание на то, как Косыгин вроде бы случайно вспомнил октябрьские дни 1941 года, когда немецкая армия вплотную приблизилась к Москве. Правительство переехало в Куйбышев. Сталин был в Москве. Но кремлевские кабинеты опустели. Повсюду звонили телефоны, Косыгин переходил из кабинета в кабинет, брал трубку, отвечал, чтобы показать — Кремль работает. Это было 16 октября. В его рассказе о блокаде эта история показалась мне случайным отклонением. Но Косыгин был достаточно искушенным политиком, думается, он хотел таким образом подвести к сравнению обоих городов в критические моменты войны. Сравнение было не в пользу Москвы, и, поскольку это в те годы широко обсуждалось, следовало, очевидно, сбить гонор с ленинградцев. Об этих скрытых мотивах «Ленинградского дела», видимо, и хотел напомнить Косыгин, вряд ли об этом эпизоде он завел речь случайно.

Ни «Ленинградское дело», ни последующая жизнь не вызвали протеста народа. Город крепко припугнули. Не было ни оппозиции, ни противостояния, ни критики сталинского режима, большевистской идеологии, ни последующих режимов коммунистических правителей. Вполне послушным, ортодоксальным стал Ленинград.

В этом отношении столица отличалась куда большим свободолобием. Ленинградские художники вынуждены были искать защиты от местных ревнителей порядка в Москве, в том же ЦК уже понимали всю абсурдность стараний питерских угодников.

Искательство, перестраховка стали «ленинградским синдромом». Город был изуродован страхом. И все же в сокровенных своих глубинах он хранил память о мятежном свободомыслии, он должен был возродиться, вернуться к своему европейскому предназначению, которое определили ему два великих россиянина — Петр I и Пушкин.

В Соляном городке у Фонтанки в мае 1946 года был торжественно открыт Музей обороны Ленинграда. Создавать его начали еще во время блокады, сперва сделали выставку, потом ее превратили в постоянный музей. Анфилады залов бывшей в 1870 году Всероссийской промышленной выставки заполнили замечательные экспонаты: прославленные самолеты Ленинградского фронта, подлинные дневники блокадников, трофеи, диорамы, военные карты, картины блокадных художников, скульптуры, макеты городских укреплений, блокадных квартир, хлебозаводов... Тридцать семь тысяч экспонатов, или, как говорят, единиц хранения, позволили развернуть впечатляющую экспозицию. Это был первый музей истории Великой Отечественной войны.

Разумеется, Музей обороны преподносил блокаду соответственно требованиям времени, прежде всего как героическую эпопею, как подвиг ленинградцев, жителей города и воинов Ленфронта, руководимых партией Ленина—Сталина. Девятьсот дней мужества и стойкости города и, конечно, помощь, оказанная ему страной. Страдания и муки матерей,

мужей, детей, ужас голодных смертей в замороженных квартирах, машины, гибнущие на Дороге жизни, — все это было отодвинуто, по возможности заслонено усилиями по спасению детей, эвакуацией, работой отрядов комсомольцев, войск МПВО. И уж конечно ни слова о мародерстве, людоедстве и прочих «негативных явлениях».

Упрекать в этом создателей музея нельзя.

Когда началось знаменитое «Ленинградское дело», музей подвергся форменному разгрому. Можно сказать, что первый гнев был сорван на музее, первые удары обрушились на него.

В вину создателям Музея обороны поставили «выпячивающие ленинградских руководителей». Вычислили, что портрет секретаря Ленинградского обкома Попкова равен по величине портрету Сталина. Что портретов Сталина мало, а портретов руководителей Ленинграда в годы блокады, того же Попкова, Кузнецова, Капустина и других, много. Роль ЦК партии в «спасении» Ленинграда показана недостаточно. В музее «нашли» оружие. Не важно, что у выставленных в экспозиции автоматов, пистолетов стволы были просверлены, оружие, «несомненно, для диверсии»!

«Апофеозом розыскных мероприятий стало обнаружение и изъятие пороха. Ничего удивительного в том, что он попал в музей, нет — экспонаты привозили порой с фронта „горяченькими“. Порох, конечно, следовало передать специалистам или сжечь, но какой-то умник, полентясь, зарыл его в оружейной мастерской» (*Демидов В., Кутузов В. Последний удар: Документальная повесть*).

Руководство музея было арестовано. Они проходили по «Ленинградскому делу».

Оно началось в 1949 году. Сначала были обвинены в заговоре против партии «верхи» — член Политбюро Н. Вознесенский, секретарь ЦК А. Кузнецов, Председатель Совета министров РСФСР М. Родионов и далее руководители Ленинграда, партийные и советские. С каждым месяцем следствие расширяло круг причастных, арестовывались все новые

и новые люди, секретари райкомов, председатели райисполкомов, работники горисполкома, затем стали брать директоров крупных заводов, трестов. Перекинулись на ленинградцев, которых после войны направили в Новгород, Мурманск, Горький, Рязань, Симферополь. «Бывшие ленинградцы» — это, как правило, блокадники, те, кто жил и работал в блокадном городе. Ленинградская блокада формально считалась подвигом народа, фактически же все руководители города — люди, которые пытались наладить оборону, снабжение, затем эвакуацию, кто организовывал работу предприятий, восстановление разрушенных районов, электростанций, — подверглись репрессиям.

Складывалось впечатление, что по всей стране выискивают ленинградцев-блокадников, присоединяют их к «делу». Известно, что «Ленинградское дело» организовали Берия и Маленков. Они преподнесли Сталину «заговор ленинградцев», они разжигали и раздували величину и опасность этого заговора. В чем состояла его суть, какие факты были преступными, ничего этого общественность не узнала, речь все время велась о туманных стремлениях «противопоставить партии», «создать антипартийную группу», но чего хотела антипартийная группа — внятно не объяснялось, в чем была антипартийность — неизвестно.

В резолюции, принятой по докладу Г. Маленкова на ленинградском активе и отредактированной им, говорилось: «Поддерживая настроения самообольщения успехами периода войны и блокады, бюро обкома и горкома ВКП(б) не призывало настойчиво коммунистов к решению новых задач, поставленных партией и товарищем Сталиным».

В постановлении по делу арестованного главного редактора фронтовой газеты «На страже Родины» М. Гордона сказано, что он превращал газету в рупор антипартийной группы Кузнецова—Попкова. «...Кузнецов приписывал себе несуществующие заслуги в обороне Ленинграда, но скрывал роль

страны, партии, ставки ВГК, роль товарища Сталина, а Гордон кузнецовскую шайку выдавал за спасителей Ленинграда...»

Ленинградцы собирались превратить Ленинград в опору для борьбы с ЦК партии.

Далее уже каждому арестованному приписывалась «подрывная работа», «нарушение государственных планов», «противопоставление Центральному Комитету».

В феврале-марте 1949 года Политбюро снимало со всех постов Н. А. Вознесенского — председателя Госплана СССР, А. А. Кузнецова — секретаря ЦК, М. И. Родионова — Председателя Совета министров РСФСР, П. С. Попкова — секретаря Ленинградского обкома ВКП(б).

Сразу же после этого в Ленинград приехал Маленков, провел пленум, на котором сообщил об антипартийных действиях главных «заговорщиков». Пленум, конечно, единодушно поддержал решение ЦК, не понимая, что обрекает себя на репрессии, потому что немедленно была включена машина и началось отстранение от работы, а затем и исключение из партии партийных руководителей, за ними — советских, профсоюзных, комсомольских, военных. На их место ставили «варягов», вызванных из других областей. В это же время готовились аресты и физические расправы. В июле арестовали Я. Ф. Капустина — бывшего секретаря горкома, в августе добрались до Вознесенского, Кузнецова и др. Их называли «кузнецовской шайкой», «изменниками Родины», опять пошел в ход словарь 1937 года. Остальных работников, рангом помельче, можно было привлекать «за связь с Кузнецовым, Попковым, Лазутиным, Капустиным», за пособничество, за то, что не разоблачали их враждебной деятельности. Эта методика была хорошо отработана.

Громили комсомольских вожаков, добрались до пионерских. Арестовывали редакторов газет, руководителей вузов.

Следствие над «главарями» велось при непосредственном участии Абакумова, тогдашнего министра Госбезопасности. Занимался надзором сам Берия. Что же явилось истинной

причиной «Ленинградского дела»? На вид оно казалось совершенно бессмысленным. Уничтожали людей, искренне преданных советской власти, хорошо зарекомендовавших себя в тяжелые годы войны и особенно в блокаду, а кроме того, безусловно верных Сталину, никогда не помышлявших о какой-либо оппозиции ему. Зачем же понадобилось фальсифицировать это дело? Кому понадобилось? В 1949–1950 годах страна была как бы на подъеме, успешно восстанавливала разрушенное войной... Был ли какой-нибудь тайный смысл в затеянных репрессиях?

Оба, и Кузнецов, и Вознесенский, бывшие ленинградцы, и, естественно, возник замысел соединить их по принципу землячества, убить, как говорится, одним выстрелом двух зайцев — Вознесенского и Кузнецова. Для этого надо добавить других ленинградцев и создать именно ленинградское дело, используя застарелую подозрительность Сталина к городу на Неве. Бывшая столица всегда была источником неприятностей для партийных властей — то Кронштадтский мятеж, то оппозиция Зиновьева, то убийство Кирова. И Шостакович, и Зощенко с Ахматовой, и Мандельштам — ленинградского происхождения. Разгром следовал за разгромом, и все равно вольнолюбивый питерский дух было никак не вытравить.

Не следует думать, что Сталину «подсунули» заговор. В свое время он достаточно много организовал подобных процессов, теперь этим занимались его ученики.

Есть и другие версии. Возможно, пугала послевоенная самоуверенность руководителей, узнавших свою силу, свои возможности. Выдвинулись новые начальники. Надо было одернуть их, освежить страх, цыкнуть, да так, чтобы и другим стало не повадно.

Племянник Николая Алексеевича Вознесенского Лев Александрович Вознесенский рассказывал мне, с каким ожесточением «вылавливали» и арестовывали всех родственников Н. А. Вознесенского. Репрессирован был и Лев Александрович, совсем молоденьким, только за родство. Реабилитировали в 1954 году, сразу после расстрела Берии. Следовательно

сообщил ему некоторые подробности о гибели его отца, Александра Алексеевича Вознесенского, брата «главного преступника», бывшего ректора Ленинградского университета. Следователь сказал Льву Александровичу:

— Если б я тебе рассказал, что делали с твоим отцом, какие нечеловеческие пытки происходили, ты бы сошел с ума.

Александр Алексеевичу Вознесенскому, например, ставили в вину, что он поднимал престиж Ленинградского университета в противовес Московскому. Добивались показаний на брата, всячески загоняли в «Ленинградское дело». Однажды на допросе или на пытке он, придя в сознание, увидел, что в глубине комнаты сидят в креслах, наблюдая работу пыточных мастеров, Берия, Маленков и Булганин. Последнего он узнал по маршальскому мундиру и, не выдержав, обратился к товарищу маршалу с просьбой передать товарищу Сталину, что он невиновен... На что Булганин подошел к нему, изматерил и со словами: «Волк тебе товарищ!» — сбил его с ног и стал топтать маршальскими сапогами.

Мучили, пытали сестру Вознесенских, секретаря одного из райкомов партии, опять же требуя показаний на братьев. Следствие разворачивалось по налаженному, неоднократно отработанному сценарию. Нового не было ничего, старый мотив убрать соперника, преемника действовал в тех же дворцовых покоях Кремля, как и сотни лет назад.

Жуткие подробности, которые сохранил в памяти Лев Александрович, позволяют думать, что и Берия, и Маленков, и Булганин проявляли не меньший интерес к показаниям своих соратников, Н. А. Вознесенского и А. А. Кузнецова, и тоже посещали допросы и пытки. Благо, здание ЦК партии счастливо соседствовало со вторым оплотом государства — КГБ.

Героизм ленинградских блокадников воспринимался сталинским окружением как проявление вольнолюбивого духа, непокорность города, его излишнее, а то и угрожающее самостояние. Недаром А. А. Кузнецов на предвыборном совещании в январе 1946 года, увлекшись, проговорился:

— Да разве такой город можно не любить! Как не любить свой город, в который с момента его основания не ступала нога врага! Краснознаменный, ордена Ленина город, сотни тысяч участников героической обороны которого носят как знак мужества и беззаветной стойкости медаль «За оборону Ленинграда», город, первым остановивший врага, выстоявший двадцать девять месяцев осады и разгромивший гитлеровские полчища под своими стенами, город, слава которого затмила славу Трои!

По тем временам выступление его звучало крамолой, в нем признавалось, что отстоять город помогало не мудрое руководство вождя, не героическая работа партии и ЦК, а нечто иное.

Природа сталинского тоталитаризма была пожизненно устремлена на борьбу, необходимость борьбы перешла в потребность. Наркотически требовались новые и новые разоблачения, уничтожение врагов, поиски новых. Борьба оправдывала трудности, одурманивала головы и души миллионов людей. Борьба продолжалась и после 1937 года, и после войны, кампания за кампанией, все более уродливые. «Ленинградское дело» выделяется некоей своей утаенностью. Открытого процесса создать не удалось. 1 октября 1950 года были расстреляны Н. А. Вознесенский, А. А. Кузнецов, П. С. Попков, М. И. Родионов, Я. Ф. Капустин и П. Г. Лазутин. Следующие смертные казни происходили в 1951 и 1952 годах. Расстреляли М. А. Вознесенскую (сестру Вознесенских), Бадаева, И. С. Харитонову, П. И. Левина, П. Н. Кубаткина... Полные списки казненных, репрессированных до сих пор не опубликованы. Сколько их было сослано, погибло в лагерях, сколько исключено из партии, выгнано с работы, никто не знает.

«Изымали» опытных руководителей, проверенных войной, блокадой, людей мужественных, влюбленных в свой город. Несмотря на сталинскую систему подбора кадров, ленинградцев отличала культура техническая и общая, питерское

начало, как могло, противостояло проявлениям тоталитарного режима.

Музей обороны был разгромлен и закрыт специальным указанием ЦК партии. Экспонаты частично розданы другим музеям, все остальное уничтожено. Директор музея Л. Л. Раков осужден на десять лет. В августе 1951 года музейные помещения переданы военному ведомству.

А вот про генерала Е. С. Лагуткина, в блокадные ночи отвечавшего за ленинградское небо, начальника МПВО, забыли. Уже многих замучили, расстреляли и вдруг спохватились — а этот почему на воле? Лагуткин рассказал нам, как ночью постучали в дверь. Голос сторожа: «Гараж почему-то ваш открыт». Полковник накинул шинель, вышел — на него и навалились. От боли в раненом плече (в испанском небе подстрелили) чуть не потерял сознание. Обыскали, нет ли оружия, и увезли. Там: «Ах ты, гадина, про тебя забыли!» И, раздев догола, заперли... в шкаф. На целые сутки. Чтобы дошел полковник. Чтобы забыл, что полковник, что летчик, что блокадник, храбрый человек, что-то мог, умел, значил...

Обескровленный, искалеченный (в который раз!) город не мог больше сопротивляться страху. Страх возобновился в партии, и прежде всего в Ленинграде, в новом руководстве. Яростное гонение на «ленинградский дух», на малейшую самостоятельность Ленинграда создало синдром приниженности, ленинградский комплекс неполноценности.

Ленинградские «вожди» один за другим, начиная с Андрианова, присланного после Попкова навести порядок, и далее Ф. Козлов, И. Спиридонов, В. Толстиков, Г. Романов, Г. Попов истово искореняют «вольность», «питерскую революционность», стараются превратить Ленинград в рядовой областной город. Ничем не выделяться, не высываться. Чисто холопское пресмыкание, верноподданность с желанием выслужиться любой ценой приводили к тому, что понятие «блокадник» как бы ничего не значило. Люди, которые

отстояли город, выдержали все тяготы, не получали никаких льгот. Они продолжали ютиться в коммуналках, им не помогали ни лекарствами, ни санаториями. Впрочем, на все это блокадники стали жаловаться в семидесятые годы, выходя на нищенскую пенсию. Пока же, в пятидесятых, они самоабвенно из руин восстанавливали любимый город. Для восстановления нужны были средства, техника. Ленинград продолжали держать в черном теле. Уже умер Сталин, прошел XX съезд партии, все сменилось, ленинградский же «синдром» продолжал действовать. «Великий город с областной судьбой» не смел вспоминать о блокаде. Он застыл раз и навсегда в утвержденной сверху героической эпопее 900 дней, которые ленинградцы выстояли прежде всего «благодаря помощи всей страны», вниманию, уделенному товарищем Сталиным. Этот образ блокады был утвержден постановлениями и обвинительными заключениями трибуналов, следовательно, обжалованию не подлежал. «Ленинградское дело» скрепило его кровью сотен своих жертв. Пересмотра не дозволялось. Установил в своей книге Павлов — уполномоченный ГКО по Ленинграду во время войны, — что количество умерших от голода горожан составляет 600 тысяч, и все, никакие последующие изыскания, аргументы историков не смогли изменить этой цифры. Павлов утверждал: кто доказывает, что погибли миллион сто тысяч жителей, кладет тень на самоотверженную заботу партии и страны и лично его, Павлова, заботу как представителя ГКО. Г. К. Жуков сумел пробить в своих воспоминаниях упоминание о миллионе умерших ленинградцев. Но и это не поколебало таких «знатоков» войны, как Сулов и Брежнев.

Страдания ленинградцев, трагизм блокады был запретной темой. В письмах Ольги Берггольц есть упоминание о том, что еще в войну ее попросили не выступать в Москве с рассказом о тысячах голодающих ленинградцев. Ее слова «Никто не забыт, и ничто не забыто», высеченные на Пискаревском

кладбище, были присвоены казенной идеологией, чтобы прикрыть холодное равнодушие. Никогда на торжественных заседаниях не поминали погибших в блокаду. Никто из руководителей партии не произнес доброго слова в их память. Сталин ни разу не воздал должного павшим за Родину, и его ученики, разумеется, также. Не позволялось оплакивать неисчислимые потери, даже называть их. Замалчивание наших потерь относилось не только к Ленинграду. В 1985 году вышла энциклопедия «Великая Отечественная война». Слова «потери» там нет. Нет цифр погибших в войну, в плену. Слов «плен», «пленные» нет. Редакторы энциклопедии — М. Козлов, Ю. Барабаш и прочие ревнители истины — даже спустя сорок лет после победы робко обходят старые табу. Поскольку цифра общих потерь в войну выглядела невыгодно в сравнении с потерями противника. С числом убитых не считались на фронте, тем более в тылу. Пренебрежение к ценности человеческой жизни было основной чертой сталинизма. «Общая цифра военных потерь, — пишет Л. Лазарев, — раз от раза менялась весьма существенно: вскоре после войны было объявлено — семь миллионов, в двадцатилетие Победы — двадцать миллионов, наконец, в прошлом году — двадцать семь миллионов, из них восемь миллионов семьсот тысяч военнослужащих» (Лазарев Л. «Как бы ни была горька...», 1991).

Никто не забыт, ничто не забыто! Но забыты были — принудительный оптимизм умышленно прятал от людей, от истории и количество погибших, и трагедию величайшей в истории войны, народного страдания.

Вторая мировая война породила три города-символа: Хиросиму — как ужас атомной бомбы, Сталинград — символ сопротивления и Ленинград — символ страдания невинных людей.

«Ленинградское дело» продолжило после войны эти страдания, этот счет убитых, погибших. В пятидесятых годах бывшие блокадники погибали от голода в лагерях, падали,

сраженные своими пулями. И учет этих потерь был тоже засекречен, доведен до ранга государственной тайны. Блокада Ленинграда не кончалась после войны еще годы. Слово блокада мы не берем в кавычки, город не обстреливали, не бомбили, голода не было, блокада была незримая — политическая, опальный город был окружен подозрительностью, отвергалась инициатива, ему не давали восстановить ни своего достоинства, ни заслуг, ни осуществить своего значения в российской культуре.

2000–2008

Не многое сбылось

К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ Я БЫЛ В ЛЕНИНГРАДЕ, ДЕМОБИЛИзованный, был отозван с фронта как энергетик, работал в Ленэнерго. Набережные Невы были переполнены, кипели возбужденными ликующими толпами. Пели, орали, играли аккордеоны, гармошки, никогда я не видел столько счастливых и столько плачущих от счастья лиц, не видел такой открытости питерцев, обычно сдержанных, замкнутых. Незнакомые обнимались, целовались. Меня наперебой угощали самогоном, брагой, пили, не отказываясь, и не хмелили. Военных качали, я носил еще танкистскую кожанку, гимнастерку, и меня схватили качать. Кому-то я подарил свою фуражку, мне совали в карманы конфеты, значки. Какие-то смельчаки танцевали на гранитных парапетах над невской водой. Степень радости и счастья в исстрадавшемся Ленинграде была особенно высокой.

Празднично блестела Нева, и солнце светило ярче обычного, тот счастливый день до самого конца остался во мне драгоценным украшением на много лет.

Печатается по: *Гранин Д.* Интеллегенды. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2007. С. 69–74.

Праздничные огни Победы, казалось, будут светить нам всегда. Но вскоре началось нечто странное: в 1946 году сняли выплату пенсии за ордена. Деньги шли маленькие — в месяц 15 рублей, это за Красную Звезду, за Красное Знамя платили на десятку больше. Все же получалось кое-какое подспорье нашему тощему бюджету. Ликвиднули, ничего не объясняя. Постановление было из тех, что не публикуются. Прошел еще год. 23 декабря 1947-го отменили выходной в День Победы, день уже не праздновался, как раньше, ни салютов, ни фейерверков в прежнем виде не подавалось. Торжественных заседаний также. Как пояснил мне один партначальник, человек осведомленный: вы, мужики, сильно заноситься стали, одернуть вас надо.

Похоже, он повторял слова, что циркулировали наверху. Перед этим еще Г. К. Жукова сняли с должности заместителя министра обороны, послали командующим в Одесский военный округ.

День Победы отмечать не перестали. Упорно собирались, хотя горечь росла. Исчез мой приятель Володя Кудряшов, безногий, обморозился на Ораниенбаумском пяточке, передвигался он на деревяшке, самокаты их называли, пел на Мальцевском рынке. Инвалидам подавали щедро, болела за них душа. Однажды безногих на самокатах и «самоваров» — это тех, у кого ни ног, ни рук, — выслали из города, говорили, на Валаам — чтобы вида не портили.

В День Победы собирались на площадях, в скверах, у каждой дивизии было свое место. Выставляли плакаты — такой-то полк, госпиталь, бригада. Надевали свои ордена, медали, гвардейские значки, нашивки за ранения. Тут же выпивали, приносили огурцы, грибочки, а то шли в закусочные. С Марсова поля мы спешили на площадь Стачек застать своих ополченцев. До позднего вечера отмечали встречи, объятые родственной нежностью к саперам, медикам, к тем, кто нас спасал.

Гуляй, братва уцелевшая, / эх, что, что, благо есть за что, / недобитые, контуженные, уже ненужные.

Именно ненужность, она все чаще воротила свою холодно-чиновную морду. Селили в общежитиях, на работе места заняты, фронтовикам льгот не доставалось, ни добавок к пенсиям, ни квартир. Мой товарищ Герман Гоппе, изувеченный под Кёнигсбергом, инвалид первой группы, за боевые свои заслуги не имел ничего.

Без почета, без благодарности уходили из жизни те, кто спас Отечество.

Перестали носить ордена: нескромно, говорили фронтовикам.

Только спустя двадцать лет после войны, в 1965 году, отметили солдат медалью в честь Победы.

В тот год комбат Павел Литвинов собрал нас в Доме офицеров. Радость встречи перемежалась жалобами на тяжелое житье-бытье, жили плохо, в коммуналках. Блокадные беды, землянки, обстрелы, голодухи вспоминали с гордостью, те невзгоды были понятны. Тяжелейшая наша война виделась оправданием жизни.

Вышло глупое, если не хуже, постановление: участникам войны, инвалидам войны полагалось все без очереди. Всюду стояли очереди — за продуктами, в парикмахерских, поликлиниках. В многочасовых очередях женщины накидывались на ветеранов, которые размахивали своими удостоверениями, жалкая эта привилегия ожесточала и тех и других. Молодые, не стесняясь, выкладывали: «Победители! Да без вас мы бы сейчас пили баварское пиво, а не эту мочу!»

История войны бесстыдно обросла враньем. Сперва объявили цифру потерь в войне 6 миллионов, спустя годы Министерство обороны вынуждено было изменить явно фальшивые данные, цифру неохотно увеличивали, она достигла 20 миллионов. Ныне сообщили — всего 27 миллионов: 20 миллионов — гражданское население и 7 миллионов —

военные потери. И к этим цифрам доверия нет, расчеты не приведены, соответствующие архивы засекречены¹.

Ни разу ни Сталин, ни Хрущев, зная о страшных потерях, не помянули погибших за Родину. Даже будучи в Ленинграде на юбилее освобождения от блокады, Брежнев не выразил соболезнования городу, который потерял свыше миллиона своих горожан и защитников за 900 дней блокады.

Одно из самых тяжких и постыдных последствий войны — это отношение к военнопленным. Плен у нас карался как преступление, хотя в плен попадали целыми дивизиями, а то и армиями (можно вспомнить 6-ю армию или 26-ю). Считается, что пленных было не меньше пяти миллионов. Их подвергали репрессиям, они пребывали отверженными, бесправными. В той же ФРГ пребывание в плену засчитывалось солдатам в общий стаж. В русской царской армии «воинские чины, взятые в плен и не бывшие на службе у неприятеля, по прибытии из плена получают от казны жалованье... за все время нахождения в плену». Русская армия строго соблюдала эти правила и в Русско-японскую войну, и до нее.

Наши военнопленные претерпели голод, нечеловеческие условия в немецком плену, они не были защищены Женевской конвенцией, а после Победы многих отправили опять в лагеря, уже наши. И снова голод, унижение, каторжные работы. В наших лагерях немецких военнопленных кормили лучше, чем советских, и обращались с ними гуманнее.

Все 60 лет система секретности архивов плюс цензурные препоны мешали создать честную историю Великой войны.

¹ По рассекреченным данным Госплана СССР, безвозвратные потери населения СССР в результате действия факторов войны составили почти 42 миллиона человек. «Что такое — 42 млн? Это не цифра. Для тех, кто остался в живых, — это одиночество» — так Д. Гранин прокомментировал эти данные в интервью «Новой газете». <https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/05/08/72394-chto-takoe-42-milliona-pogibshih-eto-ne-tsifra-eto-odinochestvo>. (Примеч. ред.)

Критично оценить действия наших войск, показать, как на самом деле выглядит репутация некоторых военачальников, которые воевали числом, а не умением, губили без счета солдатские жизни ради своих званий и наград.

Наша военная история не позволяла себе отдать должное искусству противника, блестящим операциям Манштейна, Роммеля, Гудериана. Писали только о провалах их планов, об их неудачах.

К сожалению, ненависть к фашизму ослепила и нашу литературу. Единственное произведение, какое я могу припомнить, где в немецком солдате автор прежде всего увидел человека, была повесть В. Кондратьева «Сашка».

Замечательная наша литература о войне создала прочный памятник народному подвигу. Нам, однако, не хватает толстовского понимания войны, французы для Толстого были не только оккупантами, но и людьми, которые страдали, боялись, такая же кровь текла у них из ран, они так же мучились, умирая. Сейчас заговорили о насилиях, жестокостях наших солдат в Германии. Каждая война рано или поздно становится грязной. За годы войны нас ожесточили разрушенные города, сожженные наши деревни, виселицы, насильно угнанные в Германию на каторжные работы сотни тысяч. Душа вопила о возмездии, но это было совсем другое, чем холодная жестокость нацистов к советским людям, отношение как к низшей расе, с которой можно делать что угодно.

...В тот День Победы на Марсовом поле я застал всего несколько растерянно бродящих ветеранов, женщин из банно-прачечного отряда. Подошел ко мне старик с кошелкой, приехал он из Волхова, надеялся встретить кого-нибудь из своей 53-й армии. Никого. У меня тоже не было здесь ни одного однополчанина, может, их вообще не осталось. Присели мы на скамейку, достал он пол-литра, стаканчики, дивного волховского сига, специально припасенного к празднику. Выпили за помин тех, кто пал, тех, кто приходил сюда и больше не придет. Он был в 1942 году радистом, потом артрязведчиком.

Всегда можно было отличить тех, кто сидел на передке, стрелял, от тыловиков. Вспоминали всякую всячину, немецкие гранаты, дурные немецкие сапоги со стальными гвоздями, из-за которых ноги мерзли, потом разговор зашел про американский яичный порошок, тушенку, перекинулся на джип — отличная машина, запросто тащила 76-миллиметровую пушку; мне вспомнилась американская стереотруба, невесть как она досталась батальону, ленд-лиз — начисто забылось это слово. Со Вторым фронтом союзники тянули, мы их поносили последними словами, зато их консервы, витамины, глыбы шоколада, который надо было колоть для раздачи, поддерживали нашу шаткую голодно-цинготную жизнь.

— А плащ-палатку помнишь? — спросил разведчик.

— А вот танки М-3 были дерьмовые, — сказал я. — Поролоном внутри обивали, он горел со страшной вонью.

— Все равно спасибо им, — сказал разведчик. — Сколько погибло конвоев...

Мы выпили в память конвойных кораблей.

— Полушубок мне достался, белый, — сказал разведчик, — без него бы поморозился.

Я вспомнил английскую шинель, зеленую, которую добыл себе старшина.

— Ленд-лиз... — сказал я. — Наш вождь и учитель не хотел за него благодарить.

— Давай не будем на него валить. После него тоже могли вспомнить.

— Считается, что мы кровью расплатились за все.

Он подумал и сказал:

— Так-то оно так, да ведь не обязаны они были.

— Это точно...

— Ты в Германии был? — спросил он.

Был, и совсем недавно был и там раздумывал о том, что победить мы победили, а вот чувства превосходства нашей жизни нет. Победили для других, освободили от нацизма ту же Германию, а сами для себя чего добились? Свободы? Благополучия?

Ничего этого я не стал говорить. Как рассказать о чувстве вины, которое не отделить от Победы, научило ли это чувство нас чему-нибудь?

— Никого не осталось, — сказал я. — Ты да я. Кончилось наше время.

— Знаешь, я все думаю, — сказал разведчик, — как это мы сумели победить, ума не приложу.

Мы с ним посмеялись и допили остатки.

Страх

ЭТО ЗАМЕТКИ ПРО СТРАХ. О ТОМ, КАКОЕ БОЛЬШОЕ место в моей жизни занимал Страх, сколько прекрасных порывов души погасил он в жизни моего поколения, сколько он извратил в характере, как он обессиливал, какие горькие воспоминания он оставил.

На нашем веку страх занимал слишком большое место. Мне захотелось рассчитаться с этим чувством, попробовать взглянуть ему в глаза, не уклоняться, а спокойно рассмотреть, что это за штука.

Действительность большей частью не настолько ужасна, как возможности страха, которые мы сами изобретаем и расписываем до гигантских размеров. Жизнь в страхе у многих людей длилась годами, съедала лучшую пору. Все силы уходили на борьбу с воображаемыми угрозами, одолеть их не удавалось. В том-то и кошмар, что они непобедимы. Я поразился, до чего много их было и продолжает появляться. Когда же случается то, чего ждешь, можно наконец бороться не с призраками, это куда отраднее.

С детства, со школьных лет, некоторые страхи сопровождали меня десятилетиями. Были страхи на войне. Я не считаю

Печатается по: *Гранин Д.* Собрание сочинений: В 8 т. СПб.: Вита Нова, 2009. Т. 7. С. 355–456.

обычных житейских переживаний за близких людей, за свою работу. Это обязательная принадлежность любой жизни. Меня больше занимали те страхи, которые теперь, спустя годы, вызывают стыд и раскаяние. Те, что были приметой времени, что калечили судьбы миллионов, и те, что продолжают хватать за горло, подстерегать моих детей и внуков.

Страх можно определить как ожидание зла. У страха есть, как у каждого чувства, своя иерархия — ужас, боязнь, стыд, потрясение, испуг, мучение. Древние греки давали следующие определения:

Ужас — страх, наводящий оцепенение.

Стыд — страх бесчестия.

Робость, боязнь — страх совершить действие.

Испуг — страх, от которого отнимается язык.

Мучение — страх перед неясным.

Страху подвержен весь животный мир, страх спасает, оберегает, позволяет выжить. Человеку же приходится переживать еще страхи, свойственные только ему. Это прежде всего безотчетный страх-тоска, идущая, может, от того Ничто, что было до нашего появления, и того Ничто, что поглотит нас. Не отчетливая мысль, которую можно чем-то утешить, а подсознательный ужас перед безмерностью этой тьмы. Душа как бы оказывается на границе между бытием, которое постоянно устремлено вперед, имеет будущее, и концом будущего. Перед ничтожностью существования.

Страх возникает не от того, что это предстоит, а от того, что это нельзя осмыслить. Так человек, подойдя к пропасти, боится «не того, что он может упасть, а того, что может броситься в нее» (Сартр).

Страх и любовь всегда вместе. Любовь к жизни, воля к жизни не могут быть без страха потерять жизнь. Человек любит наслаждения жизни и боится потерять их. Боится лишиться своего здоровья, своей чести. Сильнее этих страхов страх потерять своих детей, близких, ради них он готов жертвовать собою. Это выражение высшей любви. Страх постоянно сопровождает любовь, как тень.

Существует множество страхов — естественных, как бы здоровых, страхов индивидуальных, патологических. Страх перед толпой, страх стать импотентом, страх политика потерять популярность... Страхи определяют время, историю и личность: скажи мне, чего ты более всего боишься, и я скажу, кто ты. Человек, лишенный страха, был бы страшен.

Осмыслить природу страха во множестве ее видов — дело философов и психологов, я всего лишь хочу рассказать о том, что испытал сам и что испытывают люди вокруг меня.

I

Теперь он был удачливый бизнесмен. Чего-то покупал, потом это чего-то где-то продавал. А раньше он был партийный начальник. Он работал в местах моего детства. Он был секретарь обкома. Третий. Но все равно большой начальник, то есть ему подавали машину, он имел «вертушку» — особый телефон — и много власти. Звали его Федор Алексеевич. В новом своем качестве он отрастил бороду и носил крест.

Познакомились мы в одном санатории. Гуляли вместе, вспоминали новгородские леса, морошку, глухие деревушки. Семья наша жила тогда в районном центре, в Лычкове. Неподалеку от нашего дома стоял двухэтажный дом с железными решетками на окнах нижнего этажа. Мне интересен этот дом был тем, что по вечерам там всегда горел свет. Я зачитуюсь до глухой ночи, выйду в уборную, во двор, всюду тьматьмущая, а там два-три окошка светятся. Я спрашивал отца — чего там делают? Снизив голос, он отвечал хмуро — «шпионов ловят». Больше ничего от него не добился. Как ловят, каких таких шпионов. Звучало привлекательно, но вот что интересно, мы, мальчишки, почему-то обходили этот дом стороной, в окна не заглядывали, в сад ихний не лазили и даже между собою не говорили про этот дом. Какая-то опасность окружала его. Тогда это учреждение называлось ОГПУ.

Люди, которых туда привозили, — исчезали. О них говорили шепотом.

Ныне, спустя полвека с лишним, спросил я у Федора Алексеевича про то районное отделение, что за шпионов оно ловило? Разве могли добраться шпионы до нашего затерянного в лесах Лычкова, если про эту глухомань слыхом никто не слышал. Кого там ловить, чего там шпионить?

Сперва на это Федор Алексеевич ответил, что понятия не имеет, чем они там занимались, он хоть и начальство, но это учреждение перед ними не отчитывалось и дела свои не открывало. И вообще, чем больше знать, тем хуже спать.

— Известно, что на район присылали цифры. Я ведь тоже понаслышке знаю. И на ваше Лычково, наверное, норма полагалась — сколько раскулачить, сколько сослать, сколько арестовать. Порядок был.

— Ради чего?

— Классовая борьба... — Он поморщился. — Это теперь мы видим все по-другому.

И в шпионов верили? Не такие же дурни кругом были. Какие могут быть в Лычкове шпионы? Ну хорошо, раскулачили, а потом чем занимались? Целое учреждение. Свет жгли, бумагу изводили, здоровые мужики, зачем их на пустой службе держали?

Федор Алексеевич только посмеивался.

— Это же годами длилось. Десятилетиями. Никаких результатов. Вы-то почему терпели этот абсурд?

Все же я его достал. Он рассердился:

— Не такой уж абсурд. Дисциплина была. Все, что прикажем, — выполняют. Нам с руки было. А все потому, что они в каждом районе сидели, свет жгли. Нам вникать не за чем было. Мы понимали — они страх изготавливают. А мы пользуемся их продукцией. Отделения страха по всей стране работали... Они и нас пасли. Страх был, и управлять было легче. А сейчас чем припугнуть? Нечем! Народишко перестал бояться. Это же беда. Вы про себя вспомните, разве вы не боялись?

— Чего?

— Ха, в том-то и дело. — Федор Алексеевич хитро сощурился, засиял от удовольствия, погладил рыжую бородку. — Неизвестно чего! Просто человек в страхе пребывал. Придут и схватят. Выставят на улицу. В голом виде. И не скажут за что. Мало ли какие картины рисовал. Я по себе знаю. В этом состоянии человек всего боится. Начальник не так посмотрит, уже мандраж начинается. Догадайся сам, по какому поводу. Кто донес? Кто-то ведь донес? Ведь было так! Небось подозревали всех кругом, вглядывались?

Он был совсем не прост, этот бывший секретарь. Но не умнее Системы: она создавалась усилиями тысяч таких, как он, и с годами достигла высокого совершенства.

— Для чего нужна была такая большая партия, — говорил он, — шутка ли, восемнадцать миллионов! Членство в партии ничего особого не требовало. Плати взносы — и все дела. Хитрость в другом состояла. Каждого члена партии мы могли в случае чего припугнуть. Будь любезен, голубчик, отправляйся, допустим, на лесозаготовки. Ах, не хочешь, тогда билет положишь на стол. А что такое исключение из партии? Это конец, гражданская казнь! Вы же знаете, одно дело быть беспартийным, другое — исключенным из партии. Карьера прервана, и оставь всякие надежды. Сколько исключенных кончали с собой.

Чем дальше, тем с большим увлечением, даже восторгом расписывал он гибкость и силу механизмов устрашения.

— Вы могли бы преподавать анатомию страха, — сказал я. Он посмотрел на меня без улыбки, взгляд начальника, не поймешь, дошло до него или нет.

На следующий день он сам напросился на разговор:

— Анатомия страха, это вы хорошо назвали. Вот вам еще урок этой анатомии. Анкета. Над нашими анкетами теперь смеются. Сколько там было вопросов. Про родителей, про жену, детей, родителей жены. Зачем, спрашивается? Работника надо выбирать не по анкетам, а по деловым качествам.

Как будто мы сами не знали! Молодежь насмехается, смотрят свысока на советское прошлое. Порядка же навести не могут. И не наведут. Без страха им не справиться. А страху нет. Не хватает. У нас была создана, отлажена почти научная система поддержания страха. Тоталитарный режим создал тоталитарный страх. Нам не долларов не хватает, нам страха не хватает. Разрушили нашу систему... Так вот насчет анкет. Вопросы не такие дурацкие были. Наша задача — выловить грешки; за каждым имеются грешки. Каждый прячет какое-нибудь говнецо. Один когда-то проворовался, у него судимость, другой скрыл отца-вредителя, у третьего — жена с родственниками за границей. Такие люди, к вашему сведению, — самые ценные. Иной думает, что если у него анкета чистая, то он кум королю, ему все дороги открыты. Ан нет. Еще раз нет. Нам куда лучше было иметь замаранного. Он стараться будет изо всех сил. А уж если он чего скрыл, то крепче всех на крючке сидит. Мы ему чуть-чуть намекнем — и достаточно. Компроматики — самый ценный кадр. Компроматик — это тот, на кого есть компрометирующий материал. Компроматик — человек обязательный, исполнительный. Главное же его качество — он вам предан, он вам верно служит, потому как он у вас в руках, вы его в любой момент огласите, и все, спекся мужик. Втайне он вас ненавидит, но будет за вас стараться, подвоха от него не предвидится. Страхом надо умело пользоваться, человек благодаря страху способен творить чудеса и подвиги!

Вдохновленный моим вниманием, он рассказал мне историю одного своего коллеги, партийного деятеля, который сделал головокружительную карьеру. От простого инструктора добрался до секретаря обкома, затем поехал в Москву в Высшую партшколу, кончил ее, пробился в аппарат ЦК партии и дошел до члена Политбюро, то есть до наивысшей власти. А секрет заключался в том, что семья его раскулачена была, выслана в Сибирь, и он оттуда завербовался на стройку.

Скрыл факт раскулачивания. Чего-то там напридумал. По мере продвижения вверх откопали истину, но кадровик не закладывал его. Ему везло, он ставил на кого надо. Короче, вошел в ЦК, оттуда в Политбюро, где пребывал на первых ролях. Выступал, учил, вдохновлял, исправлял положение в деревне, в идеологии, в культуре. Когда партия рухнула, казалось, погребла его под своими развалинами, вместе с другими вождями. Прошел год, другой, и вдруг он появляется, выступает уже в роли пострадавшего — у него, видите ли, родители были раскулачены. Он жертва советского режима, сталинизма, он и есть истинный борец за демократию.

— Я встретился недавно с ним. Он мне признался, что, рассказав о своих родителях, испытал облегчение, давняя тяжесть свалилась с него. Но я сказал ему, что, может, не будь этой тяжести и страха, у него не хватило бы энергии добаться до вершин. Страх придает силы. Нельзя думать, что страх — это только плохо. Страх заставляет человека проявить такие способности, о которых он и не подозревал. У нас во время пожара кассирша схватила сейф и вытащила на улицу. Потом мы вдвоем, мужики, еле подняли его.

Судя по всему, он был специалист, умел пользоваться оружием страха.

Угроза получить взыскание действовала в партии безотказно. Самым же страшным были слова — «положишь партбилет на стол!». Эта волшебная фраза, с помощью которой осуществляли свою власть функционеры, заставляли трудиться через силу, надрываться, терпеть хамство, исполнять любые абсурдные распоряжения.

Время от времени происходили партсобрания, на которых разбирали персональные дела. Кого-то прорабатывали, давали ему выговор или исключали. То были страшные судилища. Страшные прежде всего для обвиняемых...

Воспоминания нахлынули на меня. В самом деле, какое место в нашей жизни занимал страх?

II

В 1931 году на сценах советской страны появилась пьеса Александра Афиногенова «Страх». Она была посвящена силе этого страха, который нарастал в советской жизни. Постановка этой пьесы была возможна, поскольку репрессии еще не стали массовыми, идеологическая цензура имела границы. Спектакль пошел с успехом по многим театрам, пока власти не спохватились.

Главный герой пьесы профессор-физиолог Бородин произносит на собрании речь о страхе, которая в те годы стала знаменитой. Стоит процитировать хотя бы часть ее: «...Молочница боится конфискации коровы, крестьянин — насильственной коллективизации, советский работник — непрерывных чисток, парработник — обвинений в уклоне, научный — обвинений в идеализме, работник техники — обвинений во вредительстве. Мы живем в эпоху великого страха. Страх заставляет талантливых интеллигентов отказываться от матери, подделывать социальное происхождение, пролезать на высокие посты... На высоком месте не так страшна опасность разоблачения. Страх ходит за человеком... Мы все кролики перед удавом. Можно ли после этого работать творчески? Разумеется, нет».

Меня поразило, что в 1929–1930 годах, когда писалась пьеса, уже сложилась и действовала тотальная система страхов. Год от года она нарастала. Кончились чистки, появились «вредители», «идеологические диверсии», «враги народа», персональные дела. В начале тридцатых, оказывается, гибельность системы страхов уже была осознана.

Бородина беспокоят препятствия для творческой работы. Страх подавлял ученых, наука наша до войны мало чем могла похвастаться, только с началом атомных работ физика, а за ней и прочие точные науки были амнистированы, сделаны неприкасаемыми и обрели лихорадочно интенсивную жизнь.

Эпопея с лысенковщиной еще до войны привела к разгулу репрессий в генетике, за ней и в других разделах биологии, в агрономии. Ведущих ученых арестовывали, ссылали, расстреливали, некоторые кончали с собой.

На самом деле физика вовсе не стала островом безопасности. Мало кто знает, что перед испытанием первой советской атомной бомбы была создана вторая команда физиков, «дублиеры» курчатовской команды. В случае неудачи курчатовскую группу следовало репрессировать и новой команде продолжить работы. Подобный дубляж создавал соответствующую атмосферу и для Курчатова, и для его помощников. Работы над атомной бомбой не случайно курировал Берия — министр внутренних дел, главный каратель страны.

Страх не способствовал поискам и находкам ученых-физиков. Если им что и помогало, так это желание защитить страну от американского атомного диктата. Обстановка величайшей секретности царила на советских объектах, примерно так же, как и в Лос-Аламосе у Оппенгеймера. Секретность в науке всегда мешает. Призраки шпионажа бродили вокруг лаборатории. Шпиономания привела в США к казни четы Розенберг. Посажены были десятки людей. Хотя, как теперь выяснилось, это нисколько не остановило работу наших шпионов. Сведения из Лос-Аламоса продолжали поступать нашим физикам, и они достаточно умело пользовались американскими данными.

В физиках нуждались, им давали поблажки, зато в других науках царил террор. Репрессии захлестнули генетику, физиологию, агрономию. Сотни ученых, тысячи агрономов изгонялись, лишались работы.

Профессора Московского университета, выдающегося физиолога растений Д. А. Сабинаина затравили, в 1951-м он застрелился. Репрессиям подвергли геологию. Затем началась «борьба с низкопоклонством», которая перешла в кампанию «против космополитизма». Изничтожали литературоведение, критику, филологию.

Профессор Бородин в пьесе Афиногенова не представлял себе, как будет расти страх, какие формы он примет, масштабы этого трепета, ужаса. Черные списки превосходили все, что было в российской истории.

Аресты, расстрелы 1937–1938 годов перешли в подавление всякого своемыслия.

Лысенковщина торжествовала победу. Лженаука должна была показать всем, что идеология выше истины, что интересы политики важнее интересов науки. В итоге фанатик, мракобес Лысенко чувствовал себя на коне, противники были уничтожены, все остальные не смели поднять головы. Примерно то же происходило и в других науках, там возникали свои идеологические обскуранты, они громили «идеалистов», «антимарксистов» и утверждали тем самым свое лидерство. В физиологии, разгромив школу Орбели, утвердился Быков, в литературной критике Ермилов, Грибачев, в драматургии Сафронов, Суров. Бал правили громилы, лютые гангстеры науки, искусства. Чего стоил шабаш, который творили среди художников Александр Герасимов и Владимир Серов. Странно совпали их фамилии с настоящими художниками — Сергеем Герасимовым и Валентином Серовым, словно какая-то дьяволиада морочила людей.

Россияне жили в условиях повышенного страха уже больше семидесяти лет. Одни страхи сменялись другими, все более массовыми, грозными. Родители передавали их детям, дети своим детям. Войны, революции, репрессии — три эти главных страха сопровождали жизнь людей, выводили из строя самых активных, талантливых, шла селекция, отрицательная селекция, сохранялись посредственности, робкие, покорные.

Дети, окруженные запретами, ложью, становились неуверенными в себе, у них атрофировались многие желания.

Чтобы восстановить генетически здоровое, полноценное общество, с нормой талантливых, энергичных людей, требуется снизить уровень страхов, уменьшать их в течение хотя

бы нескольких десятилетий, то есть самое меньшее два поколения должны прожить спокойно, в правовом режиме демократического государства.

III

Любопытно, что такое всеобщее, древнейшее чувство, как страх, мало исследовано. Наиболее глубоко оно было обмыслено экзистенциалистами — философами Сартром, Хайдеггером, Кьеркегором.

Страх и страхи занимают постоянно место в повседневном сознании человека. Страх не сводится только к отрицательной эмоции в результате опасности, мнимой или реальной.

Казалось бы, страхи историчны. Были первобытные страхи, языческие, страхи средневековые, страхи мистические. И тем не менее просвещение, науки никак не влияют на их жизнь.

Страхи не эволюционировали. Они мало видоизменялись. До сих пор существуют черти, бесы, летают ведьмы, появляются привидения, бродят призраки, водятся русалки и водяные. Кто-то наводит порчу. Детям читают все те же сказки, и в сказках все те же драконы, действуют лешие, Бабы-яги и Кощеи Бессмертные. Страхи не умирают, они наращиваются. Так же, как болезни. Чума не исчезла, зато появился СПИД.

Темнота страшит по-прежнему, вдобавок появился страх перед невидимой, неслышной радиоактивностью. Дождь может быть радиоактивным, и грибы, что укромно растут в березняке, и зелень, и мясо животных. Тиканье счетчика Гейгера чудится повсюду.

Наша цивилизация может похвастать, что она создала нечто особое, высшее в иерархии физических и воображаемых страхов, страх, которого никогда не знали на Земле, — страх

уничтожения всего живого. Не в духе Апокалипсиса, а вполне научный, подкрепленный физическими формулами.

Что означает атомная война, мы узнали в Нагасаки и Хиросиме. Мгновенная вспышка испаряет все живое. Иногда от людей остаются слабые тени, отпечатанные на камне. Ни праха, ни могил — все улетучилось. Перед миром предстала в подробностях картина того, как в результате атомной войны современное человечество исчезает.

Прошлые ужасы — чума, мор, землетрясение — не открывали такой тотальной возможности, осознать новую угрозу было невыносимо.

Умирает личность, остается память о ней, дети, внуки, дела. Ужас смерти как-то смягчен. «Я» исчезает не полностью. Какое-то время оно еще живет среди окружающих. Переходит в жизнь потомков. Так или иначе, «весь я не исчез». Люди умирали, человечество оставалось. Моя жизнь в нем не кончилась. Будет могила, на которую будут приходить потомки.

Доказано, что атомная война приведет к полному уничтожению нынешней цивилизации, возможно, и всего живого. Впервые человечество столкнулось с возможностью всеобщей гибели. Ужас этой угрозы был страшнее всех страхов, созданных религиозными представлениями. Религии не обрывали нить жизни. Атомная война вместе с жизнью уничтожала память, историю и самого Бога.

Ад был начинен всевозможными ужасами. С детства я любил часами разглядывать картины Босха и Микеланджело, живописные подробности того, что ожидает грешников. Рай был ясен и в общем-то скучен своим благополучием. Его изображения не отличались разнообразием. Цветущие сады, тигры, которые пасутся рядом с овечками. Зато картины пыток, адских терзаний не повторялись. Чего только не придумывал Босх! Чудовища поедают людей, превращают их в уродов. В подполье живут ханжи вместе с крысами. Блуд с животными рождает химер. Грешников поджигают, ломают, делают им коротенькие ножки, огромные носы-клювы, их поедают...

На картинах Босха действуют множество придуманных им существ, предметов, над которыми властвует Сатана, его арсенал, его мир, из которого возникал страх того времени. Адские уловки Сатаны полны изобретательности. Отец лжи варит кашу, по словам Кальвина, из хитроумных обманов. Босх сумел воплотить неуловимость страха в реальные сцены, сценки, как бы заснял документально, как хозяйничает злобное воинство демонов.

И Лютер, и Кальвин, и святой Фома — все убеждены были во всемогуществе Сатаны, в его неисчерпаемых возможностях. Бороться с ним в одиночку почти невозможно. «Человек не представляет, с каким врагом он имеет дело, насколько он силен и ловок в борьбе, насколько он вооружен» (Кальвин).

Человек находился между страхом собственных греховных соблазнов и страхом пагубных козней помощников Сатаны.

IV

У каждого человека происходит смена страхов. Первые детские страхи темноты, страх потеряться, страх перед животными, перед ссорой взрослых — уходят с возрастом. В отрочестве у меня возник страх смерти. Не моей, я увидел, что люди умирают, значит умрут и мои родители, открытие это пронзило меня, я стал всматриваться в их лица. Как они старели. У отца появилась лысина. Неужели мир вокруг меня, так прекрасно устроенный, не прочен? Невозможно было представить смерть близких.

Много позже у своей дочери, когда ей было лет десять-двенадцать, я почувствовал страх, безотчетный, панический, перед Временем. Однажды, не вытерпев, она призналась: «Я не хочу расти!» Она не хотела взрослеть. Я замечал, как боязливое это чувство не отпускает ее — нежелание отдаться потоку времени. Я вспомнил свой страх утраты окружающего мира. У нее было то же самое, она понимала, что, вырастая

из детства, она должна оставить там куклы, косички, покой маленькой кровати, сказки перед сном. Желание сохранить тепло детства, бесконечность детской жизни выступило подсознательно как инстинктивное прозрение о том, что это лучшая, золотая часть жизни.

Пугающая работа времени, чем дальше, тем чаще, слышится сквозь шум обыденности. В иерархии страхов приближение конца должно было бы занять одно из первых мест.

Религия отчасти смягчает ужас прихода Ничто. Вера в Бога — прежде всего вера в бессмертие. Бог — создатель бессмертия. Поэт Теннисон говорил: «Если бессмертия нет, тогда не Бог, а насмешливый бес сотворил нас». И Лютер выразился в том же духе: «Если вы не верите в будущую жизнь, то я и гроша не дам за вашего Бога».

В совершенном мире главной функцией Бога остается гарантия личного бессмертия. Конец веры в будущую жизнь будет означать конец этического поведения в этой жизни, торжество ужаса, страха и вседозволенности. Герой Достоевского считал, что если Бога нет, то все дозволено.

Казалось бы, это неопровержимо. Между тем нравственное поведение питается и другими источниками. Неведомыми нам, скрытыми.

Подавляющее большинство ленинградцев в годы войны, в блокадном городе, были неверующими. Религия в Советском Союзе была вытеснена из жизни. Ленинград в этом отношении считался «передовым» городом. Поведение жителей в условиях голода, обстрелов, пожаров, лишенных тепла и света — словом, в безнадежных условиях — тем не менее отличалось, как правило, высокой жертвенностью и состраданием. Люди помогали друг другу из последних сил. Поднимали упавших от голода на улице, вели домой, поили кипятком, делились крохами хлеба. Работая над «Блокадной книгой», мы, с моим соавтором А. Адамовичем, сталкивались со множеством подобных фактов и всякий раз допытывались: нравственное поведение в этих запредельных условиях — чем

оно вызывалось? Не религия, не страх Божий заставляли людей действовать, казалось бы, вопреки интересу самовыживания. Чем диктовался их альтруизм? Оказывается, не все было дозволено, действовали еще какие-то сокровенные нравственные законы, какие-то требования совести, которые живут в душе человека независимо от его веры или безверия.

Блокадная жизнь сдернула покровы душевных переживаний, сокровенные чувства обнажились. Смерть стала обыденностью, ее было кругом слишком много, страх перед ней притупился, человек как бы свыкся с мыслью о своем умирании, которое происходило с ним постепенно, день ото дня. Он видел, как он умирает, как тончают его руки, обтягивается лицо, слабеют ноги. Но по дороге к смерти вырастали другие страхи, например потерять карточки, по которым давали хлеб. Страх оставить детей, родителей без помощи — кто пойдет за водой, кто растопит печь. Мы открыли удивительный закон блокадного города: спасались те, кто спасал других. То есть большей частью спасались именно они. Страх за близких заставлял их, умирающих, двигаться, заботиться, и это помогало им держаться. Многие из них тоже умирали, но во всяком случае — умирали не расчеловечиваясь, и жили из последних сил, вопреки всем законам биоэнергетики.

Я написал: «Страх заставлял» — так ли это? Может, правильнее было бы написать: «Любовь заставляла их». Страх и любовь соединялись в единое чувство. Не случайно в русском языке такое соединение чаще всего выражается понятием — «жалость». Оно связано с любовью, с заботой, со страхом. За своих близких.

То, что может в дом попасть бомба или снаряд, было не так страшно, как если не удастся растопить печку, найти дрова.

Труп маленькой дочери мать положила между окнами, потому что не было ни сил, ни возможности похоронить ее; так он лежал всю зиму, и мать и сын жили в этой комнате — и ничего не боялись.

V

В годы войны понятие страха смещалось, перерождалось. Почти четыре года на фронте резко изменили для меня соотношение ценностей. Став офицером, я стал меньше думать о собственной гибели. Ответственность за своих солдат заменила заботы о своей личной безопасности. Мне надо было под обстрелом пройти на передний край, некогда было ползти, пережидать в воронке. Надо было спешить. Приходилось, не считаясь с пулями, высматривать в бинокль, что творится у противника. Зато появились другие страхи. Я помню, как переживал нагоняй от начальства. Наш командир полка мог так наорать, такую устроить выволочку, что после этого все становилось нипочем. Командиры рот шли в безнадежные атаки, продолжали держать позиции, хотя явно следовало отступать. Дело было не в дисциплине, но в каком-то высшем страхе перед командиром. Военская нерассуждающая дисциплина, которую так тщательно воспитывают в кадровых частях, к нам отношения не имела, мы были не кадровые военные, мы пришли в армию из ополчения, добровольцами. Наш страх был иной природы. Недаром в танковой моей части распевали песню, неизвестно кем сочиненную:

Болванкой попало танку в лоб,
Механика-водителя загнало прямо в гроб.
От второй болванки лопнула броня,
Мелкими осколками поранило меня.
Третья болванка попала в бензобак,
Вырвался из танка я сам не знаю как.
Наутро вызывают в особый наш отдел:
«Что же ты, мерзавец,
Вместе с танком не сгорел?»
«Товарищи начальники, — я им говорю, —
В следующей атаке обязательно сгорю».

Все в этой песне правильно. Был приказ, по которому подбитый танк, даже горящий, экипаж не имел права покинуть, надо было получить по радиации разрешение командира

полка. За неисполнение — расстрел. Так что в песне с командиром машины обошлись еще милостиво.

Мы утешали себя на фронте поговорками типа: «Дальше фронта не пошлют, больше пули не дадут». И все же очевидность эта не действовала. Казалось бы, чего бояться? Между тем главные страхи, главные конфликты разворачивались внутри части. Куда больше чувств страха, злобы, ненависти испытывали перед представителями особых отделов, бездарными командирами, чем перед противником. Противника надо было убивать, побеждать, гнать, своим же приходилось подчиняться.

На войне я убедился, что, когда страх смерти овладевал человеком, он действительно погибал. Пуля, снаряд, мина обязательно настигала его. Предчувствие носило мистический характер. Откуда оно появилось — никто не знал. Конечно, убивали и без предчувствий, но предчувствие словно отмечало человека роковым знаком. Вообще, в войну я впервые понял, что понятие «рок» вовсе не архаично. Из темной безличной бездны вдруг появляется знак. Ни философ, ни физиолог, ни теолог не могут объяснить, что это такое. Многие события на войне совершались вопреки всем расчетам и соображениям. Случай слишком часто вмешивался в планы и выступал как судьба. Чаще всего — как поражение ума. Весь ход Второй мировой войны, и Великой Отечественной в частности, представляется мне как непреложное свершение судьбы. Все участники войны действовали так, как будто они могут сделать все. Гитлеровское командование совершенно правильно рассчитало ход блицкрига. Советское командование совершало ошибку за ошибкой. Союзники выжидали, оттягивали открытие второго фронта. Победа Гитлера по всем военным соображениям могла произойти. Однако с самого начала существовала уверенность в разгроме фашизма, и слепой рок неотступно преследовал гитлеровские войска, ничто не могло предотвратить катастрофы, самые действенные меры, временные победы оказывались бесполезными для

изменения развязки. В сцеплении всех обстоятельств словно бы проглядывает судьба: «смертные не могут избежать назначенного», того, что Гёте считал «таинственной загадочной силой, которую все ощущают и которой не в состоянии объяснить ни один философ».

Платон повторял поговорку: «Против Необходимости не восстают и боги».

Ощущение Необходимости, или Судьбы, или Рока, присутствовало в течение всей войны в сознании советских солдат, да и у союзников. Территория страха сокращалась, сводилась к личной судьбе, к своему участку фронта. «Победа будет за нами!» — звучало не как заклинание, а как общая уверенность.

VI

Известно, что Сталин ни разу за четыре года войны не выехал на фронт, не был на передовой. Все его призывы, доклады, пламенные обращения к воинам и гражданам, требования стойкости, смелости никак не связаны с личным мужеством. Он и в Гражданскую войну на фронте не показывался. Тем более в Великую Отечественную, где пушки стреляли далеко, самолеты противника прорывались сквозь заградительный огонь.

Напрасно сталинисты ругали Хрущева за фразу, что Сталин руководил войною по глобусу. В этой метафоре была своя правда. Хрущев прекрасно знал, что Сталин фронта избегал. Что такое Вторая мировая война, он не понимал, не видел, не мог прочувствовать. Это было кабинетное руководство, к тому же человека без военного образования и знания войны. В этом и был «глобус». На самом деле Хрущев мог бы сказать — Сталин отсиживался всю войну, имея о ней представление отвлеченное, в масштабах глобуса.

Большинство его соратников следовали примеру вождя. Например, А. А. Жданов, член Военного совета Ленинградского фронта, глава ленинградских коммунистов, так и не посетил Ленфронта. Хотя передовые линии фронта отстояли от Смольного, где он укрывался, на расстоянии трех-пяти километров, на машине — нескольких минут езды.

Интересно, что для самого Сталина, для Жданова и других такое поведение оправдывалось преувеличенным сознанием ценности своей личности. Культ личности Сталина порождал соответственные культы и других руководителей, их непогрешимости, их значительности как лучших его учеников и сподвижников.

В их представлении они становились незаменимы. Повсюду висели их портреты, их сопровождала охрана, они пользовались исключительными правами. Отсюда возникало их богоподобие. И соответственно, боязнь за собственную жизнь, столь необходимую народу. Так что личный страх, свойственный каждому человеку, страх естественный, увеличивался в силу гипертрофированного представления о своей роли.

Следующие поколения вождей продолжали вести себя так же. Соратники Хрущева, а за ним Брежнева — Гришин, Устинов, Сулов, Громыко, Подгорный, Шелест, Рашидов, Кириленко и другие — не воевали. Все они провели войну где-то в тылу, уполномоченными, партсекретарями, никто из них и не попросился на фронт.

В биографии Ленина немало фактов показывает, что и он никогда не отличался личной смелостью. И в революцию, и в годы Гражданской войны он чрезвычайно берегся, заботился о своей безопасности. Он первый осознал свою ценность как вождя революции и связал судьбу своей персоны с судьбою революции и Советской власти.

По мере своего возвышения руководители коммунистических правительств все более заботятся об охране, о своем здоровье. Это считается нормальным. Растет численность

охраны, растет и их ценность в собственных глазах. Вместе с этим возрастает их страх за свою личность. Чем выше, тем больше страха и за должность, ибо упасть, то есть «выпасть из тележки», — значит разбиться, расшибиться. Да и кроме того — затопчут. Страх возмездия весьма велик. Пробивались к власти, топча других, сталкивая их с лестницы, унижая, заискивая. Чтобы удержаться у власти, приходилось льстить, обманывать, клеветать, устранять соперников. Так что за каждым накопилось множество грехов.

С приходом Горбачева сменилось руководство, и можно было наблюдать, как снятые с работы секретари обкомов, горкомов партии, местные вожди партии, которая была «ум, честь и совесть эпохи», заспешили из своих центров, перебрались в Москву, подальше от сплоченных вокруг них коммунистов.

Боязнь народа принимала порой гротесковые формы. Один из вождей Ленинграда решил, что спокойнее всего для него будет принимать посетителей по телевизору. Приходит к нему гражданин, его сажают перед камерой, включается экран, он видит руководителя, тот видит его. Посетитель излагает свое дело, начальник отвечает и отключается, никаких споров, тягостного выпроваживания. Щелк — и конец связи. Безопасно, быстро, экономно.

Я не раз замечал, как люди стараются внушить окружающим страх. Демонстрируют свою силу. Ведут себя агрессивно. Одеваются вызывающе, шумят, ругаются. Им нравится наводить страх, они чувствуют в этом свое превосходство. Ничем другим возвыситься они не могут. Так действует хулиган и бандит. Есть и тип начальника, который хвалится тем, что внушает страх подчиненным, он уверен, что это повышает его авторитет и уровень дисциплины персонала; пусть все трепещут при его появлении, — он испытывает наслаждение. Будучи людьми невежественными, эти начальники полагаются только на страх. Добиться такого порядка, который бы воплотился в одном слове: «молчать!» — вот их заветная мечта.

VII

Настоящий страх, страх жутчайший, настиг меня, совсем еще юнца, на войне. То была первая бомбежка. Наш эшелон Народного ополчения отправился в начале июля 1941 года на фронт. Немецкие войска быстро продвигались к Ленинграду. Через два дня эшелон прибыл на станцию Батецкая, это километров полтораста от Ленинграда. Ополченцы стали выгружаться, и тут на нас налетела немецкая авиация. Сколько было этих штурмовиков, не знаю. Для меня небо потемнело от самолетов. Чистое, летнее, теплое, оно загудело, задрожало, звук нарастал. Черные летящие тени покрыли нас. Я скатился с насыпи, бросился под ближний куст, лег ничком, голову сунул в заросли. Упала первая бомба, вздрогнула земля, потом бомбы посыпались кучно, взрывы сливались в грохот, все тряслось. Самолеты пикировали, один за другим заходили на цель. А целью был я. Они все старались попасть в меня, они неслись к земле на меня, так что горячий воздух пропеллеров шевелил мои волосы.

Самолеты были, бомбы, падая, завывали еще истошнее. Их вопль ввинчивался в мозг, проникал в грудь, в живот, разворачивал внутренности. Злобный крик летящих бомб заполнял все пространство, не оставляя места моему воплю. Вой не прерывался, он вытягивал из меня все чувства, ни о чем нельзя было думать. Ужас поглотил меня целиком. Гром разрыва звучал облегчающе. Я вжимался в землю, чтобы осколки просвистели выше. Усвоил это страхом. Когда просвистит — есть секундная передышка. Чтобы оттереть липкий пот, особый, мерзкий, вонючий пот страха, чтобы голову приподнять к небу. Но оттуда, из солнечной безмятежной голубизны, нарождался новый, еще более низкий вибрирующий вой. На этот раз черный крест самолета падал точно на мой куст. Я пытался сжаться, хоть как-то сократить огромность своего тела. Я чувствовал, как заметна моя фигура на траве, как торчат мои ноги в обмотках, бугор шинельной скатки на спине.

Комья земли сыпались на голову. Новый заход. Звук пикирующего самолета расплющивал меня. Последний миг моей жизни близился с этим воем. Я молился. Я не знал ни одной молитвы. Я никогда не верил в Бога, знал всем своим новеньким высшим образованием, всей астрономией, дивными законами физики, что Бога нет, и тем не менее я молился.

Небо предало меня, никакие дипломы и знания не могли помочь мне. Я остался один на один с этой летящей ко мне со всех сторон смертью. Запекшиеся губы мои шептали:

— Господи, помилуй! Спаси меня, не дай погибнуть, прошу Тебя, чтобы мимо, чтобы не попала, Господи, помилуй!

Мне вдруг открылся смысл этих двух слов, издавна известных:

— Господи... помилуй!

В неведомой мне глубине что-то приоткрылось, и оттуда горячечно хлынули слова, которых я никогда не знал, не произносил:

— Господи, защити меня, молю Тебя, ради всего святого.

От взрыва неподалеку кроваво взметнулось чье-то тело, кусок сочно шмякнулся рядом. Высокая, закопченного кирпича, водокачка медленно, бесшумно, как во сне, накренилась, стала падать на железнодорожный состав. Взметнулся взрыв перед паровозом, и паровоз ответно окутался белым паром. Взрывы корежили пути, взлетали шпалы, опрокидывались вагоны, окна станции ало осветились изнутри, но все это происходило где-то далеко, я старался не видеть, не смотреть туда, я смотрел на зеленые стебли, где между травинками полз рыжий муравей, толстая бледная гусеница свешивалась с ветки. В траве шла обыкновенная летняя жизнь, медленная, прекрасная, разумная, Бог не мог находиться в небе, заполненном ненавистью и смертью. Бог был здесь, среди цветов, личинок, букашек...

Самолеты заходили вновь и вновь, не было конца этой адской карусели. Она хотела уничтожить весь мир. Неужели

я должен был погибнуть не в бою, а вот так, ничтожно, ничего не сделав, ни разу не выстрелив. У меня была винтовка, но я не смел приподняться и выстрелить в пикирующий на меня самолет. Я был раздавлен страхом. Сколько во мне было этого страха! Бомбежка извлекала все новые и новые волны страха, подлого, постыдного, всесильного, я не мог унять его.

Проходили часы, дни, недели, меня не убивали, меня превращали в дрожащую слизь, я был уже не человек, я стал ничтожной, наполненной ужасом тварью.

...Тишина возвращалась медленно. Трещало, шипело пламя пожара. Сонали раненые. Пахло паленым, дымы и пыль оседали в безветренном воздухе. Неповрежденное небо сияло той же безучастной красотой. Защебетали птицы. Природа возвращалась к своим делам. Ей неведом был страх. Я же долго не мог прийти в себя. Я был опустошен, противен себе, никогда не подозревал, что я такой трус.

Бомбежка эта сделала свое дело, она разом превратила меня в солдата. Да и всех остальных. Пережитый ужас что-то перестроил в организме. Следующие бомбежки воспринимались иначе. Я вдруг обнаружил, как они малоэффективны. Действовали они прежде всего на психику, на самом-то деле попасть в солдата не так-то просто. Я поверил в свою неуязвимость. То есть в то, что я могу быть неуязвим. Это особое солдатское чувство, которое позволяет спокойно выискивать укрытие, определять по звуку летящей мины или снаряда, где он разорвется, это не обреченное ожидание гибели, а сражение.

Мы преодолевали страх тем, что сопротивлялись, стреляли, становились опасными для противника.

В первые месяцы войны немецкие солдаты в своих касках, зеленых шинелях, со своими автоматами, танками, господством в небе внушали страх. Они казались неодолимыми. Отступление во многом объяснялось этим чувством. У них

было превосходство оружия, но еще и ореол воина-профессионала. Мы же, ополченцы, выглядели жалко: синие кавалерийские галифе, вместо сапог — ботинки и обмотки. Шинель не по росту, на голове пилотка...

Прошло три недели, месяц, и все стало меняться. Мы увидели, что наши снаряды и пули тоже разят противника и что немецкие солдаты так же кричат, страдают, умирают. Наконец мы увидели, как немцы отступают. Были такие первые частные, небольшие эпизоды, когда они бежали. Это было открытие. От пленных мы узнали, что, оказывается, мы — ополченцы, в своих нелепых галифе, внушали страх. Стойкость ополченцев, их ярость остановила стремительное наступление на Ленинград. Немецким частям не удалось с ходу захватить город. Прежде всего потому, что подавленность от первых ошеломляющих ударов прошла. Мы перестали бояться.

Во время блокады военное мастерство сравнялось. Наши солдаты, голодные, плохо обеспеченные снарядами, удерживали позиции в течение всех девятисот дней против сытого, хорошо вооруженного врага уже в силу превосходства духа.

Я пользуюсь своим личным опытом, думается, что примерно тот же процесс изживания страха происходил повсеместно на других наших фронтах. Страх на войне присутствует всегда. Он сопровождает и бывалых солдат, но они знают, чего следует опасаться, как вести себя, знают, что страх силы отнимает.

Надо различать страх личный и страх коллективный. Последний приводил к панике. Таков был, например, страх окружения. Он возникал спонтанно. Треск немецких автоматов в тылу, крик «окружили!», и могло начаться бегство. Бежали в тыл, мчались не разбирая дороги, лишь бы выбраться из окружения. Невозможно было удержаться, и невозможно было удержать бегущих. Массовый страх парализует мысль. Во время боя, когда нервы так напряжены, одного крика, одного труса бывает достаточно, чтобы вызвать общую панику.

Страх окружения появился в первые месяцы войны. Впоследствии мы научились выходить из окружения, пробиваться, окружение переставало устрашать.

VIII

Страху противопоказан, как ни странно, смех. В страхе не смеются. А если смеются, то страх проходит, он не выносит смеха, смех убивает его, отвергает, сводит на нет, во всяком случае изгоняет, хоть на какое-то время. По этому поводу хочется привести одну историю, которую я слышал от замечательного писателя Михаила Зощенко.

Незадолго до его смерти мы в Доме писателя устроили его вечер. Зощенко был в опале, его не издавали, выступления его были запрещены, почему да как, об этом я расскажу позже. Вечер его мы устраивали тайком. Под видом его творческого отчета на секции прозы. Приглашали по ограниченному списку. В те дни в Ленинград приехал Виктор Некрасов, и я с трудом провел его на эту встречу. Зощенко радовался, все последнее время он находился в полной изоляции; кроме близких друзей, никто с ним не общался, он нигде не бывал, никуда его не приглашали — боялись.

Вечер наш получился трогательно праздничным. Зощенко рассказывал, над чем он работает. Он задумал цикл рассказов «Сто самых удивительных историй моей жизни». Несколько из них он нам пересказал. Он не читал. Рукописи у него не было. Видимо, он их еще не записал. Одна из этих историй имеет непосредственное отношение к нашей теме. Попробую ее передать по памяти, к сожалению, своими словами, а не тем чудесным языком, каким владел только Михаил Зощенко.

Случилось это на войне, на Ленинградском фронте. Группа наших разведчиков передвигалась по лесной дороге. Была глубокая осень. Листья шуршали под ногами, и звук этот

мешал прислушиваться. Они шли, держа на изготовку автоматы, шли уже долго и, возможно, расслабились. Дорога круто сворачивала, и на этом повороте они лицом к лицу столкнулись с немцами. С такой же небольшой разведгруппой. Растерялись те и другие. Без команды немцы скакнули в кювет по одну сторону дороги, наши — тоже в кювет, по другую сторону. А один немецкий солдатик запутался и скатился в кювет вместе с советскими солдатами. Он не сразу понял ошибку. Но когда увидел рядом с собой солдат в пилотках со звездочками, заметался, закричал от ужаса, выпрыгнул из кювета и одним гигантским прыжком, взметая палые листья, перемахнул через всю дорогу к своим. Ужас придал ему силы, вполне возможно, он совершил рекордный прыжок.

При виде этого наши солдаты засмеялись и немецкие тоже. Они сидели друг против друга в кюветах, выставив автоматы, и от души хохотали над этим бедным молоденьким солдатом.

После этого стрелять стало невозможно. Смех соединил всех общечеловеческим чувством. Немцы смущенно поползли по кювету в одну сторону, нашу — в другую. Разошлись, не обменявшись ни одним выстрелом.

История эта как нельзя лучше соответствует значению смеха в глазах Михаила Зощенко. Смех — как исцеление от страха. Смех — как избавление от ненависти.

IX

Перейдем к веселым кошмарам. Для начала к тем, которые собирают толпы зрителей, пользуются успехом у публики. Таковы, например, фильмы ужасов. Начало им положил всемирный успех фильма «Франкенштейн». Сделан он был по роману Мэри Шелли, тоже бестселлеру. А сама Мэри Шелли не случайно создала этот «ужастик» «Франкенштейн, или

Современный Прометей». В начале XIX века в Женеве образовался кружок литераторов — поклонников жанра романов ужаса. В кружок входили Джон Байрон, Перси Шелли и другие видные европейские писатели. Рассказы, повести, новеллы, где действуют мертвецы, упыри, вурдалаки, пользовались все большей популярностью. Выходит роман Б. Стокера «Граф Дракула». О мертвеце-вампире. Книга эта до сих пор пользуется успехом. По ней поставлено множество фильмов о неугомонных мертвецах, которым не лежит в могилах и они лезут в дела живых. С Дракулой ныне соперничает Фантомас. Зритель с удовольствием обмирает во тьме кинозала. Чем больше страхолюдства, тем слаще.

Пристрастие детей к страшным сказкам, страшным комиксам хорошо известно. Они любят пугать друг друга, существует детский фольклор, так называемые «страшилки», их сочиняют и сами дети, и взрослые, в последние годы их появилось сотни.

Маленький мальчик нашел пулемет —
Больше в деревне никто не живет.

Маленький мальчик нашел пистолет —
Больше милиции в городе нет.

Все остальные счастливые находки маленького мальчика, а их немало, имеют подобный же результат. Иногда он сам попадает впросак:

Маленький Петя на льдине катался.
Тихо к нему ледакол подобрался.
Долго смеялись на палубе дети:
Справа пол-Пети и слева пол-Пети.

Девочки тоже участвуют в событиях:

Дочка у мамы спросила конфетку.
Мама сказала — сунь пальцы в розетку.
Быстро обуглились детские кости.
Долго смеялись мама и гости.

В поле нейтронная бомба лежала.
Девочка тихо на кнопку нажала.
Некому выругать девочку эту —
Спит вечным сном голубая планета.

Дети обожают подобные «страшилки», «ужастики», им хочется перевести страх неосознанный в наглядные образы, заземлить его смехом, сразить его иронией, она лишает его ореола тайны и непобедимости. Над ним, оказывается, можно посмеяться. Заодно над всем тем, чем пугают родители, можно повеселиться и над запретами, которыми так тщательно обставляют детскую жизнь.

Детские страхи кажутся сладостными.

Один из первых страхов был страх потеряться в лесу... Белая куртка отца мелькает между сосен, еще минута — и я останусь один в лесной чаще. Позже пришел трепет перед бесконечностью Вселенной, перед ночным небом, полным мерцанием мириад звезд, и еще больший — перед бесконечностью Времени. Ощущение миллионов лет до моего появления на Земле и тем более того, что и без меня время будет тоже длиться, вселяет тоскливый ужас. Был все еще детский страх перед огромностью человечества, Земли, разных стран и народов, страх безбрежности моря, затерянности в этом мире. Он все время увеличивался в размерах. Переход от детства к юности — это расширение Вселенной и одновременно осознание своей малости. «Я» съеживается, оно уже неразличимо среди неисчислимых множеств. Все тонет в чувстве безнадёжности.

Страх приобрел свое искусство — кино, театр, литературу. Искусство как наслаждение страхом. Страх как специя искусства. Выработались приемы нагнетания страха. На экране, в кадре, появляются ноги, мы видим лишь брюки, туфли, звучат шаги или, наоборот, — бесшумно ступают, сопровождаемые «музыкой напряжения», выстрел, ноги удаляются. Зритель хочет, чтобы в фильме были сцены, от которых мурашки бегают

по спине. Потребность такого сопереживания издавна сопровождает искусство. Пушкин в своем вольном переводе драмы Дж. Вильсона «Чумной город» (у Пушкина «Пир во время чумы») писал:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

Кстати говоря, ученые в XVI–XVII веках считали веселье, разврат, пьянство средством против чумы. Боккаччо в «Декамероне» уверяет: «...Самым верным средством от этого ужасного недуга было, по их разумению, открытое злоупотребление вином и развлечениями...»

Д. Дефо в романе «Дневник чумы» пишет: «Ужас и страх довели большинство людей до совершения малодушных, безумных, развратных поступков, к которым их никто не принуждал».

Чума оказала влияние на европейское искусство. Она столкнула его с безумием, мракобесием. Картины Гойи, Гольбейна Младшего, Пуссена связаны с ужасами чумы.

Великий нидерландский художник Питер Брейгель Старший создал серию гравюр «Семь смертных грехов», населенную чудищами. Они окружают людей, ужасая невиданными формами. Из крыльев, щупалец, когтей, рогов, клешней, игл он создает образы пороков. Художник сращивает туловище жабы с хвостом скорпиона, наделяет зверя крыльями, железным панцирем. Видения на его гравюрах подобны страшным снам, они ирреальны, грозно-фантастичны, детали же подчеркнуто достоверны. Образы Апокалипсиса, равно как и химеры готических соборов, воплощаясь в живописных творениях, отвечали тяге зрителей к пугающему, ужасному. Недаром серия Брейгеля имела успех. Еще большую известность

приобрела его картина «Триумф смерти». Ни у кого до Брейгеля победная идея смерти не получила такой художественной наглядности.

Смерть у него торжествует повсюду, она — главное занятие человечества. Виселица, плаха, палач, вооруженные отряды скелетов загоняют людей в ловушки. Смерть равнодушна к сану, она разит красавицу, короля в горностаевой мантии; люди тонут, гибнут в поединках, горят, умирают от болезней, никто не в силах одолеть скелета на красном коне. Другой конь, белый, тянет повозку, груженную черепами. Кони Апокалипсиса — конь красный, конь белый. На полотне есть и те, кто пытается бороться с паническим страхом, с обреченностью.

Страх, воплощенный в живописные образы, уже отчасти преодолен художником. То же самое происходило в знаменитой серии «Капричос», созданной Гойей в 1799 году. Чудовищная испанская действительность отражена в его офортах со всеми страхами суеверий, фантазии. Адский шабаш творят призраки. Толпа в страхе склонилась перед пустой рясой монаха, напыленной на сухое дерево; из складок капюшона выглядывает жуткий призрак.

Брейгель, Босх, Гойя — Нидерланды, Испания, век XVI, XVII, XVIII — не переставали рождать великих художников Страха и ужасов жизни. Почему-то мало кто впоследствии отваживался на столь откровенный вызов Страху. Зато литература давала и дает немало замечательных имен поэтов и романистов-классиков этого жанра.

В искусстве, как и в жизни, страх — необходимая составляющая, без него гамма неполная. Музыка невозможна, если выпадает одна из нот. Достоинство жизни страх не понижает, если он сосуществует с долгом и любовью. В какой-то мере он придает жизни «неизъяснимы наслаждения». Чувство страха принимается как приправа, от которой возникает ощущение полноты бытия.

В древности происходило нечто похожее. Люди, например, вызывали духи умерших. В «Одиссее» Улисс вызывает духов подземного мира, слушает их прорицания. Некромантия — так называлось общение с духами мертвых — преследовалась и все равно продолжалась. Человек хочет знать, что там, «за ветхой занавеской тьмы» (Омар Хайям).

Своеобразным представлением служила публичная смертная казнь.

Казни в старину не просто лишали преступника жизни, они служили устрашению живых. Достигалось это продуманно-изощренной процедурой.

В 1707 году Карл XII приказывает военному совету судить советника Петра Великого ливонского дворянина Паткуля за измену. Его приговаривают к смерти. Казнят его колесованием. Пятнадцать раз по нему проехали колесом. После чего его четвертовали, то есть отсекали поочередно руки и ноги и лишь потом голову. Толпа на площади в польском городе Козенице жадно наблюдала это зрелище.

Петр Первый казнит одного за другим государственных чиновников за казнокрадство. Их сажают на кол, четвертуют, голову втыкают на шест, и там она торчит месяцами. И на колу посреди площади умерший в муках остается надолго гнить на глазах у горожан. Петр умеет расправиться и с теми, кто ускользнул от законной кары. Когда выяснилось, что Милославский был одним из организаторов первого стрелецкого бунта, Петр приказал выкопать его из могилы. Труп, вернее, останки погрузили в повозку, запряженную свиньями, и повезли через всю Москву к Лобному месту. Поставили гроб под эшафот. Палач рубил головы стрельцов, и кровь стекала на труп Милославского.

Подобные мистерии производили сильное впечатление на народ.

Петр умел их устраивать, но не следует думать, что он в этом был оригинален. Задолго до него в Европе римские

папы проделывали нечто подобное с покойными своими врагами. Так, папа Иоанн Тринадцатый в 965 году приказал вырыть из могилы тело герцога Рофреда, вывалить его в грязи и выбросить на городскую свалку.

Х

Я уже был членом Союза писателей, но впервые пришел на общее писательское собрание. Как-то оно называлось: на встречу чему-то или о подготовке к чему-то... Этого запомнить невозможно, хотя собрание в тот июньский жаркий день запечатлелось, казалось, в малейших деталях, как след в бетонной плите.

Доклад и прения и все прочее были увертюрой к тому, что предстояло, а предстояла проработка Зощенко за его заявление на встрече с английскими студентами. Все понимали, что именно из-за этого на собрание приехали из Москвы К. Симонов и А. Первенцев. До этого в газетах заклеямили поведение Зощенко перед иностранцами, разумеется буржуазными сынками, бранили, не стесняясь в выражениях. Шутка ли: перед иностранцами, перед идеологическим противником, позволил себе не согласиться с решением ЦК партии! Отлучали, угрожали, старались превзойти определения, которые употреблял о нем Жданов в своем докладе.

Итак, был июнь 1954 года. Год с небольшим назад умер Сталин, терминология оставалась прежней, монументы Вождя стояли незыблемо, в лагерях продолжали сидеть сотни тысяч отлученных от жизни. Все сказанное корифеем оставалось священным. Он покоился в Мавзолее рядом с Лениным в полной сохранности на веки веков. История только готовилась к прыжку. Что-то, конечно, сдвинулось, подобралось, воздух потеплел, где-то подспудно зажурчало, показались проталины. Неведомо как только что опубликовали эренбургскую «Оттепель», но сразу же на нее накинута стражи вечной мерзлоты.

Большой зал Союза писателей был переполнен. Набились приглашенные на экзекуцию — журналисты, газетчики, публика литературных предместий, предвкушающая, возбужденная. Я с трудом протиснулся в проход и так и простоял до конца у стенки.

Докладчик — В. Друзин — бубнил о том, как с каждым годом усиливается все больше и больше мощь советской литературы, увеличивается процент хороших произведений.

Зал в лад ему монотонно гудел, переговариваясь. Примолкли лишь, когда Друзин принялся раздавать нагоняи и заушины — сперва за «Оттепель» И. Эренбурга, это полагалось ритуально, затем шли местные нарушители — предупредил Веру Панову за то, что с романом «Времена года» она «пошла не туда», Ольге Берггольц пригрозил за стихи о любви; он поучал и раздавал колотушки, уверенный в своем праве на это. Как же — главный редактор журнала «Звезда», уже выпоротого, умытого, стоящего в строю примерных после знаменитого постановления 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Помню, как читал я это постановление на уличном газетном щите на Литейном. Стоял в намокшей от дождя танкистской куртке, еле разбирая печать на темном сыром листе. По солдатской привычке считал, что раз постановили, значит, нужно, зря не будут. Но уж больно яростно ругали, злобились не по размеру: «беспринципный, бессовестный хулиган» — это про Зощенко, и еще покрепче, а про Ахматову почти нецензурно... выражение, которое в самую последнюю минуту заменили на «блудница». Принял бы и это, если бы не Жданов. Еще со времен Ленинградского фронта все связанное со Ждановым вызывало недоверие. Тогда еще запало, что призывал он, требовал, упрекал, а сам ни разу за месяцы блокады на передовой не побывал, во втором эшелоне — и то его у нас в армии не видали.

Винили и Ольгу Берггольц, и Владимира Орлова, и Юрия Германа за то, что они раздували авторитет Зощенко и Ахматовой, пропагандировали их писания. Получалось, что

как раз занимались этим лучшие ленинградские писатели, наиболее талантливые, что Зощенко поддерживали и Евгений Шварц, и Михаил Слонимский, и Михаил Дудин...

Прошло семь лет, и грянула эта злосчастная встреча с английскими студентами. Теперь я переживал, болел за Михаила Михайловича: на кой он ввязывается, ему-то это ни к чему, и так хватило с лихвой, сколько мучили, мордовали, так нет, зачем-то опять вляпался в эту историю... Примерно так же досадовали многие из знакомых мне писателей. Подождал бы, поостерегся, 1954 год был годом ожидания. Ждали перемен, теперь уже благоприятных. Пришел первым секретарем ЦК Н. С. Хрущев. И вдруг эта новая кампания против Зощенко. Она всех насторожила, напугала. Неужто опять начинается, опять поднимут на борьбу... Кто-то паниковал — какого черта он вылез, не надо было провоцировать. Это только на руку сталинистам.

Мне припомнилось, как у нас на фронте, под Ленинградом в октябре 1941 года, мы дали из орудий несколько выстрелов по немцам и получили «втык» от начальства: что вы там тревожите противника, вон они какую пальбу в ответ подняли, а у нас снарядов нехватка. Сидите тихо, не провоцируйте.

Суть, как я понял из доклада Друзина, сводилась к тому, что месяц назад, в мае, на встрече с английскими студентами Ахматову и Зощенко спросили про их отношение к критике в докладе Жданова. На это Зощенко ответил, что с критикой в докладе он не согласен. Это ахнуло как взрыв, посыпалось, затрещало... Ответ его прозвучал во всей западной печати, что было, конечно, «на руку классовому врагу». Как сказал Друзин, поведение Зощенко вообще стало «классовой борьбой в открытой форме».

Правда, его больше классовой борьбы уязвило то, что иностранные студенты сфотографировали Зощенко, тогда как никого из других участников встречи не фотографировали.

— И никому другому не аплодировали! — уличающе провозгласил он.

«Не согласен» — это, конечно, и на нас произвело впечатление ошарашивающее — как так сказать, что не согласен с мнением секретаря ЦК!

Доклад Друзина если чем и запомнился мне, то исключительно тем, что на этом собрании произошло с Зощенко. И то запомнилось потому, что мне все было в новинку. Впоследствии, кого я ни спрашивал, никто не помнил тот доклад, да и самого Друзина уже не помнят на том собрании, помнят одного Зощенко, его выступление. Я же запомнил Друзина еще и потому, что он казался мне фигурой загадочной. Большой, рыхлый, влажный, он производил впечатление значительного деятеля. Что он написал, чем прославился, какими трудами — никто не мог назвать. Я ничего не понимал — почему же в таком случае он командовал журналом «Звезда», почему поправлял, указывал, да еще с такой величавой уверенностью? Почему слушались его?

В нужных местах зал аплодировал, в нужных возмущался. Все двигалось слаженно. Верноподданные старались показать себя, либералы старались успокоить начальство, пусть видят, что организация «здоровая», «правильно расценивает». Будет хорошо, если собрание «даст отпор». Важно для начальства, которое присутствовало. В свою очередь, начальству это было важно для Москвы, для их начальства. Словно бы все старались для кого-то незримого. Еще недавно этот незримый имел имя, существовал, ныне было непонятно, кто он, но ритуал неукоснительно соблюдался.

После Друзина выступали малоизвестные мне писатели и осуждали Зощенко. Говорили про него: «пособник наших врагов», «подобно буржуазным писакам», «холуйское поведение на потребу...», «потерял достоинство советского человека». Я знал, что Зощенко сидит в зале. Где-то в первых рядах.

Я не представлял, как можно такое в глаза, прилюдно говорить человеку. Если б еще в запале, а то произносили это спокойно, по бумажке, с какой-то холодной жестокостью.

Поднялось несколько непредусмотренных рук. Вел собрание первый секретарь Ленинградской писательской организации В. А. Кочетов. Он посоветовался с К. Симоновым и предложил: поскольку вопрос ясен, осталось заслушать товарища М. Зощенко.

Зощенко поднялся на сцену. В зале произошло движение, устраивались поудобнее, подались вперед, приготовились.

Я впервые видел Зощенко. Небольшого роста, в темном костюме, коричневатой рубашечке с черным галстуком, очень аккуратный, «справный», как определял наш старшина, напряженно-изготовленный. Узкое его смугловатое лицо привлекало какой-то старомодной мужской красотой. Деликатность и твердость, скорбность и замкнутость соединялись в его облике. Не знаю, каким он был раньше, до всех этих событий, до войны и еще раньше, в годы «Серапионовых братьев», была ли в нем всегда эта холодноватая настороженность.

Рядом с Симоновым, с тяжелым рыхлым Друзиным, грузным усатым Саяновым, со всеми, кто сидел в президиуме, он выглядел хрупким и слабым. Трибуна закрыла его тщедушную фигурку. Он вынул листки, разложил их, взялся за край трибуны. За ним следили в полном молчании, в котором больше было вражды, чем сочувствия. Аудитория была достаточно подготовлена, настрой был задан.

Зощенко оглядел лица знакомых ему годами, десятилетиями людей, жадно уставившихся на него.

— Очень трудно говорить в моем положении. — Голос его оказался тонким, ломким.

Стало ясно — что бы он ни сказал, все будет не так: «неискреннее покаяние», «вынужден признать», «разоблаченный в двурушничестве» — обязательно как-то его сформулируют.

— ...Я не умею формально говорить. И на что вам мое формальное признание в ошибках?

А именно это требовалось от него. Ничего больше. Для этого и приехали «сам Симонов» и Первенцев. Пусть формально, но дело надо было закрыть. Пусть сочтут его признание недостаточным, неважно, меры приняты, можно доложить.

— ...Я буду говорить так, как я думаю, только тогда можно полностью понять, что собой представляет человек.

То, что он волновался, было правильно, это могло понравиться собранию, но откровенность, искренность — это настораживало, это могло завести слишком далеко. Говорить то, что думаешь, — этого никогда не требовалось, надо говорить то, что положено.

— Я начну с последних событий. В газете было сказано о том, что я скрыл мое истинное отношение к постановлению Центрального Комитета и не сделал никаких выводов из указаний партии. Я не скрывал моего отношения. Я написал в тысяча девятьсот сорок шестом году товарищу Сталину, что не могу согласиться с критикой всех моих работ, не все они таковы.

...Теперь он читал ровно, спокойно, без всякого выражения, бесцветным голосом. Волосы его были расчесаны на безукоризненный пробор. Чинность его и холодок можно было принять за высокомерие.

— В моем заявлении с просьбой восстановить меня в Союзе я написал, что во многом ошибался, делал оплошности, но я не согласен с тем, что я не советский писатель и никогда им не был. Это было основное обвинение и в докладе — именно о том, что я не советский писатель. — И опять повторил четко: — Не могу согласиться!

— Зачем подчеркивать несогласие? — прошептал кто-то рядом. — Не стоит.

— Все прошлые семь лет у меня было подавленное состояние, и я главным образом занимался переводами с финского. Было выпущено несколько книг, помимо того, я закончил

книгу, начатую еще до постановления, — о ленинградских партизанах...

Он перечислил рассказы, фельетоны и то, как в последний год начал работать для журналов. Происходил процесс возвращения, медленно, с трудом он оправлялся от того удара.

— Мне казалось, что я крепче и здоровее, а после семи лет, когда несколько ослабели мои нервные вожжи, я проболев несколько месяцев и ощущал чрезвычайную трудность физическую.

Кочетов усмехнулся, переглянулся с Первенцевым, это запомнилось потому, что потом имело продолжение.

— ...Все же некоторые рассказы и фельетоны мои были неплохи. По одному моему рассказу, как вам известно, был изменен режим продажи водки. Стало быть, не так уж оторваны были мои вещи от жизни, стало быть, я учитывал и принимал все указания партии, какой должна быть литература...

Во всех кабинетах еще висели портреты Сталина, еще носили его имя заводы, колхозы, улицы и проспекты, на первомайской демонстрации несли изображения Ленина и Сталина. Никому и в голову не приходило, что можно как-то покуситься не то что на постановление, даже на доклад Жданова, ибо он был Соратником, ибо доклад был одобрен, положен в основу...

— Да, было немало вещей у меня в прошлом и аполитичных, и безыдейных — это так. Отчасти это была дань давнему времени — двадцатым годам. Я ведь начал работать в двадцать первом году, мой рассказ «Аристократка» был напечатан в двадцать третьем, тридцать с лишком лет назад. Грех некоторой аполитичности, который, несомненно, в какой-то степени присутствовал, — это существенно. Но сейчас, повторяю, этого нет... Сказано было еще, что я скрыл свое отношение к постановлению. В злополучный вечер с англичанами, о котором идет речь, даже слова не было сказано о постановлении. Речь шла только о докладе Жданова. Именно

этот вопрос задали английские студенты: «Ваше личное отношение к докладу Жданова?» На любой вопрос я готовился ответить шуткой. Но в докладе, где было сказано, что я подонок, хулиган, где было сказано, что я не советский писатель, что с двадцатых годов я глумился над советскими людьми, — я не мог ответить шуткой на этот вопрос. Я ответил серьезно, так, как думаю.

Голос его окреп, поднялся. Последние слова прозвучали пугающе. Тишина стала звенящей, словно всем перехватило дыхание.

Зощенко взял листок и отдельно прочитал свой ответ английским студентам, ответ, точность которого, как он сказал, можно сверить по стенограмме.

— Я не согласился с докладом потому, что не согласился с критикой моих работ, сделанных в двадцатых—тридцатых годах. Я писал не о советском обществе, которое тогда только что возникало, я писал о мещанах, порожденных прошлой жизнью. Я сатирически изображал не советских людей, а мещанство, которое веками создавалось всем укладом прошлой жизни...

Всенародно он утверждал свое явное несогласие! Прямотаки вызов. Первое открытое несогласие с высшими властями, которое я услышал в своей жизни.

— ...Закончил мой ответ так: сатира — сложное дело. Мне казалось, что я писал правильно, но, может быть, я ошибался. Но так или иначе, все мое литературное дарование я полностью отдаю советскому государству, советскому народу. Я понимаю, я должен был более четко политически выразиться. Я должен был бы, вероятно, отделить доклад в целом, идейное его содержание и отношение критики к моей работе. Я не видел в моем ответе непатриотизма, ничего предосудительного... А что я мог ответить? Как я мог сказать? Анна Андреевна Ахматова сказала: «Я согласна». У нее были другие обвинения. Вероятно, на ее месте я бы так же ответил. А что я мог

ответить, когда меня спрашивают, согласен ли я с тем, что я не советский писатель, что я... подонок?

Меня порадовало, с какой тактичностью он оправдал Анну Андреевну, ее все время противопоставляли ему: вот-де она вела себя достойно, как патриотка, она не заигрывала с этими прохвостами... Постановление связало их, двух замечательных писателей, лучших из тех, что были тогда в Ленинграде. Их постоянно упоминали вместе. На этом повороте пути их разошлись. Зощенко остался один, на него одного наставлены все прицелы, все стволы.

— Что я мог ответить?

Вопрос этот вдруг неотвратимо стал передо мной. И перед другими. Перед каждым. Что можно было ответить? Что?.. Соглашаться, какой может быть разговор, ведь это же не чье-то мнение, а слова Жданова, секретаря ЦК, не о себе надо думать, не о своей чести, а о том, чтобы не потакать классовому врагу, не осрамить нас перед иностранцами. У других вопрос Зощенко вызвал мучительный разлад. Только в этот момент я понял, в каком невыносимом положении очутился Зощенко, через какую черту он не мог в тот миг переступить. И сейчас не может, не в силах.

Пытался. Потому что страшно было остаться одному за той чертой, против всех, снова подвергнуться осуждению, снова пройти адовы круги... Сил-то уже не было. Он спрашивал себя, нас — может, этот вопрос был провокационный, продуманная акция?

Он пробовал вовлечь нас в поиски выхода.

— ...И только дома я догадался, что должен был ответить: передо мною юная аудитория, вам двадцать лет, доклад был семь лет назад, что вы можете помнить? Кто из старших вам подсказал задать этот нетактичный вопрос? Вот как я должен был ответить!

— Нет, это не ответ! — тотчас, торжествуя, настигая его, крикнул кто-то и даже привстал, чтобы его заметили из президиума.

Я видел лишь его бритый розово-жирный затылок. Загудели вразброд, громче всех те, кто решил, что он хочет увильнуть и они поймали его на этом. Им даже не нужно было его покаяние, их охватил азарт погони: поймать, ухватить на том, что хочет вывернуться, уличить, разоблачить! Охотничий, беспощадный дух толпы, настигающей, окружающей, торжествовал в зале.

Он словно ничего этого не понимал, продолжал что-то там твердить на своем языке доверия. Он надеялся, что ему удастся перешагнуть через все условности этой гражданской казни. Теперь, когда не стало ни Жданова, ни Сталина, ему казалось, что среди своих товарищей, коллег можно добиться понимания, надо лишь найти слова, надо рассказать все как есть, открыть свои сокровенные чувства, не может быть, чтобы его не поняли.

— ...Только через несколько дней мне пришел в голову правильный ответ: я должен был с политической точностью отделить идейное содержание доклада и резкую критику его обо мне. Но я не нашелся. Быть может, потому, что не умею политически мыслить... Я не малограмотен по политической части. Нет, я много читал, я читал почти все, что написано товарищем Лениным, я читал двенадцать томов товарища Сталина...

Перечитывая стенограмму, я вспомнил свое чувство досады за него. Не надо было оправдываться, не помогут эти двенадцать томов, не действуют, он только усугублял, может, надо было говорить с этим залом по-другому, на языке этих крикунов, нахрапистых, наседающих на него.

— ...Существует какой-то дефект моего писательского мозга: я не умею мыслить политическими формулами! Они не приходят мне сразу в голову.

Какой же это дефект, когда это особенность, отличие настоящего художника, а то, что мы умеем, научены мыслить политическими формулами, то, что нас натренировали в этом

бесконечные собрания, встречи, интервью, семинары, газеты, радио, — достоинство ли это? Слишком часто перед лицом бумаги я ощущаю это как свой недуг, как тяжелый груз времен.

— ...Да, это мой промах в том, что я не сразу разобрался в этом вопросе, я ответил не совсем точно, и я готов понести наказание. Я считаю, что в этом я повинен.

— Только в этом? — ехидно выпалил Друц.

Я знал, что это Друц, потому что перед этим он выступал против Веры Федоровны Пановой, поддерживал статью В. Кочетова. Что он за писатель, я не знал, ни про одну книгу не слышал, но выступал он ядовито, яростно, а вслед за ним Неручев, такой же неведомый мне, но активный, ловкий выступатель. На трибуне большей частью появлялись известные, опытные, громкоголосые ораторы, правда, как писатели они были менее известны, но это их не беспокоило. Они были равноправные члены Союза — что Панова, что Друц и Неручев.

— ...Я знаю, что означает статья, которая порочит меня такими словами, как «скрывал свои истинные убеждения». Я знаю о затрудненных отношениях с издательствами, надменные взгляды редакторов.

Здесь Зощенко оторвался от бумаги, поднял голову, посмотрел на ряды, и все увидели его. Это был тот самый человек, который много лет смешил всю страну, чьи истории, образы стали нарицательными, чьи изречения вошли в обиход. В самые тяжелые времена, в самые неприглядные годы он давал возможность людям передохнуть, повеселиться. На всех эстрадах читали Зощенко, хохотали до упаду. Смеясь над чужой глупостью, учились смеяться над собой. Они видели себя со стороны не так чтобы обидно, потому что автор в общем-то сочувствовал им и печалился о них, они, то есть мы, опознавали пошлость, которую Зощенко, как никто другой, умел обозначить. Маленький человек на трибуне смотрел на нас с такой скорбью, так измученно. Господи, неужели это

он годами был источником смеха и все здесь сидящие, и тот же Друзин и Друз, — все они обязаны ему многими часами радости?

Он обвел глазами всех этих людей, голос его напрягся:

— Но все равно! В моей сложной жизни, как это для меня ни тяжело, но даже и в этом случае я не могу согласиться с тем, что я был назван так, как это было сказано в докладе.

Он словно почувствовал облегчение, и зал тоже почувствовал облегчение — и те, кто был против, и те, кто не знал, как вести себя, и те, кто втайне страдал за него.

— Вот уже восемь лет мне трудно, почти невыносимо жить с этими наименованиями, которые повисли на мне, которые так унизили мое достоинство...

И дальше он по пунктам зачитал опровержения на каждое из обвинений, предъявленных ему в докладе Жданова. Как я понял, впервые у него была возможность публично ответить. Ведь все, что происходило со времен постановления 1946 года, было безответно, на него возводили поклепы, небылицы и не давали возможности оправдаться, его обзывали и не позволяли возразить. В глазах же людей выходило, что он отмалчивался.

— Я никогда не втирался в редакции, как мне предъявили в докладе. Я не желал лезть в руководство. Было наоборот. Кто смеет мне сказать, что это было не так? Я бежал как черт от лаdana от всяких должностей, я умолял, чтобы меня не включали в редколлегию «Звезды».

Про рассказ «Приключения обезьяны», из-за которого якобы разгорелся сыр-бор, он объяснил то, что я, например, и не представлял, во всяком случае, для нас, молодых, это было совершенное открытие.

— ...Этот рассказ был напечатан еще в тысяча девятьсот сорок пятом году в журнале «Мурзилка», для дошкольников. Он был напечатан до неурожайного года, когда даже не могла возникнуть мысль о пасквиле. И без моего ведома был перепечатан этот рассказ. Я узнал об этом много позже. Почти

фатально сложилось. Да, конечно, я никогда не вынул бы этот рассказ из серии других рассказов и не дал бы в толстый журнал. Да, в толстом журнале он мог бы выглядеть странно. У меня самого мелькнула бы мысль: что автор хотел этим сказать? Это было действительно для дошкольников написано, и никакого подтекста — я клянусь! — не вложил в него.

По поводу того, что он окопался в войну в Алма-Ате, что он трус, что не захотел помочь Советскому государству в войне:

— Я дважды воевал на фронте, я имел пять боевых орденов в войне с немцами и был добровольцем в Красной Армии. Как я мог признаться в том, что я трус?

Михаил Леонидович Слонимский рассказывал мне, как храбро М. М. Зощенко командовал взводом в Первую мировую войну, был награжден двумя Георгиями, был отравлен газами, дослужился до штабс-капитана, был ранен, командовал батальоном, получил еще два ордена, а после революции командовал пулеметной командой в Красной Армии.

— Кто здесь может сказать, что я из Ленинграда бежал? Товарищи знают: я работал в радиокомитете, в газете, я начинал вместе с Евгением Шварцем антифашистское обозрение «Под липами Берлина», это обозрение шло во время осады. Они находятся сейчас здесь, в Ленинграде, они живы: Акимов, который ставил спектакли, Шварц, с которым мы писали. Это происходило в августе-сентябре тысяча девятьсот сорок первого года. Весь город был оклеен тогда афишами и карикатурами на Гитлера... Я не хотел уезжать из Ленинграда, но мне предложили...

Насчет упреков в отъезде из Ленинграда. Много позже, в конце семидесятых годов, когда мы с Адамовичем работали над «Блокадной книгой», нам с документами и цифрами доказали, как важно было вовремя, еще до сентября 1941 года, провести массовую эвакуацию ленинградцев. Не сделали этого. Поэтому так много горожан осталось в блокаду в Ленин-

граде, поэтому так много погибло. Не упрекать надо было, а хвалить тех, кто уехал вовремя. Между тем создали обстановку, при которой уезжать из города считалось позорным. Пагубная эта ложнопатриотическая идея бытовала еще долго после войны. Миллион ленинградцев, которые погибли от голода и обстрела, словно не могли никого переубедить. Вот и для обвинения Зощенко Жданов использовал тот же прием — бежал из Ленинграда! Использовал, пытаясь таким косвенным путем снова как бы оправдать, очевидно, уже собственную вину в том, что эвакуацию стали по-настоящему организовывать лишь по настоянию ГКО, когда кольцо блокады замкнулось, лишь в конце января 1942 года, когда голодная смерть косила всюду.

— ...Сказано было, что я не патриот своей страны. Не могу согласиться с этим. Не могу! Вы здесь, мои товарищи, на ваших глазах прошла моя писательская жизнь. Вы же все знаете меня, знаете много лет, знаете, как я жил, как работал, что вы хотите от меня? Чтобы я признался, что я трус? Вы этого требуете? По-вашему, я должен признаться в том, что я мещанин и пошляк, что у меня низкая душонка? Что я бесовестный хулиган?

Что-то изменилось в состоянии зала. Трибуна поднялась, нависла над рядами. Оказалось вдруг, что Зощенко не обороняется, не просит снисхождения, он наступал. Один против всей организации с ее секретарями правления, секциями, главными редакторами. Против кочетовых и друзиных, которые были не сами по себе, а представляли власть, необозримые силы аппарата, прессы, радио... Его пригласили на трибуну, чтобы публично склонил голову и покался. Никому в голову не приходило, что он осмелится восстать. Тем более ныне, низверженный, растоптанный, кажется, уж чего более перетерпевший, доведенный до полного изничтожения. Сил-то у него никаких не должно было оставаться, ни сил, ни духа.

— Этого требуете вы? Вы! — Крик его повис и сорвался.

Взгляд толкнулся в меня, в каждого. Это была тяжкая минута. Не знаю, сколько она длилась. Никто не шелохнулся, никто не встал, не крикнул: «Нет, мы не требуем этого!» Жалкое это молчание сгущалось чувством позора. И общего позора, и личного. Головы никто не смел опустить. Сидели замерев. Зощенко ждал с какой-то отчаянной, безумной надеждой, потом произнес прыгающим голосом:

— Я могу сказать — моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын... Я думал, что это забудется. Это не забылось. И через несколько лет мне задают тот же вопрос. Не только враги. И читатели. Значит, это так и будет, не забылось.

Он медленно сложил листки, сунул в карман. Обвел еще раз одним долгим прощальным взглядом этот зал с богатой лепниной, где резвились пухлые гипсовые купидоны, где радужно сияла огромная хрустальная люстра.

— У меня нет ничего в дальнейшем, — ровно и холодно произнес он. — Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения, — он посмотрел на президиум, — ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею.

Он вышел из деревянной пасти трибуны, он стал словно бы еще меньше ростом, бледно-желтое лицо его было наглухо замкнутым, но сквозь захлопнутые ставни пробивался непонятный свет.

Спускался, как бы уходил от нас в небытие. Не раздавленный, отнюдь, он сказал то, что хотел. Отныне это будет существовать.

Оказалось, все эти годы проработок, анафем, отлучения ничего с ним сделать не смогли, и, как только ему предоставили слово, он отстоял свою честь. Впервые кто-то осмелился

выступить против одного из Верных Учеников Продолжателя. Еще не было XX съезда. И слово каждого из них не подлежало сомнению.

...Это была победа. Ясно было, что она дорого обойдется ему. Но цена его не занимала. Его уже ничто не останавливало, впечатление было такое, словно он отплывал куда-то — невесомый, легкий, все привязи, скрепы рухнули, и нечем было остановить его. Те, кто только что угрожал ему изгнанием, смотрели ему вслед с неясным еще предчувствием великой потери...

Раздались аплодисменты. Хлопали два человека в разных концах зала. Аплодисменты были, в сущности, неуместны, можно сказать, нелепы, но все поняли, что в них была поддержка, сочувствие, какой-то протест.

Одного из аплодирующих я увидел, это был писатель Меттер.

Поднялся Кочетов, всмотрелся в зал — кто это позволяет себе, — предупреждающе покачал головой. Потом он перешептался с Симоновым. Надо было сбить впечатление от речи Зощенко. Друзин сидел, изображая как бы горделивую усмешку. Как будто его позабавил выпад Зощенко, даже польстил ему, как будто получалось, что он, В. П. Друзин, был главным противником, главным обличителем... На самом деле для Зощенко он был символом посредственного, если не сказать бездарного, руководителя.

Сколько этих друзиных, напыщенных, вельможных, неведомыми путями пробиралось на редакторские, издательские должности: руководили, указывали, проводили линию, учили нас. Не вспомнить уже фамилий их, когда-то шумных и грозных.

Впрочем, Друзин, этот ортодоксальный, унылый гонитель всякой «крамолы», именно всякой, какую укажут, какую нынче следует, такую и будет выводить, так вот, этот Друзин имел свой секрет. Приоткрылся этот секрет мне случайно.

Год спустя после того собрания случилось мне ехать в Карелию на съезд писателей. Достался мне билет в одном купе с В. М. Саяновым и В. П. Друзиным. Саянов, человек компанейский, прихватил с собою выпивку, раздобыли кой-какую закуску, и после нескольких чоков Саянов стал читать стихи. Сперва свои, потом чужие. Память у Саянова была редкостная. Читал со вкусом, но самое удивительное было, как он завел на стихи Друзина, и тот тоже принялся читать, да как, куда подевалась его гнусавость, читал звучно, артистично. Завязался турнир, кто кого: они читали Михаила Кузмина, Бенедикта Лившица, Вячеслава Иванова, Цветаеву, Гиппиус, Надсона, Белого — поэтов отвергнутых, запретных в ту пору, вовсе мне неведомых. Читали упоенно, без устали, я забрался на полку и заснул, сморенный... А днем, в Петрозаводске, на писательском съезде, этот же В. П. Друзин выступал и уныло крошил молодого поэта Марата Т. за формализм, модернизм и прочие грехи.

Фразу «не надо мне вашего Друзина» запомнили крепко. Спустя десятилетия я пытался опрашивать писателей, свидетелей того давнего летнего собрания. Как водится, никто ничего не записал. Воспоминания были смутны, обрывочны. Восстановить по ним текст выступления М. М. Зощенко было невозможно. Но что любопытно — все повторяли мне: «Не надо мне вашего Друзина!» Запомнили дословно эту заключительную фразу.

Первым взял слово Кочетов. Он тоже старался усмехаться.

— Мы не будем преувеличивать значения того выступления, которое вы выслушали от товарища Зощенко. Не будем преувеличивать всей этой истории, такие истории происходят на паперти церквей. Это было кликушеством, и меня удивляет, кто аплодировал ему, что за люди.

И «паперть», и «кликушество» было грубо, но все равно не действовало, люди медленно оправлялись от пережитого, не слушая его, завздыхали, задвигались, зашептались.

— Это была изворотливая речь... — настаивал Кочетов. — Почти весь Союз писателей возмущался после того, как произошло высказывание Зощенко перед студентами, большинство увидело здесь страшный антипатриотический поступок!

Он говорил убежденно. Он не понимал, почему зал не принимает его слов. Только что «Правда» опубликовала его разгромную статью о романе Веры Пановой «Времена года», его должны были бояться, тон его обрел металлическую звонкость, он был щитом и одновременно мечом разящим. Его действительно боялись, но с этого и началось его расхождение с писательской общественностью, которое кончилось тем, что его провалили на перевыборах правления. Он был уверен, что на него ополчились за его идейную непримиримость, за то, что он борется с «гнилой интеллигенцией». Впрочем, он особо не переживал, мнение массы его мало интересовало, в глазах же начальства он пребывал жертвой, пострадал, отстаивая основы.

Его убежденность меня всегда озадачивала. Приспособленцем, во всяком случае, считать его нельзя. И то, что он сказал дальше, было тоже его искреннее убеждение. Почему вы все придаете такое значение выступлению Зощенко и самому Зощенко? Кто такой Зощенко, чего мы носимся с ним?.. — таков был смысл его слов. Но они соскальзывали, никого не задевая, даже не возмущая, люди еще находились под сильным впечатлением речи Зощенко и другого волнения не воспринимали. И так и этак пытался он пробить безучастность зала, не мог и тогда рубанул, ожесточаясь:

— Зощенко — это единица, это явление мимолетное!

Ну, был такой, сочинял рассказы на потеху нэповским обывателям, стоит ли о нем жалеть. Что, у нас мало идущих в ногу? Это только враги раздувают из него фигуру.

Но и это не подействовало. Встрепенулись только, когда объявили Константина Симонова. Столичному представителю полагалось выступать в конце, заключать, кого надо подправить, все привести в соответствие с установками, известными лично ему. Выступления Симонова ждали, приехал

не просто один из секретарей Союза, а К. М. Симонов, который мог совершать независимые действия, похерить то, что тут наговорили дружины и все остальные, и мнения местных инстанций могли разбиться о его несогласие. На его пиджаке горели ряды орденских планок, на другой стороне лауреатские значки. Тогда было принято носить их. Любимец маршалов и генералов, наш брат-фронтовик. Я смотрел на него с надеждой. С Кочетовым все было ясно, но Симонов-то был настоящий писатель, любимый поэт нашей окопной военной жизни. Он был красив, молодеват, кавказски чернели его маленькие усики. Совсем иная судьба, чем у Зощенко, досталась ему, но объединяла их талантливость; я тогда свято верил в братство талантливых людей, их так мало, так им трудно в одиночку, как же им не защищать друг друга.

Держался он мягко, просто, пожурил снисходительно — что же вы тут, бедолаги-ленинградцы, опять натворили, хочешь не хочешь — приходится порядок наводить.

— ...Советский писатель, принятый заново в Союз писателей, говоривший о том, что понял ошибки, — и нате вам, апеллирует к буржуазным щенкам. Срывает у них аплодисменты.

Я понимал, это всего лишь вступление, так сказать, обязательная передовица, никуда от нее не уйдешь, но дальше-то, дальше он выйдет на справедливость, которая наконец прояснилась.

— Незачем, конечно, делать из этого историю, — как бы поддержал он Кочетова и тут же поднял палец.

И поморщился.

Затем строго постучал по трибуне, предупреждая о непреходящем значении постановления насчет «Звезды» и «Ленинграда», оно действует, никаких перемен не будет и дискуссий на эту тему тоже. Что касается вопроса, который здесь поставил товарищ Зощенко, то почему ж на него не ответить, зачем же обходить острый вопрос. Надо работой снимать то,

что ты литературный подонок, только работой можно избавиться...

— Мы же недавно напечатали в «Новом мире» его партизанские рассказы, поверили товарищу Зощенко и напечатали. Что же изображать из себя жертву советской власти? Как вам не стыдно.

Немецкий поэт Стефан Херmlin впоследствии рассказал мне:

— То было еще при Сталине, кажется, в последний год его жизни, у нас с Симоновым зашла речь о Зощенко, и Симонов твердо сказал мне: «Пока я редактор „Нового мира“, я буду печатать Зощенко, я не дам его в обиду». Помню, как меня поразила храбрость его высказывания.

У Симонова это бывало: держался, держался и в самый последний момент скисал, не выдерживал давления, а давление на него, конечно, было огромное.

Первую любовь не забываешь, первое разочарование тоже. Не раз потом встречаясь с Симоновым, я убеждался, что благородного, порядочного в нем было куда больше, чем слабостей. Но долго еще присутствовало при нашем общении свернутое калачиком, упрятанное вглубь воспоминание о том собрании. Спросить его напрямую не хватало духу. Да и что он мог ответить? Легко судить тем, кто сидел в сторонке, ни за что не отвечал. Домашние чистюли, которые сами ничего не отстояли, не участвовали, не избирались, не выступали... В те годы деятельность мешала блюсти душевную гигиену.

Однажды при мне к Симонову обратились студенты Ленинградского пединститута с просьбой выступить у них. Он отказался. Как-то излишне сердито отказался. Они удивились — в чем дело, почему? Он пояснил, что это к ним не относится. Вообще не хочет выступать. «Врать не хочу, — запинаясь, сказал он, — а говорить, что думаю, не могу. Вот так». Признание это в какой-то мере приоткрыло тяжкий труд его совести, и что-то я понял, далеко не все, но понял хотя бы, почему прощаю ему так много.

Мне казалось, что это только я, новобранец, так болезненно воспринял это собрание, так глубоко засело оно у меня в памяти. Немало ведь смертельных проработок происходило и в прежние годы в этом же зале. Изничтожали формалистов, космополитов, сторонников Марра, Веселовского, еще каких-то деятелей, отлучали, поносили за преклонение, за связь с «Ленинградским делом»... Однако то собрание с Зощенко потрясло и бывалых, все выдавших ленинградских писателей.

На сцене стоял большой портрет М. М. Зощенко, под портретом корзины цветов. Я открывал торжественное заседание, посвященное его юбилею, и речь у меня не получалась, мешало воспоминание. На вечере выступали Валентин Катаев, Сергей Антонов, Леонид Рахманов, рассказывали о давних молодых проделках «Серапионовых братьев», о вещах веселых, трогательных. Это был тот же зал ленинградского Дома писателя. Наверху, под потолком, резвились гипсовые амуры, такие же пухлые, кудрявые, нестареющие. Зал был битком набит, стояли вдоль стен, толпились в дверях.

Никого из тех, кто проводил то собрание, не было уже в живых. Почему так бывает, думал я, что, когда приходит время, спросить не с кого?..

Из выступлений получалось, что те известные события доконали М. М. Зощенко и в последние годы он был сломлен, раздавлен. Я пытался показать, что это было не совсем так. Попробовал процитировать его выступление. И тут я обнаружил, что текст, который, казалось, навсегда врезался в память, исчез, неразличимо расплылся, осталось впечатление.

После юбилея я обратился в архив, в один, в другой. Стенограммы выступления Зощенко нигде не было. Числилась, но не было. Она была изъята. Вырвана из всех папок. Когда, кем — неизвестно. Очевидно, кому-то документ показался настолько возмутительным или опасным, что и в архивах не следовало его держать. Копии нигде обнаружить тоже не удалось. Сколько я ни справлялся у писателей — как водится,

никто не записал. Понимали, что произошло нечто исключительное, историческое, и не записали по российской нашей беспечности.

Однажды, сам не знаю почему, я рассказал знакомой стенографистке, что тщетно много лет разыскиваю такую-то стенограмму. Моя знакомая пожала плечами, вряд ли, не положено ведь оставлять себе копии, особенно в те годы это строго соблюдалось. На том кончился наш разговор. Месяца через два она позвонила мне, попросила приехать. Когда я приехал, ничего не объясняя, она протянула мне пачку машинописных листов. Это была та самая стенограмма выступления Михаила Михайловича. Откуда? Каким образом? От стенографистки, которая работала на том заседании. Удалось ее разыскать. Стенографистки хорошо знают друг друга.

К стенограмме была приложена записка: «Извините, что запись эта местами приблизительна, я тогда сильно волновалась, и слезы мешали». Подписи не было. И моя знакомая ничего больше рассказывать о ней не стала, да и я не стал допытываться, ибо понимал деликатность ее ситуации. Я пытался представить неизвестную мне женщину, которая тогда на сцене сбоку, за маленьким столиком, работала, не имея возможности отвлечься, посмотреть на Зощенко, на зал, вникнуть в происходящее. И однако, лучше многих из нас поняла, что Зощенко не мимолетное явление, что речь его не должна пропасть, сняла себе копию, сохраняла ее все эти годы. Не боялась сохранять. Все эти годы берегла, и дождалась.

XI

Писатель-философ Сенека, живя под властью Нерона, хорошо познал унижительный гнет страха. Не раз в своих письмах Луцилию он учит, как преодолевать страх. За его рассуждениями скрыт его личный опыт. Его близость к Нерону, он ведь был его воспитателем, привела Сенеку к гибели.

Человек, считал Сенека, должен найти себе состояние полной независимости от внешних обстоятельств. Его этика требует воли к добру. Совесть — бичует злые дела, но это не страх наказания.

Его волнует проблема смерти. То, что Сенека написал о смерти, не устарело за прошедшие две тысячи лет. Сама проблема ухода из жизни не изменилась, она все так же мучит человека. Может быть, до сих пор никто не сумел превзойти бодрящую прелесть наставлений, написанных Луцилию Сенекой.

Он признается, что слова крупнейшего римского историка Ауфидия Басса о смерти: «Смерти нечего бояться, потому что ее нельзя почувствовать, ибо благодаря ей перестают чувствовать», — эти слова мало что дали Сенеке. Дало же то, что Басс говорил о собственной смерти.

«Жизнь дана нам под условием смерти, — пишет Сенека, — и сама есть лишь путь к ней. Поэтому глупо ее бояться: ведь известно, мы заранее ждем и страшимся лишь неведомого. Неизбежность же смерти равна для всех и непобедима».

Роль воображения, предвосхищаемые страхи привлекали внимание Сенеки и раньше.

В «Письмах к Луцилию» он признается: «...Не столь многое мучит нас, сколь многое пугает, и воображение мое, Луцилий, доставляет нам больше страданий, чем действительность... Я учу тебя только не быть несчастным прежде времени; когда то, чего ты с тревогой ждешь сейчас же, может и вовсе не наступить, и уж наверняка не наступило. Многие мучит нас больше, чем нужно, многое — прежде, чем нужно, многое — вопреки тому, что мучиться им вовсе не нужно... Ты спросишь: откуда мне знать, напрасны мои тревоги или не напрасны? — Вот тебе верное мерило!.. Страдаем мы по большей части от подозрений».

«Молва пугает нас», — предупреждает Сенека.

«Мы бросаемся в бегство, словно те, кого выгнала из лагеря пыль, поднятая пробегающим стадом овец».

Вымышленное тревожит сильнее. То, что происходит, имеет, по словам Сенеки, «свою меру», и мера эта, как правило, меньше, чем то, чего боялась пугливая душа.

«Даже если нам предстоит страдание, что пользы бежать ему навстречу? Когда оно придет, ты сразу начнешь страдать, а покуда рассчитывай на лучшее. Что ты на этом выгадаешь? Время!» (Письмо XXX).

В самом деле, время ожидания — это кусок жизни, и, возможно, немалый кусок, и кто знает, может, самый лакомый. Пока мы мучаемся страхом, жизнь-то проходит... «Умерь страх надеждой», — советует Сенека. Его бытовая мораль оказывается наиболее практичной и человеческой: «...Взвесь надежды и страхи, и всякий раз, когда ясного ответа не будет, решай в свою пользу — верь в то, что считаешь для себя лучшим».

Чаще всего, однако, мы сдаемся слухам, угрозам и трепещем перед неизвестным, доводя себя до паники. Сенека требует не успокаивать себя утешением: «Может, этого и не случится!» Слишком слабо такое лекарство.

Он предлагает нечто посильнее: «Что с того, если случится? Посмотрим, кто победит!»

Он требует борьбы, не склонять голову перед роком.

Его наставления впору современному бытию.

Чего мы боимся? Бедности, болезни и насилия. Чаще всего внушает страх насилие в разных формах. Оно умеет показать себя: перед нами все время появляются примеры жизненных катастроф — лишение должности, звания, доносы, предательства, всеобщее осуждение, аресты, ссылки, казни. Вид низверженных побеждает смелых.

От бедности может спасти работа, бедность приходит исподволь. От болезни может спасти врач. Борьба с насилием труднее всего. Оно воплощено в государстве, когда им занимается власть, оно кажется несокрушимым.

Тайна смерти и чувства, связанные с нею, занимали мысли Льва Толстого на протяжении многих лет.

В повести «Смерть Ивана Ильича» Толстой, как никто, вжился в тайну смерти. Ужас, оказывается, не в уходе из жизни, а в том, что Иван Ильич вернулся к самому себе и открыл, что его жизнь была «не то». Трагедия его смерти в непоправимости его жизни.

Искусство писателя, как и ученого, состоит в том, чтобы увидеть привычное по-новому, не так, как видели все остальные. Стефан Цвейг увидел у Толстого особый нерв: страх перед смертью, животный, первобытный страх всего живого на земле пронзает Толстого. Опьяненный жизнью исполин, и физический и духовный, он сопротивляется, он кидается на борьбу, он уверяет себя и других, что может без страха думать о ней. Он мобилизует в помощь себе накопленную мудрость человечества, он повторяет того же Сенеку, царя Соломона, Шопенгауэра. «Пока смерти нет, ее нечего бояться, когда она наступила, ее уже нечего бояться». «Глупо умирать из страха перед смертью». «Смерть — это Закон, а не кара». «Кто научился умирать, тот разучился быть рабом». С помощью религии он пытается прикрыть черную бездну, от которой вянут и чахнут все надежды, все страсти. Бесполезно. Исчезновение. Ничто — неумолимо. Противник непобедим. Толстой отступает. Но для того, чтобы научиться жить со смертью. Он не может ее одолеть, но он может одолеть страх смерти.

Я позволю себе привести несколько отрывков из книги Цвейга о Толстом, написанной со страстью человека, которого мучает тот же неотвязный вопрос.

«Как испанские трапписты еженощно ложились спать в гроб, чтобы умертвить великий страх, Толстой внушает себе упорными ежедневными волевыми упражнениями самогипнотизирующее постоянное *memento mori*, он принуждает себя постоянно и со всей душевной силой думать о смерти, не содрогаясь перед мыслью о ней. Каждую запись в дневнике с этого времени начинает мистическими буквами „е. б. ж.“ (если буду жив), каждый месяц на протяжении многих лет он

заносит в дневник, напоминая себе: „Я приближаюсь к смерти“. Он привыкает смотреть ей в глаза. Привычка устраняет отчужденность, побеждает болезнь — и за тридцать лет пререканий со смертью из внешнего фактора она становится внутренним, из врага — чем-то вроде друга. Он приближает ее к себе, впитывает в себя, делает смерть частицей духовного бытия и вместе с тем былой страх — „равным нулю“; спокойно, даже охотно, убеленный сединами и мудрый — смотрит в глаза тому, что прежде было фантомом ужаса; „не нужно думать о ней, но нужно ее всегда видеть перед собой. Вся жизнь станет праздничной и воистину плодотворной и радостной“».

И далее, увлеченный своим открытием, Цвейг видит в Толстом самого проникновенного изобразителя смерти, лучшего из всех мастеров, ваявших когда-либо смерть.

«Страх, вечно предупреждающий действительность, поспешно изучающий все возможности, окрыленный воображением, питаемый всеми нервами, всегда производительнее, чем тупое глухое здоровье, — каков же этот ужасный, панический, десятки лет бодрствующий страх святой, horror и stupor, этого могущественного человека!.. Смерть Ивана Ильича, с его отвратительным воем „я не хочу, я не хочу“, жалкое умирание брата Левина, разнородные уходы из жизни в романах, все эти настороженные прислушивания над краем сознания принадлежат к крупнейшим психологическим достижениям Толстого; они были бы невозможны без этого катастрофического потрясения, без испытанного им ужаса глубочайших вскапываний, без этого нового настороженно-недоверчивого сверхземного страха... Только потому, что Толстой ярче, чем кто-либо, пережил смерть при жизни, он сумел показать ее нам с небывалой реальностью».

Замечательно описав единоборство Толстого со смертью, со страхом перед нею, сам Стефан Цвейг не обрел жизнестойкости, в 1942 году он покончил с собою. Отчаяние перед торжеством фашистской агрессии толкнуло его к уходу из жизни.

Человек кончает с собою не из-за страха перед смертью, а скорее из-за отвращения к жизни. Но это не есть преодоление, это все же поражение и малодушие. Страх перед смертью и страх перед жизнью имеют общие корни.

Цвейг был нерелигиозный человек, Толстой был человек глубоко верующий. И он находил защиту перед бессмысленностью жизни в христианстве.

У Толстого есть сочинение, названное им «Исповедь». Он рассказывает там о своих поисках цели и смысла жизни, о своих метаниях, сомнениях, как он приходил в отчаяние и как обрел наконец истину. Беспощадно искренний, Толстой, как никто другой, будоражит каждую взыскующую душу, каждого, кто, как и он, пытается понять, зачем он живет. Выводы его наивны, но эта наивность добра и любви. Ее нельзя обойти, если мы хотим всерьез разобраться в проблеме избавления от страхов нашего общества.

Заключая книгу «Исповедь», Толстой, в частности, пишет: «Христианин для того только и знает истину, чтобы свидетельствовать о ней перед теми, которые не знают ее. Свидетельствовать же он может не иначе как делом. Дело же его есть отречение от войны и делание добра людям без различия так называемых врагов и своих.

Если все члены семьи — христиане, то не найдется такого безумного человека, который лишил бы пропитания или убил бы тех людей, которые служат ему. Миклухо-Маклай поселился среди самых зверских, как говорили, диких, и его не только не убили, но полюбили его, покорились ему только потому, что он не боялся их, ничего не требовал от них и делал им добро».

Христианин не имеет права становиться ни на сторону нападающих, ни на сторону защищающих, ему ничего не страшно, кроме отступления от воли Божией.

Учение Толстого выглядит утопичным, но, может, утопия — это то, чего так не хватает современному рационалистическому миру.

XII

После войны бывшие солдаты, офицеры пришли на производство, в учреждения рядовыми. Начальственные должности были заняты. Обычная картина — победители не получают ничего. Определилось несправедливое отношение к бывшим военнопленным: чуть ли не изменники, предатели; все годы их держали под подозрением как людей неблагонадежных. То же было с миллионами тех, кто жил в зонах оккупации. Тяжелых инвалидов войны отправляли в колонии. За годы войны установился командный стиль руководства — хамский, категоричный. Стала невозможной критика, нельзя было высказать собственное мнение, личность была унижена. В этих условиях бывшие фронтовики могли бы, казалось, подать свой голос. Они-то страдали больше других. Хотя бы потому, что на фронте все же личная доблесть человека ценилась выше приспособленчества.

Фронтовики молчали.

Мои однополчане, храбрые вояки, кому на войне черт был не брат, не подавали голоса. Избегали выступать со своим мнением, оспорить какого-нибудь инструктора райкома, отмалчивались, покорно поднимали руку, голосуя вместе со всеми, «единодушно» одобряя очередную глупость, а то и несправедливость. И я вел себя так же. Ничем не лучше других. Внутренне возмущался, в крайнем случае в кругу друзей высказывался, и то осторожно, а так, чтобы открыто, — не смел. На фронте не трусил, здесь же, в мирных условиях, когда речь о жизни-смерти не шла, — боялся. Почему? — спрашивал я себя. Спрашивал и других. Что нам грозит? Ничего особенного, не расстреляют... Нет, логика не помогала. Что-то иррациональное было в нашем поведении. На фронте был долг, была ненависть, было ясное, всеобщее понимание мужества. Здесь же... А вот не смели переступить. Чего переступить — не знаю. Удивительно, как лихо еще недавно поднимались и шли в атаку те, кто так робко поднимался на трибуну и лепетал там что-то против своей совести.

Попробую привести один пример, достаточно разительный.

В 1957 году я уже был писателем и был приглашен на встречу с руководителями партии и правительства. При большом стечении народа Хрущев отчитывал писателей за идеологически вредные произведения. Ожесточенно критиковали, проще говоря, поносили сборник «Литературная Москва» и журнал «Новый мир». Там был напечатан роман В. Дудинцева «Не хлебом единым» и мой рассказ «Собственное мнение». Хрущев, который, я уверен, ничего этого не читал, обрушился на редакторов, в частности на главного тогда редактора журнала «Новый мир» Константина Симонова. Стихи Симонова мы на фронте знали наизусть. Не было в годы войны более популярного и любимого поэта, чем он. Как военный корреспондент он побывал на самых тяжелых участках фронтов, в самой гуще сражений. Красавец, подтянутый, наделенный талантом и прозаика, и поэта, и драматурга, и журналиста, он, естественно, стал кумиром нашего солдатского братства, да и послевоенной молодежи. Особенно же популярность его украсилась, когда «Новый мир» стал публиковать вещи критические.

На этом приеме, после разноса, устроенного Хрущевым, заставили выступить Симонова. «Призвали к ответу». Я с волнением ждал его выхода. Надо заметить, что мой рассказ он напечатал немедленно, расхвалил, поблагодарил.

Симонов вышел к столу, за которым сидели члены Политбюро Молотов, Косыгин, Каганович, Маленков, Суслов и прочие соратники Хрущева. Сам Никита Хрущев возглавлял стол и вел, уже подвыпивши, это судилище.

Начал Константин Симонов с того, что признал свою ошибку, осудил публикацию романа Дудинцева и моего рассказа, то есть как бы отрекся от нас, затем он проникновенно обратился к Хрущеву:

— Вы знаете, Никита Сергеевич, как я вел себя в годы войны, я не раз бывал на самом переднем крае, ничего не боялся, и, если надо будет, я сумею подтвердить свою предан-

ность партии и правительству. — И он с чувством приложил руку к сердцу.

Думаю, что все это было искренне, но мне стало стыдно. Надо отдать должное Хрущеву, он сказал:

— Неужели, товарищ Симонов, нам надо снова начинать войну, чтобы вы доказали свою верность?

Раздался смех, Симонов принужденно смеялся вместе со всеми.

Впоследствии Симонова терзало его трусливое поведение, его предательство. Сужу об этом по тому, какие он сделал шаги к примирению со мною. Я рассказываю об этом не в осуждение Симонова. Мы быстро помирились и никогда не возвращались к той злосчастной сцене. Мне было стыдно за него, но ведь и я не проявил себя геройски. Хотя, странное дело, этот стыд помог мне держаться, когда, правда немного позже, меня тоже вытащило начальство на трибуну в Ленинграде и заставило каяться за повесть «Наш комбат». Я отказался каяться. Мне помогла горькая память о поведении К. Симонова, о том, как каялся поэт-фронтовик Александр Я. Они оба были несомненно мужественные люди. Военные дневники Симонова, напечатанные в конце шестидесятых годов, показывают его благородную, достойную боевую жизнь русского офицера. А вот перед лицом Генерального секретаря, перед лицом всей озверелой компании идеологических жандармов не выдержал, дрогнул, отступил. Перед фашистами не отступил бы, а перед своими, отечественными монстрами сдал. Гражданское мужество, наверное, выше военного.

Прежде чем винить К. Симонова, надо понять, что там, наверху, на тех должностях, в которых он находился, ставки резко повышаются. Люди рискуют там куда большим, чем те рядовые, с которых спрос другой. И страху на вершине больше. У канатоходца отношения с опасностью не те, что у пешехода.

Мы не знаем случая, когда публично в те времена кто-либо восстал бы на Генсека. Не было такого. Никто не осмеливался. Если и было, то это скрыли. В том-то и подлость советского

времени, что героем сопротивления в условиях казарменного социализма стать было нельзя. Если бы допустили до микрофона, до газетной статьи, до печати — смельчаки нашлись бы. Перефразируя Б. Брехта — «Несчастливая страна, в которой невозможно стать героем». Знали бы люди, что голос их будет услышан, никакие страхи не остановили бы их, так и было, когда чуть появилась возможность для самиздата. Диссиденты семидесятых—восемидесятых годов заслуживают глубокого уважения, они первые преодолели прочный укорененный страх, отстоявшийся со сталинских времен.

Что это был за страх, трудно себе ныне представить. Не-что мистическое, страх, который больше страха смерти, страх, от которого цепенела мысль. Олицетворением такого страха был И. В. Сталин. Он внушал почитание, преклонение и ужас одновременно, как в демонологии Самаэль, злой дух, глава всех Сатанов.

Павел Нилин, замечательный русский писатель, рассказал мне характерную историю о своей встрече со Сталиным.

На секретариате ЦК обсуждался кинофильм «Большая жизнь», к которому предъявили политические претензии. Вызвали постановщиков и П. Нилина как автора сценария. Происходило это в 1946 году. Идет заседание. Нилин сидит за одним из столиков и по своей писательской привычке записывает происходящее, благо на столиках разложены карандаши и бумага. Сталин, посасывая трубку, прохаживается в мягких своих кавказских сапожках между столиками так называемого шахматного зала. Вдруг Нилин чувствует, что Сталин остановился за его спиной и всматривается, чего это он пишет. И тут Нилин вспоминает: их предупреждали, что ничего записывать не следует, но остановиться он не может. Не в состоянии. Сталин смотрит из-за его плеча, а Нилин строит все быстрее.

— Это было какое-то мерзостно-паническое состояние, — признавался он. — Никак не мог справиться с собою, рука уже выводит что-то неразборчивое, я не в силах ее остановить.

Павел Нилин участвовал еще мальчиком в Гражданской войне, был и на Отечественной. Это был храбрый, ироничный, всегда спокойный человек, а вот поди ж ты...

Ходила подобная история и про Г. М. Козинцева, известного кинорежиссера. В Москве показывали его новый фильм. Сталину и прочим соратникам. Кончился фильм. Сталин молчит, раскурил трубку, все ждут, что он скажет. Долгое молчание, потом Сталин спрашивает:

— Кто режиссер?

И тут Г. М. Козинцев падает в обморок.

Говорили, что Сталин собирался похвалить картину. Подобный страх Сталину нравился, Козинцев был обласкан. Я прекрасно понимаю состояние Г. М. Козинцева, факт этот унизителен — не для него, унизителен для Сталина, для кошмарной обстановки тех лет.

Страх, который внушал Сталин, образовался не сразу, понадобился жесточайший террор, начиная с двадцатых годов, надо было высылать людей в Соловки, на Колыму, в Магадан, надо было раскулачить лучших крестьян, сослать их в Сибирь. Нужны были расстрелы дворян, оппозиции, спецов, а затем и беспричинные расстрелы во всех республиках, городах, надо было уничтожить миллионы и миллионы советских людей — это на их трупах вырос Страх, а на его вершину взобрался вождь всех народов.

XIII

При тоталитарном режиме в атмосфере страха прожило несколько поколений. Родители соответственно воспитывали детей. Одно можно было говорить дома, другое следовало отвечать в школе. Не хотели учить своих детей врать, но и нельзя было позволить им повторять то, о чем толковали дома. Детей приучали к двойной жизни. Сами родители вели еще более сложную жизнь: одно лицо на работе, другое

дома, третье наедине с женой, наедине с кем-то из друзей, ибо и дома нельзя было позволить себе полную откровенность. Человек почти нигде не осмеливался быть самим собой. Чувства протеста, гнева вспыхивали и сгорали в душе, не ведомые никому. Сокровенное никогда не проявляло себя. Страх — даже не так за себя, как за семью, — вынуждал смиряться. Никак не отзываться на ложь и подлость режима, склонять голову, закрывать глаза. Голосовали за смертную казнь. Кричали «ура», аплодировали пустым, неумным речам.

На глазах у людей торжествовала неправда, и никто не смел разоблачить ее.

Моя дочь школьницей писала сочинение на тему «Ваш любимый герой в романе „Война и мир“». Она написала о Платоне Каратаеве. Меня вызвали в школу. Учительница стала мне выговаривать — как можно было выбрать такого героя, религиозного человека, через которого Толстой проповедует свою теорию непротивления злу. Что за обстановка у вас в семье? Как вы воспитываете дочь?

Я сослался ей на тему, которая, мол, давала свободный выбор, на это она сказала, что именно выбор выявил неблагополучие идеологическое, за которое отвечают родители. Напомнила статью Ленина о Толстом, термин «каратаевщина» и добавила, что мое упорство усугубляет положение.

Единственный выход, по ее мнению, состоял в том, чтобы переписать сочинение, выбрав, допустим, Андрея Болконского или Наташу Ростову.

Дети не всегда понимали родителей, родители далеко не всегда могли объяснить свое двуличное поведение, свои секреты, дети уличали их во лжи.

Но и дети, подрастая, вели себя соответственно железному прессу времени.

Великий русский артист Евгений Лебедев рассказывал мне, как он скрывал от всех, что его отец был священник. Как тайком ездил к нему в Поволжье повидаться. Прошли десяти-

летия, отца давно нет в живых, а душу Лебедева, не оставляя, жжет стыд и вина перед отцом.

Мой отец в начале тридцатых годов был выслан в Сибирь, лишен избирательных прав, такие назывались «лишенцами». На втором курсе Электротехнического института мне надо было заполнить анкету. Я написал: «отец лишенец». Меня вызывали в деканат и сказали, что придется меня отчислить из института. С трудом добились перевода в другой институт, где не требовалось спецформления. С этого времени я вошел в разряд как бы неполноценных граждан. В юности это чувство нестерпимое. Обречен на вторые роли, не допущен к секретной работе, не могу продвигаться, всюду будет за мною эта гиря — «отец-лишенец». Отца я нежно любил, и это помогало мне преодолеть отчуждение, но сколько семей, сколько судеб было изувечено этим. Страх заставлял детей отрекаться от отцов, осуждать их, скрывать свои чувства.

Семью великого русского поэта Александра Твардовского раскулачили. Сам он до этого уехал учиться в Смоленск.

Брат его Иван Трифонович Твардовский в своей повести «Страницы пережитого» вспоминает: «Будучи еще на Нерче, мы писали брату в Смоленск. Мама и отец, видимо, еще думали — не сможет ли он как-то, чем-то помочь. Конечно же, сам он жил тогда на малых средствах, постоянного заработка не имел и материальной помощи от него не ждали, пусть бы просто сохранилась какая-то родственная связь с родной матерью, отцом, с младшими кровно близкими.

Пришло от Александра два письма. Первое было обнадеживающим, чего-то он обещал предпринять. Но вскоре пришло и второе письмо, несколько строк, из которых восемь не забыл до сего дня. Не мог забыть. Слова это были вот какие: „Дорогие родные! Я не варвар и не зверь. Прошу Вас крепиться, терпеть, работать. Ликвидация кулачества не есть ликвидация людей, тем более детей...“

Письмо этим не кончилось, там было и такое: „...Писать я вам не могу... Мне не пишите“.

На том все и закончилось, больше он не писал и о судьбе нашей ничего не знал до 1936 года».

Внимательный читатель даже по обрывкам текста писем поймет трагедию Александра Твардовского — трагедию страха: «я не варвар и не зверь» — он понимает низость своего поведения, он боится, он не может, не смеет прямо написать им ни о своем страхе, ни о сочувствии, он понимает несправедливость того раскулачивания, которое творят с родными. Что ему делать? Он вырвался в Смоленск, устроился там, надеется учиться, выбиться в люди, если... если он будет осторожен, если он пособлюдает хоть какое-то время подлые законы того времени. Он уцепился за какой-то обломок и пытается выплыть, спастись. Не топите его! Не пишите ему! Он знает, что письма просматриваются.

Помню, какой шок вызвала публикация этих воспоминаний И. Т. Твардовского в 1988 году. Александр Твардовский давно уже стал для читающей России символом бесстрашной борьбы за правду. За те годы, что он был главным редактором «Нового мира», этот журнал, подобно герценовскому «Колоколу», будил сотни тысяч читателей, собрал вокруг себя все лучшее, талантливое в передовой мысли страны, он вызывал бешеные наскоки сталинистов. Они ненавидели Твардовского. Интеллигенция обожала его, он был кумиром. Воспоминаниям брата не хотелось верить.

Иван Твардовский опубликовал их спустя семнадцать лет после смерти брата, когда образ Твардовского устоялся, за бронзовел, и такая публикация заслуживала размышления.

Были ли на то личные причины у Ивана Твардовского — не знаю, важно, что это правда, и ценная правда, о том времени. Кроме страха, было у Александра Твардовского и убеждение, что он обязан перешагнуть через родственные связи во имя борьбы с кулачеством. Он сам писал об этом:

Той жертвы требовали строго:
Отринь отца и мать отринь.

В поэме «Суд памяти» он дает точное объяснение, зачем с такой ожесточенностью ставили молодым клеймо «сын кулака».

Для несмываемой отметки
Подставь безропотно чело,
Чтоб со стыдом и мукой жгучей
Носить ее, закон таков,
Быть под рукой всегда — на случай
Нехватки классовых врагов.

Полностью оправдать и защитить Твардовского не удастся. Он сам казнил себя строже других. Были заблуждения, был и самообман, но труднее всего простить было свой страх. Все было испаковано страхом.

Отец А. Твардовского тайком из ссылки приехал с младшим сыном Павлушей в Смоленск повидать Александра. В Дом Советов, где была редакция, к Александру зайти не решился. Ждал. Дождался какого-то служаки, попросил передать, что ждут Александра. Себя не назвал. Боялся. На душе беспокойно, но ведь родной сын, стоит, думает — может, Павлушку приютит, все же братик. Вышел Александр. Отец смотрит на него с тревогой, в каком-то смятении. Как это может быть в жизни, чтобы встреча с родным сыном так пугала. «Я глядел на него: рослый, стройный, красавец! Да ведь мой же сын! Стоит и смотрит на нас, молча. А потом не „Здравствуй, отец“, а — „Как вы здесь оказались?“

— Шура, сын мой, — говорю. — Гибель же нам там. Голод, болезни, произвол полный!

— Значит, бежали? — спрашивает отрывисто, как бы не своим голосом, и взгляд его, просто ему несвойственный, всего меня к земле пригвоздил.

Молчу. Что там можно было сказать...

— Помочь могу только в том, чтобы бесплатно доставить вас туда, где были...»

Тяжелая сцена, не хочется продолжать ее. Трудно, почти невозможно растолковать ее нынешнему читателю.

А. Т. Твардовский судил себя сам, без снисхождения. Так что ни к чему его защищать.

Поначалу, прочитав воспоминания брата, я был смущен и огорчен, но возникло и другое чувство, история эта сделала Твардовского ближе. Открылся человек, что испытал те же страхи и слабости, что и мы, грешные. Он тоже не избежал их, с той разницей, что страдания вырастили его совесть и эта совесть породила бесстрашие его раскаяния, которое он не прятал. Образ Твардовского тем и велик, что он искупил грехи поколения, колеса истории не переломили его, страх не поселился в нем навсегда, как во многих из нас. А ведь сталинский страх прочно откладывался в душах. Я из другого поколения, но ведь и мои страхи засели во мне надолго, некоторые навсегда.

Страх, пережитый совестливой натурой, сублимируется в стыд, и он долго терзает человека. Старая поговорка гласит: «Страшно в лесу — стыдно дома». Ныне похоже, что мы дома, и пришел стыд. Мужество Александра Твардовского в той неравной борьбе, какую он вел с режимом Хрущева, затем Брежнева, питалось и этим стыдом, хотя до «дома» было далеко.

Уроки советской жизни учили одних слабости, других силе.

Мы ехали в Японию. То были семидесятые годы, очередной зажим, процессы над диссидентами, угрозы. Переводчица, милая женщина, уже в возрасте, по дороге, в самолете, предупредила меня: «Имейте в виду, со мной надо быть осторожнее, если меня станут допрашивать и при этом бить, я все могу выложить, я боли не выдерживаю, со мною это уже было».

Когда-то, на допросах, она убедилась в своей слабости и теперь не устыдилась предупредить меня.

1937 год породил массовый страх, который искажал характер народа. Пассивно подчинялись судьбе. Родные, знакомые репрессированных робко просили за своих. Не решались настаивать. Не требовали освобождения, старались выяснить,

в чем обвиняют их близких, как будто это имело какое-то значение. В трепетном страхе добивались — «за что» взяли, надеясь, что это «за то» очертит круг недозволенного.

«Чур меня». У древних славян Чур был властителем над чертями. Его всегда как сберегателя призывали в крайней опасности и старались заручаться. «Чур меня», — шептали по ночам, прислушиваясь к шуму подъехавшей машины, к стуку сапог по лестнице — куда идут, может, минуют, куда звонят, слава богу, — к соседям.

Люди избегали встречаться в компаниях. Это входило в задачи «органов» — разъединить общество, нарушить связи между людьми. Чем гуще, тяжелее атмосфера страха, тем было для власти лучше.

Страх тех времен стал самым стойким из наших чувств. Мы избавились от страха войны, страха капитализма и прочих наваждений. А вот страх доноительства, страх «органов» — от него никак не оправиться, он и поныне передается по наследству. Многие уверены, что «там, на Лубянке, или еще где-то копят материалы, ведут досье, чтобы в подходящий момент предъявить».

Мы не уверены в прочности новых демократических порядков, где-то под почвой нам слышится тектоническое клотание. Такое «бытие во страхе» бесследно не проходит. Психика сдвинута. Подозрительность осталась. Осторожность высказываний — не проходит. Ложь вошла в обиход, ее не замечают, она, как мимикрия, стала естественной. Мы остаемся готовыми к повиновению. Это все осложнения от долгой болезни страха. Перейдут ли они в генофонд народа, как удастся их изжить — никто не знает.

XIV

Заведовал нашей кафедрой профессор В. В., лауреат, автор многих книг, потом его сделали членкором, точнее, он сделал себя, добился. Воплощенная галантность и респектабельность.

У него не было одной ноги, ходил на костылях, вызывал сочувствие. Тогда, в пятидесятых годах, его принимали за инвалида войны, хотя ногу он потерял в «транспортном происшествии». В институте его боялись, что-то темное, зловещее чувствовалось в нем. Поговаривали, что во времена борьбы с низкопоклонством (была среди прочих и такая кампания) он давал материалы на некоторых преподавателей. Мы, аспиранты, боялись его не за прошлое, внушала страх его улыбочка, его манера вглядываться, от него исходило чувство опасности. Мы были фронтовики, бывшие солдаты, но это была опасность, неведомая нам, какая-то скрытая... Во время кафедральных совещаний он слушал выступления и в глубине его студенистых глаз проблескивало: «А все ты врешь, голубчик, на самом деле ты иначе думаешь».

Однажды мне пришлось докладывать на кафедре о строительстве гидростанций на равнинных реках, о так называемых «великих стройках коммунизма». Перед этим я побывал на некоторых из них, в частности на Куйбышевской ГЭС, на Днепре.

Меня, инженера, поразила бесхозяйственность в зонах затопления. Как безграмотно проектировали и строились рыбоходы, явно рассчитанные на гибель волжских осетров. Вообще вся затея с этими гидростанциями выглядела более чем сомнительной. Делалась она скорее в интересах чекистов, чем в интересах энергетики. Работали на этих стройках коммунизма заключенные, работали плохо, кое-как. Я видел, как с ними обращались, все это было постыдно.

Ничего о своих сомнениях я не решился сказать. О возмущении — тем более. Доклад выглядел вполне благополучным, в стиле докладов тех лет, радужные перспективы, ленинский план ГОЭЛРО и тому подобное.

— А меня уверяли, что вы считаете волжские гидростанции ненужными, — сказал профессор и наклонился вперед, приглядываясь ко мне. — Более того, вредными. А? Что эти великие стройки губят Волгу? А?

Я попятился, замычал что-то неопределенное, но он настаивал, добивался, чтоб я отчетливо отказался, заклеил подобные предположения.

Мне потом говорили, что В. В. провоцировал меня, обычный его прием, что я правильно сделал, что сдержался, но я-то знал, что я не сдержался, а просто-напросто струсил. Меня остановил страх. Я не мог переступить. Чего? Сейчас, уже спустя столько лет, трудно в точности определить. Сохранилось, отчетливо помнится, чувство унижения и стыда. После я несколько раз пытался вернуться к тому разговору и переступить. Не мог. Я мечтал сказать ему при всех: «Хватит, на самом деле я против, я не согласен с тем, что творится, я вам могу доказать!» Я собирал и собирал доказательства, чтобы взбунтоваться и выложить их. Проходил месяц за месяцем. Я все откладывал, не мог набраться духу. В. В. утверждался в своей непререкаемости. Никто не осмеливался восстать. И он пользовался нашим страхом, эксплуатировал его.

В конце концов я ушел с кафедры, но, уходя, так и не высказал ему того, что думал о нем. А как хотелось. Его ненавидели, презирали, но думаю, что так до конца жизни он не узнал об этом. То мое отступничество осталось грехом, который уже не исправить. Если б единственным! Чего я боялся? Ведь в тех случаях, когда находил в себе силы переступить (побороть страх), небо не рушилось, меня не казнили, появлялось чувство самоуважения. А потом опять страх возвращался. Никак не удавалось избавиться, изгнать его окончательно. И вместо того чтобы сказать то, что хотелось, поступать по совести, искал компромиссы, ограничивался полуправдой. Иногда я пытался объяснить свои страхи генетически. Так, я необъяснимо боюсь крыс. Кто боится пауков, кто лягушек. Петр Первый панически боялся тараканов, Наполеон боялся темноты. Эти страхи у каждого свои, они доходят к нам как неразгаданные сигналы от далеких предков. О чем свидетельствуют эти древние страхи, никому не известно.

Мы нажили себе при жизни социальные страхи. Рабская наша психология откладывалась, слой за слоем, арестами, проработками, расстрелами, безнаказанностью начальства, торжеством палачей. Ничего генетического в ней нет. Наши внуки уже свободны от наших страхов. Теперь, когда все можно говорить, когда каждый щеголяет своей смелостью, мои прежние поступки стали укорять меня. Хочется исправить то поведение, да ничего исправить нельзя. Мы обречены жить с грехами прошлых страхов, так же как с прошлыми разочарованиями, утраченными идеалами. То же самое набирает каждое поколение. Свои иллюзии, свои ошибки, свои страхи. Я вижу, как появился и незнакомый прежде страх — выйти ночью на улицу, страх безработицы, страх банкротства банка... Но от этого моя ноша не становится легче.

XV

Россия со времен Ивана Грозного жила в страхе. Страх то убывал, то возвращался, но всегда работали либо Тайный приказ, либо III Отделение, либо ВЧК, ОГПУ, КГБ. Сажали на кол, вешали, колесовали, четвертовали, расстреливали. То же самое творилось в Швеции, Франции, Голландии, Чехии. Там еще жгли на кострах, там смачно лязгал нож гильотины. Работали пыточные камеры, изобретали новые орудия пытки — электрошок, уколы, психологические пытки.

Летопись способов устрашения — самый гнусный раздел человеческой истории. Тоталитарный режим прежде всего опирается на систему доноительства. Социалистические страны развили доноительство, наверное, до самых больших пределов. Говорю «наверное», потому что размеры этого доноительства, число людей, вовлеченных в эту работу, до сих пор неизвестно. Власти каждой страны скрывают списки, слишком они велики. Публикация их травмировала бы мил-

лионы семей. В каждом учреждении, в школе, в больнице, редакции — всюду имелись свои стукачи. Некоторых чуяли, некоторые сами, нарочно засвечивались. «Органы» вызывали к себе, заставляли подписывать «о неразглашении», поощряли бесплатными путевками в заграничные поездки или, наоборот, наказывали, делая невыездными.

Обнародовать фамилии стукачей — значит породить новый вал трагедии.

В 1992 году сменилось руководство КГБ. Один из моих знакомых писателей позвонил своему приятелю, получившему назначение в обновленный Комитет. «Послушай, — сказал он, — не могу ли ознакомиться со своим досье, все же интересно». — «Пожалуйста, — ответил его старый товарищ, — это не проблема, мы сейчас стараемся идти навстречу, особенно тем, кто натерпелся от прежнего аппарата».

Через два дня раздался звонок, писатель услышал голос своего друга: «Твое досье лежит передо мной. Я посмотрел его. Не советую тебе читать его». Больше он ничего не сказал. В голосе человека бывает больше информации, чем в словах, которые он произносит. Мой товарищ не стал ни о чем спрашивать. Досье он так и не прочел.

Прочсть — то есть узнать. Он побоялся узнать.

Страхи прошлого хочется похоронить, не открывая крышки гроба. Они были безымянны, пусть и уйдут безымянными. Я не раз наблюдал, как люди избегают знать, кто на них доносил, кому они обязаны своими бедами. Это новый страх — лишиться, может, близких друзей, а может, и родных. Осведомители могли оказаться и в семье. Эта всепроникающая угроза стукачества не отпускала человека, где бы он ни находился. В доме отдыха, в поездке за рубеж, в твоей группе уж непременно, в коммунальной квартире, на вечеринке, в телефонном разговоре. Все были убеждены, что их прослушивают. Никакие доводы, ссылки на то, что технически невозможно прослушивать, записывать одновременно

десятки тысяч разговоров, — не действовали. Одна из распространенных фраз была (да и остается до сих пор): «Это не телефонный разговор!» В том смысле, что нас слушают многие; считали, что в квартире имеются «жучки» — подслушивающие устройства. Порой эта обстановка приводила к психическим расстройствам. Дома переходили на шепот. Уединялись в ванной, там включали воду. У себя дома смотрели на телефонный аппарат, как на врага, прикладывали палец к губам — тсс. Закрывали его подушкой, выключали его. Знайки сообщали, что разработаны такие устройства, когда из машины, стоящей на улице, могут направлять микрофон на ваше окно и слышать разговоры в комнате. Передавали истории о том, как у соседей устанавливали «прослушку», прикрепленную к вашей стене. «Органы» специально внушали населению — вам не уберечься от нас!

Ко мне пришел писатель Д. (ныне покойный) и на ухо рассказал, что у него была операция, делали ее под наркозом и вставили ему в живот микрофон, он это чувствует, и теперь они день и ночь слушают его. Не может ли Союз писателей как-то избавить его от этого. Бедняга страдал типичной для тех лет манией преследования.

В той или иной мере вся страна болела этой фобией. Болезнь эту никто не лечил, с ней не боролись, ее поддерживали. Выгодно было, чтобы люди думали, что *большое ухо* всюду их слышит. Чем меньше «разговорчиков», тем лучше. Боятся, преувеличивают — и хорошо. Крепнет убеждение в силе власти, ее могуществе.

3. Фрейд называет фобией непреодолимый навязчивый страх перед каким-то явлением. Есть житейские страхи и специальные страхи. Фобия — явление патологическое. Страх подслушивания был всеобщей фобией. Нигде человек не чувствовал себя защищенным. Он жил как бы под неусыпным оком и ухом, ему негде было укрыться. Все просвечивалось. Кругом рентгеновские лучи — невидимые, неслышные, но где-то стоит экран и видны на нем все ваши внутренности.

На самом деле все носило ограниченный характер. Подслушивали, но немногих, следили — за немногими.

В девяностые годы в журнале «Новое время» бывший заместитель председателя КГБ по Ленинграду О. Кулагин написал, что среди деятелей культуры прослушивали систематически Д. С. Лихачева, Г. А. Товстоногова и Д. А. Гранина. Значит, всего лишь троих. И то, я уверен, халтурили. КГБ не представлял исключения, работал он плохо, бессистемно, как и все в стране. Настоящих шпионов ловить не умел, но обстановку повального сыска, доносительства, страха — создал. Все силы КГБ были направлены на запугивание, на внутренний террор.

Россия не исключение. Подобное доносительство развито в неменьшей степени в Европе, в США. Причем добровольное. Соседи подглядывают, пишут в полицию, в мэрию. Злобно сообщают о всяких нарушениях и подозрениях.

Природа доносительства связана не только с законопорядком. Какие-то подспудные силы заставляют человека доносить на другого в силу вражды, зависти.

Были, конечно, убежденные доносители. Охранительная идеология имела своих энтузиастов.

Популярный немецкий поэт и певец Вольф Бирман в 1994 году показал мне несколько томов своего досье. Это были папки тех дел, которые наработало «Штази» за годы слежки. Там подшиты были донесения день за днем. Фотографии всех, кто входил в его берлинскую квартиру и выходил из нее. Записи телефонных разговоров, сведения о его знакомых, отчеты агентов. Целая группа занималась им круглосуточно. При всей своей известности, Вольф Бирман был всего лишь поэт и певец. Его же возвели в ранг опаснейшего преступника. Наблюдение вели из соседнего дома. Дежурили фотографы, агенты «Штази» дежурили у подъезда. «Жучки» были установлены во всех комнатах. Глупейшая работа длилась годами. Где результаты? Какие могли быть результаты? Бирман

сочинял песни, стихи, распевал их, ничуть не боясь навязчивых наглых соглядатаев. Его боялись. Страх доводил «Штази» до явного абсурда.

Бирман не был исключением. Мне показывали копии своих досье и другие восточные немцы. В донесениях были тщательно вымараны фамилии осведомителей. Но осталась нелепость, неумелость работы «Штази».

Слухи, сплетни, всякая чушь аккуратно собиралась и вписывалась в донесения.

В центральной именной картотеке «Штази» имеются шесть миллионов карточек, по которым можно найти досье. То есть на каждого третьего гражданина ГДР заведено было досье. По этим цифрам можно судить и о масштабах (доселе неизвестных) деятельности КГБ в СССР и в других странах соцлагеря. Километры магнитофонной ленты подслушанных разговоров, кипы бумаг — огромное хозяйство департаментов Страха, десятки, а может, и сотни тысяч его служителей.

XVI

Технологию создания страха у подданных разработал еще Никколо Макиавелли. Недаром Сталин тщательно читал его книгу «Государь». Макиавелли учил, что если люди что-то уважают, так это силу, сила внушает им страх. Следовательно, государь должен обеспечить себя силой. Силловые министерства, силловые подразделения — главная опора государя.

«Худо придется тому государю, который, доверяясь их посулам (речь идет о министрах. — Д. Г.), не примет никаких мер на случай опасности. Ибо дружбу, которая дается за деньги, а не приобретается величием или благородством души, можно купить, но нельзя удержать, чтобы воспользоваться ею в трудное время. Кроме того, люди меньше остерегаются обидеть того, кто внушает им страх, ибо любовь поддерживается

благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой наказания, которой пренебречь невозможно.

Однако государь должен внушать страх таким образом, чтобы если не приобрести любви, то хотя бы избежать ненависти, ибо вполне возможно внушать страх без ненависти».

Далее Макиавелли советует не посягать на имущество, «ибо люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества». Применять жестокие меры следует там, где это вызывается необходимостью. Государь не должен считаться с обвинениями в жестокости. Учинив несколько расправ, он проявит больше милосердия, ибо избыток милосердия потворствует беспорядку.

Он разбирает вопрос, что лучше — чтобы государя любили или чтобы его боялись? Поскольку любовь плохо уживается со страхом, «то надежнее выбирать страх». Далее следуют практические рекомендации, которые напоминают нам действия «государей» нашего времени.

Хорошо, если фортуна сама посылает врагов, которых надо сокрушить, чтобы, одолев их, подняться выше в мнении подданных. Однако «мудрый государь и сам должен, когда позволяют обстоятельства, искусно создавать себе врагов, чтобы, одержав над ними верх, явиться в еще большем величии».

Стоит обратить внимание на слова «и сам должен», то есть не жди у моря погоды, на Бога надейся, а сам не плошай, и тому подобное. Так оно и делалось на протяжении трех четвертей века и в Советском Союзе, и в Германии, и в прочих странах диктаторов. Создавали врагов в виде оппозиции, кулачества, вредителей, евреев, цыган, коммунистов, их разоблачали, истребляли, проклинали.

Философия Макиавелли была реалистична и для Италии XVI века, и для Франции, и для Пруссии, ею пользовались в каждую эпоху, ибо не было эпохи, когда бы не торжествовал цинизм властителей жестоких и безнравственных. Но Макиавелли соединял жестокость с разумом, аморальность

с правопорядком. В нем проявляется кентавр. Кентавризм, соединение несоединимого, является свойством абсолютизма. От Макиавелли отрекались, его поносили и тщательно изучали. Ни у кого из философов не было столь прилежных и сиятельных учеников, как у него. Самые лицемерные, жестокие деяния новой истории можно рассматривать как достижения Макиавелли.

Страх, внушенный безликим понятием власти, государства, причиняет ужасные пытки. Он не покидает своего пленника ни на минуту, забирается в сновидения, в семью, в развлечения.

Совершенно бесстрашных людей не бывает. Реальные страхи можно преодолеть рассудком. Но как отвести страхи воображаемые, страхи возможностей, идущие от той машины, которая хватает без разбора, от дракона, которому нужны новые и новые жертвы.

Все силы уходят на борьбу с воображаемыми опасностями. Одолеть их не удавалось. Если я скрыл в анкете, что мой отец был репрессирован, что у нас были родные за границей, то многие годы опасался, что это откроется. Меня разоблачат, выставят на позор, лишат, исключат... Воображение разыгрывалось, рисуя ужасные сцены. Вызывал директор, и по дороге страх набрасывается — а вдруг *они* узнали, вызнали? Никак не удавалось оседлать страх.

Я знал одного талантливого литератора, которому грозили исключением из партии. Дело его тянулось месяцами, он измучил себя и довел до психического срыва. Почти год он провел в больнице. За это время дело продвинулось и его заочно исключили из партии. И это его вылечило. Все кошмары разом кончились. Через несколько лет дело его пересмотрели, решили восстановить в партии. Вызвали в райком, предложили написать заявление. Он отказался: не хочу восстанавливаться. Как так? Да вы понимаете, что вы говорите? И тут он вдруг воспрянул. «Я понял, что им больше нечем

устрашить меня, — рассказывал он мне. — Я исключен! То есть я свободен! Им меня не достать!»

Действительность большей частью не настолько ужасна, как возможность, которую мы сами увеличиваем до гигантских размеров.

Я помню так называемое «Ленинградское дело», когда в Ленинграде арестовывали руководящих работников, сперва городского масштаба, за ними районных, как эта эпидемия ширилась, забирали уже и рядовых, никто не знал, где это кончится. Появилась обреченность, ледяной страх заморозил все чувства. Люди погрузились в летаргию.хлопотать, доказывать, каяться было бесполезно. Уныло ждали в каком-то полусонном состоянии. Страх все же оставляет щель надежды. Что-то оттуда светит, видно то, что боишься утратить. Гаснет надежда, и вместе с ней страх. Если нет надежды, то все потеряно, а когда все потеряно, даже отчаяние, то нечего бояться. Остается тупое ожидание.

Так страх пожирал и без того короткие жизни, ничего не оставляя, кроме горечи омраченных дней.

XVII

Трагедия Софокла «Антигона» считается царицей трагедии. Я коснусь конфликта принципов двух ее главных героев: Антигоны и правителя Креонта. Напомню, что Антигоне необходимо похоронить тело ее брата Полиника, невозможно оставить его непогребенным. Ее дядя Креонт считает Полиника мятежником и под страхом казни запретил предавать труп земле. Погребение мятежника — угроза престолу, призыв к беспорядку. Креонт видит свой долг в сохранении порядка в городе. Антигона не оспаривает прав власти, она утверждает существование более высокой реальности, которая открылась ей в любви к брату. Этой любви должен подчиниться политический порядок. Антигона — свободная душа,

она выбирает себе обязательства любви, что в глазах Креонта есть нарушение закона, которому он преданно служит. Антигона готова на смерть, роковой порядок не может остановить ее, потому что он стесняет свободное проявление ее личности. Креонт не в силах отказаться от своей ответственности перед обществом, которое доверило ему порядок. Правда, сохранить порядок — значит сохранить власть. Его долг подозрительно совпадает с властолюбием. Его вкус к власти есть вкус к жизни. Он боится за город, заодно и за себя. Его постоянно снедает страх утратить свою власть. Сущность Креонта — страх. Страх лишает его свободы и возможности понимать свободу Антигоны. Власть неразрывно связана со страхом. Страх — способ ее существования. Она внушает страх, дабы управлять, и в то же время сама испытывает страх. Креонту всюду мерещатся заговоры, враги. Угроза потерять дорогих ему людей не останавливает его, и он лишается сына, племянницы, жены. Остается лишь его престол, за который он судорожно держится. Креонт — жертва страха. Он казнит Антигону, он перед нами наг, и в этой наготы возникает сочувствие к нему, потому что по-человечески нам ведом его страх, мы смутно признаем право правителя низкими, жестокими способами сохранить порядок. Более того — мы готовы требовать от него твердости.

У Антигоны любовь на первом месте. Любовь — к брату — открывает в ней законы сердца, они сильнее законов Креонта. Он ненавидит любовь, в ней семена свободы, неподчинения, неподвластные страху.

Античность дает еще один поучительный пример возвышения человека над страхом. Этот пример — суд над Сократом. Над ним немало раздумывали и до сих пор толкуют его по-разному.

Суд в Афинах счел Сократа нечестивцем. На самом же деле Сократ заявлял, что единственное, что он твердо знает о божестве, — это то, что ничего определенного о нем он не знает. За это его обвиняют в атеизме. Не будем, однако,

углубляться в подробности и причины афинских страстей, пылавших вокруг Сократа. Все знаменитые процессы над великими людьми оказывались несправедливыми. Вспомним Жанну д'Арк, Джордано Бруно, Галилея, Яна Гуса.

Суд приговорил Сократа к смерти, что для Афин было редкостью. Суд имел в виду, что Сократ попросит помилования, ему надо было обещать молчание, прекратить свои речи. Он мог согласиться и на изгнание. Ни на одном из процессов над философами смертные приговоры в Афинах не приводились в исполнение. Казнили только Сократа.

Представляется, что Сократ добивался своей казни настойчивей, чем его судьи. Вот тут и заключено самое трудное для понимания.

Трибунал заседал на площади, публично разбирая дело Сократа. Толпа бурно отзывалась на речи обвинителей и реплики Сократа. Он защищал себя сам. Речь свою он построил в виде беседы с судьями и народом, горожанами. Казнь, смерть нисколько не беспокоит его, задача у него не защитить свою жизнь, ему хочется привести и суд, и афинских жителей к пониманию справедливости. Он говорит:

— Если вы меня приговорите к смерти, вы причините вред себе, а не мне. Вас сочтут несправедливыми. Не себя я защищаю в эту минуту, я защищаю вас!

В его поведении нет и следа страха, и это злит толпу. Она не понимает такого высокомерия.

— Откажись, Сократ, уступи, — настаивают кругом него. — Мы не хотим тебе зла, перестань всех учить!

Сократ не сдается. Он заявляет, что он — тот, кого бог дал Афинам, «чтобы вы сделали лучше. Если вы меня казните, вам вторично не окажут такого благодеяния».

Его заносчивость еще больше раздражает. Сократ провоцирует несправедливость, требуя справедливости.

Приговор не окончательный. Суд готов принять штраф и отменить приговор. Сократ не согласен: штраф либо бегство, что предлагали ему друзья, значило признать себя виновным. Он не виновен. Пусть покарают невиновного, чтобы

увековечить несправедливость, чтобы худшая несправедливость предстала перед всеми Афинами и научила их чтить справедливость.

Более того, он вызывает ярость суда, требуя себе награды за свое учение: награда или смерть, и никаких компромиссов. Берегитесь, нельзя избавиться от истины с помощью казни! Наоборот, казнь заставляет людей задуматься, она остается навсегда в памяти как несправедливость.

Так и произошло. Он оказался прав. Несправедливость, учиненная над Сократом, вошла в историю вечным примером того, как человек обретает бесстрашие во имя принципов, важных для всех людей. Поведение Сократа не для подражания: поступки гениев и святых не под силу обыкновенным людям. Но гибель Сократа вот уже две с половиной тысячи лет не дает покоя, волнует людей, и это прекрасно.

XVIII

Перебирая историю человечества, убеждаешься, что страх был вездесущ. Вплоть до конца XVI века города запирались на ночь. Стражники не пускали чужих. Легенды и поверья убеждают, что замки были полны привидений. Шла охота на ведьм. Они летали ночью на свои шабаши, вступали в связь с дьяволом, духовную и плотскую. Наводили порчу на людей, на скот. От их колдовства появлялись засуха, эпидемии. Они могли быть безобразными, красотками. Их ловили, жгли на костре, пытали. Вся средневековая Европа боролась с ведьмами.

Колдуны давали обязательство демону делать людям зло, за это они получали могущество. В свою очередь, человек продавал душу дьяволу и пользовался за это земными благами.

Колдунов тоже сжигали. В Швейцарии последнего колдуна сожгли на костре в 1652 году в Женеве. Однако в Венгрии

в Сегеде тринадцать колдунов были сожжены еще в 1739 году. Это безумие в Европе закончилось только к середине XVIII века. К этому времени в одной Англии уничтожено было до тридцати тысяч колдунов. В 1766 году казнь заменили позорными столбами и тюрьмами за «вызывание злых духов и за старание войти с ними в сношения».

Вальтер Скотт написал чрезвычайно любопытную демонологию, которая дает широкую картину средневековых страхов.

Страшнее колдунов был черт. Покрытый черной шерстью, с рогами, хвостом, копытами. Он происходил из падших ангелов, умел превращаться то в кошку, то в странника. Черти вмешивались в жизнь людей, вводили в грех, провоцировали на преступления. Они соблазняли, покупая души людей, заключали договоры на служение дьяволу. Были еще бесы, бабы-яги, кощеи. Мир был полон страхолудной нечисти. В лесу водились лешие — русские фавны, в озерах и реках — водяные, они утаскивали людей на дно, топили купающихся. В домах жили домовые, которые творили пакости. Злые духи окружали, подстерегали, набрасывались, сосали кровь. Рядом с каждым правоверным пребывал шайтан — злой дух. Вся эта дьяволиада подстерегала человека, внушала ему ужас и трепет.

Все охотились за его душой.

Оборотни у всех народов изображаются чудовищами. Баснословные эти существа шляются повсюду и пугают людей. Баба-яга, это страшилище, сидит в железной ступе и имеет железный пест, живет в избушке на курьих ножках.

Народная фантазия была неисчерпаема, конкретна, живописна, тысячи легенд, сказок, басен описывали похождения злых сил. Нечисть вся состояла из живых существ, диких зверей, сочлененные из ослиных хвостов, копыт, рогов, человеческих глаз, пахнущие козлом, серой, паленой шерстью. Они гнусавили, шептали по-человечьи. Нечистая сила хитрила, принимала ангельские облики.

Бесы — ангелы Сатаны, мастера злобных внушений, искусители монахов, всегда надевали лживую личину. То они являлись в виде блудницы, то любовника. В новой истории они являются в образе черта у Гёте, у Достоевского, у Томаса Манна, у Булгакова, у Гоголя...

Темнота таит в себе первобытные страхи, чувство беззащитности. В мире мрака безнаказанно властвовали злые силы. Заговор Сатаны против христианского мира связывался с мусульманской угрозой. Лютер испытывал страх перед турками. В начале Нового времени врага стали видеть в иудаизме.

Страх исходил и от женщины как богини смерти. Медея — мать-убийца своих сыновей, индуистская богиня Кали — украшенная черепами своих жертв. «Женщина вызывает в подсознании мужчины тревогу не только потому, что она судит о его мужском достоинстве, но еще потому, что она в его глазах подобна священному ненасытному огню, всепоглощающему, который нужно все время раздувать», — пишет Жан Делюмо, известный французский историк.

Успехи цивилизации и культуры на первый взгляд как бы обессилили прежние страхи, иные и вовсе ликвидировали. Кончилась охота на ведьм, погасли костры инквизиции, исчезли привидения. Электричество рассеяло пугающую тьму. Рождаются зато новые страхи. Социальные проблемы рождают гнетущие страхи безработицы. Новые болезни обступают человека, не менее страшные, чем чума. Их появляется все больше. Успехи медицины велики, но чем больше она знает, тем больше опасностей открывает она для человеческого организма. Жизнь кажется все более хрупкой, ненадежной. Слишком много врагов подстерегает нас повсюду — радиоактивность, химические удобрения, вирусы, неочищенная вода, воздух, озоновая дыра, выхлопные газы, электромагнитные поля...

Появление озоновой дыры вызвало очередное предсказание ученых о гибели жизни на планете. Похоже, что каж-

дая наука выдвигает свои проекты гибели. Таяние льдов Арктики сменяет столкновение с очередной кометой, биологи предрекают гибель от генной инженерии, которая вот-вот создаст нечто такое, от чего нет защиты. Особенно стараются экологи, но по понятным соображениям они обещают погибель от загрязнений воздуха, воды, нехватки кислорода, поскольку вырубают леса, демографы гонят вверх кривую перенаселения. Кроме того, приготовлена серия социальных конфликтов планетарного масштаба, национальных и религиозных.

Каждая угроза проверена, мотивирована и утверждена ученым синклитом. Так что выбор у человечества богатый.

Страхи множатся... Отчасти гасят друг друга. Отчасти усиливают сознание конца света. Не от одного, так от другого. Постепенно множественность отупляет. Человечество пока что не в силах решить проблемы своего будущего. Фашизм, нацизм, сталинизм показали, как легко народы скатываются к самоубийственному безумию.

Разум беспомощен, если человек лишен надежды. Но откуда ее брать?

Итак, страхи не убывают, они множатся. Суеверия, предрассудки окружают человека все тем же мохнатым кольцом, наука как бы отгоняет злых духов, но не может их уничтожить. Однако, как ни странно, сам страх бывает нашим союзником, он способен на чудесное превращение.

Человеческий характер подвижен. Поступки зависят от обстоятельств, одни и те же обстоятельства оцениваются по-разному, сегодня так, завтра — иначе. Человек — создание текучее, страх может вызвать поступки трусливые, а может и подвигнуть на бесстрашие.

У Монтеня есть интересный пример на нашу тему: «Крайняя степень страха выражается в том, что, поддаваясь ему, мы даже проникаемся той самой храбростью, которой он нас

лишил в минуту, когда требовалось исполнить свой долг и защитить свою честь. При первом крупном поражении римлян во время войны с Ганнибалом... один римский отряд численностью до десяти тысяч пехоты, оказавшись во власти страха и не видя в своем малодушии иного пути спасения, бросился напролом в самую гущу врагов, пробился сквозь них с вызывающей изумление дерзостью, нанес тяжелый урон карфагенянам. Таким образом, он купил себе возможность позорно бежать за ту же самую цену, за которую мог бы купить блистательную победу».

Кошка, загнанная собакой в угол, не имея выхода, показывает чудеса храбрости. Точно так же и человек от страха и отчаяния превращается в смельчака. Страх может обратиться в отчаяние, которое внешне выглядит как мужество, во всяком случае неотличимо от безумства храбрых. Дело в том, что сам человек не в состоянии определить свои качества, он-то знает, что они зависят от обстоятельств. Поступок, допустим, добродетельный на самом деле совершен из-за стремления к славе, а может, к тому были тайные причины, выгоды. Человек сам себе не всегда признается в истинных побуждениях. Человек — тайна от самого себя. Однозначные его определения существуют лишь для внешнего наблюдателя.

Есть устойчивые качества личности, поэтому в одних и тех же обстоятельствах люди действуют по-разному. Один робеет, другой проявляет стойкость, третий становится агрессивным, четвертый ищет компромисс и т. д. Это зависит от первичных качеств личности, заложенных воспитанием, религией, физическими особенностями, всей многомерностью индивидуума.

Но, пожалуй, из всех жизненных обстоятельств страх обладает особой гипнотической силой, он может одинаково парализовать самых разных людей. Никакие мечтания не могут возбудить воображение так, как страх. Картины, одна ужаснее другой, появляются, сменяя друг друга, томят, мучают. Правильно подмечено, что у страха глаза велики. Сильный

страх снимает боль. Извечно борются между собой любовь и страх, эти два самых сильных чувства, отступает то одно, то другое. В самой любви таится страх. Чем сильнее любовь, тем больше в ней страха.

В моей юности была любовь, в которой я так и не посмел признаться. Духу не хватило. Оглядываясь на прошедшее, вижу, что меня останавливало не что иное, как страх. Безотчетный страх, в котором не было ничего вразумительного. Не опасался, что она отвергнет мое признание, страх был в чем-то другом. Невозможно было преодолеть себя, решиться. Это был страх нерассуждающий, лишенный каких-либо явных причин, у меня просто перехватывало дыхание, я не мог добраться до нужных слов. С виду никто ни о чем не мог догадаться, и она тоже. Разговаривая с ней, я шутил, дерзил ей — на это хватало смелости, а вот дальше продвинуться не мог, не было сил произнести заветное — «я люблю тебя». К этим трем словам невозможно было приблизиться, словно черная пропасть, они влекли и отпугивали. Я укорял себя за малодушие, трусость и не мог переступить. Теперь, издалека, сквозь прошедшую жизнь, я плохо различаю величину того страха, его оттенки.

Однажды, спустя полвека, я встретил ее, мы не сразу узнали друг друга. Смеясь, я вспомнил, как не посмел объяснить ей в любви. Произнес это легко, весело. Она же погрузилась, сожалея о той моей юной робости. Оказывается, она тогда ждала этого признания. Как все оказалось просто, какие мы громоздим себе страхи. Кто не сумеет оседлать их, тот не достигнет своих желаний. Увы, большей частью наши опасения напрасны, страшно, пока видится, а делается — стерпится.

— Ты боялся объявить о своей любви, — сказала она. — Любить — значит признаться самому себе, с этим трудно справиться. Тебе было всего семнадцать.

Любовь полна страхов: потерять любовь, любимого человека, страх перед соперником, изменой...

Любовь погибает, освобождая одного и обездоливая другого. Быть отвергнутым — позорище, крах, свет меркнет, жить не хочется, все постыло, обязанности кончились, все скрепы с жизнью оборваны. Можно повеситься, можно застрелиться, если есть из чего. Или выпить уксус, принять горсть снотворного. «Любовная лодка разбилась о быт...», «До свиданья, друг мой, до свиданья...» Так писали два великих поэта, Маяковский и Есенин, оба перед самоубийством. Никто с точностью не может сказать, только ли из-за любви они покончили с собой, но каждый из них в предсмертных стихах говорил прежде всего о личном крушении. Наверное, из общего числа самоубийств, совершаемых в мире, две трети совершается из-за неудачной любви.

XIX

Как-то осенним вечером мы гуляли с Г. А. Товстоноговым. Он был в зените своей славы. Великий режиссер, он создал замечательное созвездие актеров Большого драматического театра, создал, по существу, и сам этот театр, который вошел в историю как театр Товстоногова.

Гранит набережной искрился под желтым светом фонарей. Жаль было этот город, который достался бездарным хозяевам.

Георгий Александрович рассказывал мне о своих схватках с партийными идеологами. Каждый спектакль «они» принимали подозрительно. На приемке выдвигали бесконечные поправки, требования, это в лучшем случае, в худшем — могли запретить спектакль. Такое бывало. Новаторские постановки Товстоногова не нравились начальству. И сам он, несговорчивый, излишне умный, излишне талантливый, для этих партийных надсмотрщиков был опасен. Его приручали по-разному. Сперва угрозами — не помогло. Потом подкупали. Давали премии — не могли не давать. Спектакли Товстоногова

гремели на всю страну. Заграничные гастроли вызывали овации. Но премии считались как бы благосклонностью партийного начальства. Сделали его депутатом Верховного Совета СССР. Именно сделали. Первый секретарь Ленинградского обкома так и сказал Товстоногову: «Что же вы конфликтуете с нами? Мы вам дали премию, мы вас сделали депутатом СССР, а вы... Нехорошо».

— Представляете? — говорил мне Георгий Александрович. — Хотя бы для приличия сказал: «Мы вас выбрали», нет — «сделали»! Каков?

Он рассказывал, как театру отказали в выезде за рубеж. Сорвали гастроли. Готовы были заплатить неустойку в валюте, но настоять на своем, лишь бы наказать строптивного режиссера. Рассказал, как лично ему, депутату, лауреату, народному артисту, не дают поехать на фестиваль в Италию. Препятствия, которые ему чинили, не укладывались в моей голове — неужто он не может потребовать, пожаловаться, выступить перед западной общественностью? Все же и тогда, в семидесятых годах, несмотря на засилье цензуры и партийного самоуправства, можно было протестовать, особенно такому известному во всем мире художнику.

— Что они с вами могут сделать? Ничего! — убежденно доказывал я. — Вы защищены вашим именем.

Я, который сам немало натерпелся от партийных церберов, был уверен, что уж Товстоногов им не по зубам.

И вдруг он сказал мне:

— Вы знаете — я их боюсь.

Его признание поразило меня. Чем поразило? Да тем, что на самом деле и я их боялся. Но не смел себе признаться, а Товстоногов смел.

Он боялся их как человек, он прекрасно представлял возможности этой политической системы, ее аморальность. Но когда он ставил спектакль, он забывал о всех опасениях.

Спектакль «Горе от ума» открывался цитатой из Пушкина, она высвечивалась на светлом занавесе огромными буквами:

«Черт меня догадал родиться в России с душою и талантом!»

Одно это в те годы вызывало оторопь. Крамола явная, вызывающая. Она читалась без всякого подтекста, прямым указанием на удушающую петлю советской власти.

Он повернул пьесу «Горе от ума» так, что бесцветный раболепный чиновник Молчалин становился главным героем, за ним было будущее. Успех ждал подхалима, интригана, а не героя и правдолюбца Чацкого. Так еще никто не ставил эту классику. В пьесе Горького «Мещане» он сделал рабочего Нила, всегда изображаемого революционером, человеком страшноватым, разрушителем устоев прежней налаженной жизни, «грядущим хамом». Это была совершенно новаторская, бесстрашная трактовка. Постановки Георгия Товстоногова каждый раз становились явлением общественной социальной жизни, не только культурной. Феномен Товстоногова — яркий пример того, как талант заставляет художника одолевая любой страх, любые опасения. Пусть он как человек боится, трепещет перед сильными мира сего,

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта вострепнется,
Как пробудившийся орел.

XX

Божественный глагол диктует поэту не считаться со вкусами и требованиями земных правителей. Художник в такие минуты великан, собственное малодушие отступает, он одолевает любые запреты. Я говорю об истинном художнике, истинность его удостоверяет именно *диктовка*, он превращается в писца, который записывает — музыку, стихи, картину. Он исполняет божественное веление.

До обыкновенного художника, кто совсем не гений, божественный глагол не доходит. Вырваться из пут запретов и собственных сомнений он не в силах. Даже талант не всегда помогает освободиться. Но надо оговориться: все же даже в самые глухие годы сталинского режима и позже находились художники, которые писали «в стол». Осмеливались, ибо и писать в стол требовало мужества и самоотречения.

Блестящий роман «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков писал «в стол», не надеясь на скорую публикацию. Он знал, что находится под наблюдением, и тем не менее осмелился. Булгаков не исключение. И другие не прекращали своих стараний во имя правды. Можно назвать поэта Ольгу Берггольц, писателя Андрея Платонова, художника Фалька, композитора Шнитке... Когда цензуру отменили, из столов извлекли немало произведений — мемуаров, дневников, пьес, поэм. Немало, однако куда меньше, чем ожидалось. Страх все же делал свое дело. Он уничтожал замыслы в зародыше. Он обесцвечивал картины, смягчал поступки героев.

Жил-был в Петербурге хороший художник, обозначим его М. Во время войны студентом Академии художеств пошел добровольцем в армию. Вскоре, в 1942 году, он попал в плен. Узнав, что он художник, лагерное начальство решило проверить это. Велели сделать портрет одного офицера. Он сделал. Заказали еще. Понравилось. Мало того, нашлись знатоки, которые оценили талант юноши. Его портреты отличались внутренним сходством, он умел раскрыть характер. Посыпались заказы.

Маслом он писать отказывался. Ему достали итальянский карандаш, сангину. К нему стали наезжать высшие офицеры. Может быть, его возили к немецким генералам. Он никогда не рассказывал подробностей о том времени. Когда война кончилась, он попал в руки наших особистов. Они долго мытарили его, выясняя, что да как рисовал, — старались это подвести под графу — «работал на немцев». Не получалось. Что-то не сходилось. Как уж они его там ломали, как жали

на него — неизвестно. Выпустили. Он кончил Академию, стал писать картины. Талант его был таков, что сразу выделил его. Мы познакомились, когда М. был уже известным, заслуженным, лауреатом. Картины отмечались на выставках, их покупали музеи. Слава его росла. Критики радовались своеобразию его дара, хвалили его экспрессию, цветовые решения. Несмотря на наши дружеские отношения, М. держался замкнуто. Я заметил, что и от коллег он как-то дистанцируется. По своему характеру он был лидер, лидерство его признавали, и все же ему не хватало открытости. Не знаю, что способствовало нашему сближению, может, солдатское наше прошлое, может, то, что я был из другого цеха. Со мной он иногда приоткрывался. Однажды в мастерской он вытащил откуда-то из верхних стеллажей два полотна, поставил их передо мной: «Вот как я начинал». Это был тот же М., но наивнее, зато ярче и с какой-то лихой фантазией. Толпы счастливых уродцев смотрят с обожанием, что-то кричат, охваченные восторгом ненависти. И еще пейзаж со старыми разохшимися лодками. Щемяще грустный, почти безнадежный.

Чем больше мне нравились обе картины, тем сумрачнее становился М. Ему самому нелегко было смотреть на них.

— Я тогда ничего не хотел доказать, — сказал он.

Я не понял, что значат эти слова. Тогда он раздраженно пояснил:

— А теперь я все время стараюсь доказать свою преданность. Чтобы не подумали. Я, мол, с вами.

До конца дней своих он доказывал. Конечно, могучее его дарование сказывалось на всех работах. Но теперь, когда я увидел ранние его вещи, впечатление было такое, словно он говорит не на своем языке, запинаясь, с акцентом, с трудом подыскивая слова.

Когда по ходу своей работы ученому удастся приблизиться к открытию, ухватить истину, он преображается, его уже не остановить, никакие посторонние соображения его не интересуют. Его работа может привести к конфликту с дирекцией,

со своими коллегами, с авторитетами — ничто его не страшит. Более всего меня поражали изобретатели. Их настойчивость, энергия превращали их в одержимых. Они были одержимы очевидностью своего создания. Они его видели, они убедились в его полезности, и теперь они готовы были на все, они боролись, они доказывали, они обличали противников; их выгоняли с работы, их объявляли психами, сажали в сумасшедший дом. Устрашить их было невозможно... Как Дон Кихот, они сражались до конца, с любыми противниками — с министрами, академиками, — во имя своей Дульциней — какой-нибудь новой краски, прибора, сверла.

XXI

— Что для вас самое страшное? — спросил я у Гали.

Она помедлила с ответом всего секунду-другую:

— Одиночество!

Достаточно откровенно она рассказала, как разошлась с мужем и теперь боится остаться без друга. Мужчины кругом нее, как правило, грубы, скучны, примитивны, время идет, ей уже тридцать восемь лет, выглядит она неплохо, но поддерживать вид все труднее. Ей грозит одиночество. Пока что она живет с надеждой, погаснет надежда, и тогда будет совсем плохо. Она не представляет одинокой женской жизни, когда не о ком заботиться. Нет, нет, ей не хочется даже вообразать эту тьму.

Женщины больше мужчин страдают от одиночества. Нетяготы повседневной жизни их пугают, в этом смысле они приспособленней мужчин, они бегут одиночества, их гонит древний инстинкт незащитности, ощущение ненужности — магнит, которому некого притягивать... Многое соединяется в их страхе.

Мужчина в одиночестве остается мужчиной, женщина, приговоренная к одиночеству, теряет себя, она терзается, но и в этом ее превосходство, ее гуманность.

Предо мною другая судьба, другой пример бегства от одиночества. Надя Б. никогда не была замужем. В молодости был один друг, второй, третий. Женская биография ее была не хуже, чем у подруг. Были родители, родные. С годами круг близких редел. У нее завязался роман с прелестным человеком, увы, женатым. Они любили друг друга, и Надя была счастлива. Она не покушалась на его семью, не добивалась развода. Она довольствовалась положением любовницы и друга. Ситуация распространенная. Мне встречались такие женщины, которых вполне устраивала эта мнимость семейной жизни, в ней они находили даже свои преимущества. Дальше с Надей Б. происходит следующее — ее любовник умирает. Внезапное одиночество обступает ее. Смысл дальнейшей жизни теряется. Друзья, товарищи, работа — все теряет цену. Она еще полна сил, но почва уходит из-под ног, не за что зацепиться. Она понимает, что погибнет, она не хочет уходить из жизни, откуда наступит конец — неизвестно, то ли она заболеет, то ли произойдет несчастный случай, не важно, важно, что она обречена. Чувство неизбежности чуть не свело ее с ума, но тут она заболела раком и через год умерла. Перед смертью она сказала мне: «Теперь не страшно, меня пугала неизвестность, теперь все определилось».

XXII

Душа человека многослойна. В сокровенных ее глубинах живет страх, тоска, ужас перед будущим. Страх этот неопределенный.

Природа беспричинного страха мало изучена. По мысли Хайдеггера, этот страх (по его словам — ужас) связан с соприкосновением с Ничто. Подобное когда-то испытал каждый. Я помню жуткое это внезапное чувство, когда вдруг передо мною предстает Ничто. Его посещение никак не связано с боязнью чего-то конкретного. Обычный страх так или

иначе идет от определенных причин, он как-то очерчен. При ужасе весь существующий мир проваливается в это Ничто. Оно доисторично, довременно, оно оттуда, когда еще ничего не существовало, оно есть край сущего. Делается жутко. «Не остается ничего для опоры» (Хайдеггер). Земля ускользает из-под ног. Исчезает все: и прошлое, и будущее, все люди, предметы — все поглощено Ничем. В нем нет ничего, чем его можно было бы определить, и тем не менее оно надвинулось и приоткрылось.

Этот отвлеченный, чистый ужас уходит сам по себе. Его и спугнуть-то нечем, любая мысль тонет, растворяется в нем.

Он как напоминание о небытии мира.

Действие, борьба — невозможны. Человек ждет, как ждут осажденные исхода битвы, сами не в силах участвовать в ней. Так ждет заточенный своей участи, не ведая, что решат судьи.

Христианская религия показывает, как Христос перед казнью погружается на самое дно человеческого страха. В Гефсиманском саду он бродил одиноко, охваченный ужасом и тоской. Страх настиг его. Проливая слезы, он обратил моление к тому, кто мог спасти его от смерти. Священное Писание говорит, что он пережил в себе одним страх праведных всех времен. Естественный страх перед пытками и смертью он испытывал, как все люди, как слабые и малодушные, и эти скорбные минуты делают его близким любому человеку. Смертное бремя происходило во тьме старого оливкового сада. Христос испытал там весь ад богооставленности. Холодные звезды лишали его последней надежды. Он добровольно должен был спуститься в бездну. Человеческое сознание Христа изо всех сил противилось ожидавшему его распятию.

Но вот он встает, найдя в себе силы, и безбоязненно встречает свою судьбу. Земной поддержки он не нашел. Он обрел ее на небе.

Все Священное Писание призывает человека пребывать в страхе Божьем. Говорится, что страх Божий — начало мудрости, а Мудрость среди даров Духа Святого стоит первой.

Страх Божий не имеет ничего общего с рабской боязнью. Перед явлениями грандиозных сил Природы человек ощущает свое полное ничтожество. Самомнение современной цивилизации исчезает. Человек остается один, познавая грозное величие некоего присутствия, как бы гнев Неведомого. Страх перед стихийными бедствиями отличается от религиозного страха. Космические явления напоминают как бы о высшей силе, религиозный страх есть страх сыновний, боязнь оскорбить Бога. То есть в этом сыновнем страхе присутствует любовь, которая поглощает страх.

Всякий признак страха перед грозной силой Всемогущего для верующего человека исчезает, уступая сыновней заботе о том, чтобы в мире осуществилась Божья воля.

Сыновний страх современному человеку кажется малозначащим, ниспровергнутым. Между тем эта сыновняя любовь к Богу защищает истинно верующих. Страх предполагает наказание. Тот же, кто любит, не боится кары. Любовь делает его бесстрашным. Есть две категории людей. Те, кто живет по закону любви, они не боятся; веруя, они носят в душе страх Божий, высший страх. Этот страх, начало премудрости, освобождает их от рабской боязни перед низшей силой и ее проявлениями. И есть люди, которые не могут возвыситься над законами страха.

XXIII

Трус делает себя трусом, трус ищет страх, герой делает себя героем, находя способы одолеть страх, или он вообще не видит его. Для труса есть те же самые возможности не быть трусом, как и для героя — уклониться от геройства. Но речь идет не о частных случаях, а о поведении, о линии жизни.

Большинство людей трусливы не от рождения, виновата не их наследственность. Есть давление среды, обстоятельства

истории. Все эти причины существуют, они позволяют утешаться: «Мы тут ни при чем, такова жизнь». Ответственность как бы снята. На самом деле страху чаще всего уступают, от мужества отрекаются. Короленко, направляя свои письма Луначарскому против большевистского террора, обвиняя коммунистов в жестокости, совершал лишь то, что считал для себя обязательным. В жизни он был мягкий человек, отнюдь не склонный к героизму. Почти так же субъективно не ощущали себя героями Иван Петрович Павлов или Владимир Иванович Вернадский. Они не осознавали собственную смелость или отчаянность вызова властям, выступая против репрессий. Ими двигало понятие чести, справедливости.

Трус подспудно всегда ощущает стыд как свою виновность в том, что он трус. Человек переносит свою несостоятельность, защищаясь ходовыми рассуждениями о том, что бесполезно было бороться, ничего изменить нельзя, такова система: «Я смирился, потому что все смирились».

Папа Римский Иоанн Павел Второй выступил с призывом: «Не бойтесь!» Он имел в виду, что «Бог хочет спасти человека, хочет, чтобы человек осуществился в той мере, которую Он Сам замыслил для него». Поэтому, говорил он, не бойтесь переступить порог надежды, позвольте себя вести. «Чтобы освободить современного человека от страха перед самим собой, перед силами этого мира, нужно, чтобы человек лелеял в душе страх Божий».

Высший страх Божий был у пророков, они не боялись провозглашать истину Божью, чего бы это им ни стоило.

Повсюду, куда пошлю тебя, пойдешь
И все, что повелю тебе, скажешь.
Не бойся никого. Я с тобою,
Чтобы тебя освободить.

(Иер. I: 7–8)

И они действительно шли сквозь все препятствия, бесстрашно держались под пытками.

Страх Божий для них был надежной защитой от страха перед людьми. Они сделали выбор, для них страх перед людьми — недоверие к Богу.

Верующий человек держит перед собою эти примеры.

Скажи Господу: «Оплот мой, моя сила,
Ты — Бог мой, на Тебя уповаю!»
Ибо Он избавит тебя
От сети ловчей
И от язвы губящей,
Осенит тебя Своими крылами,
И под сенью перьев Его утаишься.
Щит твой и доспех твой — Его верность.
Не убоишься ни страха ночного,
Ни стрелы, во дни летящей,
Ни язвы, крадущейся во мраке,
Ни мора, губящего в полдень.

(Пс. 90)

Священное Писание понимает Страх Божий как добродетель, как счастье и мудрость. Таков один из основных мотивов Ветхого Завета.

В Притчах сказано, что «Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти».

«Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в Страхе Господнем, потому что есть будущность и надежда твоя не потеряна».

«Боящийся Господа ничего не уstraшитcя и не убоится, ибо он — надежда его».

XXIV

«Блаженна душа, боявшаяся Господа»

Книги Исаяи, Псалмы, книги Иисуса, сына Сирахова — все они углубляют, утверждают понятия Страха Божьего как средства от страхов земных, как возможности человека возвыситься над своими слабостями, ужасами.

Как бы обобщением всех высказываний звучат слова в Книге Исхода:

«И сказал Моисей народу: не бойтесь, Бог к вам пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был перед лицом вашим, дабы вы не грешили».

Новый Завет показывает, что все же следует бояться людей, если им поддаешься, теряешь внутреннюю свободу. В Евангелии от Матфея говорит Христос:

«...Не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узвано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях...» (Мф. 10: 26–27).

Он говорит — боятся убивающих тело, но бояться надо убивающих душу.

Священное Писание уделяет много внимания человеческим страхам. Философы, которые специально исследовали природу страха, — Кьеркегор, Шеллинг, Уайлдер — опирались прежде всего на Библию.

Обыденное сознание зачастую уверено, что религия держится на страхе наказания. Картины ада должны устрашать, удерживать от греха. Система простая — будешь хороший, добродетельный — попадешь в рай. Плохой — в ад. Страх вечного огня, мук должен делать человека лучше. Нравственность диктуется страхом. Такое упрощение не раскрывает причин религиозной веры. Спасает не страх кары. Спасает вера в Бога, любовь к нему. Религиозный человек боится не ада, не Геенны огненной, он боится Бога. Страх Божий связан не с наказанием, верующего останавливают страх и стыд потерять Божию любовь. Для верующего этот страх сильнее котлов с кипящей смолой, в которых его обещают без конца варить.

Обычный человек — это арена борьбы добра и зла, страха и отваги. Их поединки у каждого проходят по-своему. Достигнуть свободы можно, лишь преодолев страх.

Одни отступают перед насилием, перед могуществом зла, его искусом, присоединяются к запуганному большинству,

которое так необходимо власти. Другие вступают в борьбу за себя, за свою человечность. И те, кто не призывает Бога, борются в одиночку, борются с переменным успехом, но не прекращают своей борьбы. Не пассивное принятие судьбы — свобода приходит к ним как активное принятие всей ответственности за свою судьбу. Быть самим собою, к чему бы это ни привело, — в этом смысле человек богоподобен. И эта свобода трудна и трагична, ибо не на кого и не на что перекладывать бремя ответственности за свои поступки.

1997

Немецкий лейтенант и его дочь

1

В 2004 году меня пригласили в Берлин на открытие выставки, посвященной блокаде Ленинграда. Выставка была небольшая, но тщательно сделанная: много неизвестных мне фотографий блокадного города, черный рынок, льготное снабжение начальства, документы командования вермахта, неведомые мне рисунки художника Я. Рубинчика.

Там были примечательные гитлеровские обоснования блокады: «...мы доводим до сведения всего мира, что Сталин обороняет Ленинград, как крепость. Таким образом, мы вынуждены рассматривать город со всем его населением в качестве военного объекта». Были донесения командиров немецких дивизий, разведгрупп о том, что творится в голодном городе. Впервые я увидел портреты немецких генералов армии, корпусов, фамилии, смутно памятные мне с фронтовых лет. Немецкие листовки, брошюры...

Печатается по: *Гранин Д.* Интеллегенды. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2007. С. 76–86.

Первая часть впервые опубликована в «Российской газете» от 1 апреля 2005 года. Вторая часть под заголовком «Признать вину отца и не отречься» опубликована в «Российской газете» от 8 сентября 2005 года. Публикацию готовила журналист Наталья Шергина.

Самым же интересным были письма лейтенанта Хейнера Гейнца, командира пулеметной роты. Они располагались примерно напротив участка нашего батальона. Местами нас разделяло сто-полтораста метров. В тихую погоду доносилась немецкая речь. Иногда немцы без всякого радио кричали нам: «Рус, иди к нам булку кушать!» — и поднимали над окопом наколотую на штык булку. Была зима 1941 года, затем весна 1942-го — самое голодное, страшное время. Мы ползали ночью по заснеженным полям на нейтралке, пытаюсь выковырять из мерзлой земли мороженые листья капусты, кочерыжки. Все это время лейтенант аккуратно, каждые три-пять дней писал домой жене. Он писал с начала своей военной службы — с 1935 года, в походе во Францию, затем с начала похода в Россию. Сохранилось всего 125 писем, из них выставлена была только часть — около двадцати.

Обычно нас привлекают сами экспонаты, мы редко задаемся вопросом, откуда они попадают на выставку. Но тут мне показалось любопытным именно их происхождение: ведь это частная переписка, как они сохранились, и то, как их разыскали... Я вспомнил свои треугольники, написанные карандашом (откуда взяться чернилам в землянках). Несколько из них чудом сохранила жена через бомбежки, эвакуации, пожары, — карандашный след давно стерся, мало что можно разобрать. Тут же все выглядело как нельзя лучше: и почтовая бумага, и почерк, и чернила. На фотографии лейтенант предстал молодым, крепким, привлекательным, чистенький мундир сидит на нем ловко, без единой складки, сшитый на заказ.

«Вчера пала Одесса, наши войска стоят у ворот Москвы. Иван на исходе своих сил. Нас ожидает спокойная зима», — пишет он 17 октября 1941 года.

Он не сомневается, победа для него очевидна. Я попытался вспомнить свой октябрь 1941 года. Вспомнилось только общее расплывчатое ощущение — страх за Москву, ужасный страх, и что потом будет с Ленинградом, и все это на фоне совершенно необъяснимой уверенности в нашей победе.

Через две недели тем же ровным почерком лейтенант Гейнц сообщает супруге: «Петербург окружен и голодает. Ежедневная норма хлеба составляет лишь 100 граммов. Мясо и масло давно кончилось. У нас время есть, если сегодня не хотят сдаваться, то через четыре-шесть недель уж точно».

Он в полном восторге: «Гению фюрера все подвластно. Мы должны быть ему вечно благодарны».

Командование вермахта докладывало: «С помощью артиллерии и авиации мы разрушаем город, насколько это возможно».

Это была правда. С утра над нами летели на город бомбардировщики. Эскадрилья за эскадрильей. К полудню начинался обстрел, воздух наполнялся мягким шелестом снарядов, они пролетали невидимые, огромные, калибра 150, не меньше. В одни и те же часы, когда на улицах народу было больше, когда шли за водой, шли с работы.

«Иван постепенно смиреет, стреляет лишь изредка, его пища становится все хуже... Поляк и француз сдаются, когда их положение безвыходно. Англичанин бьется до самого конца, но русского же надо забивать до смерти».

Вермахт отлично знал, что происходит за кольцом блокады. Командование спокойно уничтожало голодом население. Наблюдали, ждали, пока вымрут. Голод был лучшим оружием.

Письмо в ноябре 1941 года: «После последней попытки прорыва русские заметно поутихли. Порция хлеба солдат сокращена до 400 граммов. Перебежчиков становится все больше. Но народ упрям и стоек, так пусть они там и умирают с голоду».

Декабрь 1941-го: «Когда город падет, несомненно, половина жителей вымрет».

Февраль 1942-го: «Хотя мы не рассчитывали на скорое падение Петербурга, эти сволочи сдаваться не намерены, но они вынуждены будут... медленно умирать от голода».

А через несколько дней: «Дорогая моя Ленеке! Ты хотела узнать, как нас кормят: каждый день 50 г масла, 120 г колбасы,

125 г мяса, еще рис, горох, макароны. Кроме того, натуральный кофе, чай, шоколад, сигареты, консервированные фрукты, конфеты и другая вкуснятина».

В кожаных перчатках он наблюдал в полевой бинокль с позиции под Пушкином, и ему, и нам был виден на горизонте город, видно, как поднимались в небо черные столбы дыма, город выедали пожары.

«Погода стала более сносной, а Иван слабеет, на нашем участке резервов у него больше нет». Действительно, у нас в батальоне на два километра осталось человек сто — сто двадцать, из них многие стали доходягами. Невозможно никому объяснить, как мы могли чистить окопы, ходы сообщения от снега, как несли службу, таскали пулеметы, патронные ящики, снаряды.

«Итак, дело идет к концу. Хотя мы не рассчитывали на скорое падение Ленинграда — эта сволочь сдаваться не намерена, — но они вынуждены будут оставить нас в покое и медленно умирать от голода. Через месяц начнется потепление, и тогда дело будет сделано. Постоянно с любовью думаю о тебе, моя хорошая Ленекен. Твой Гейнц».

Голодная смерть сотен тысяч горожан его не смущает, он ее торопит, скорее бы они передохли. Не все офицеры вермахта так настроены, командующему группой «Север» генерал-фельдмаршалу фон Леебу претит мысль, что он командует войсками, которые не столько воюют, сколько заняты «полицейской операцией» удушения гражданского населения. Он неоднократно признает это в своем дневнике. Кончается тем, что он подает в отставку.

Осмотрев выставку, гости собрались в зале, выслушали рассказ о концепции выставки, и затем произошло то, из-за чего я принялся за этот рассказ: выступила дочь покойного лейтенанта Гейнца — Инге Франкен.

Он погиб 5 мая 1942 года от ранения в голову.

Траншеи у немцев и у нас были полны ледяной воды, земля еще не оттаяла, и немцы, и мы то и дело попадали под обстрел. Обстоятельства гибели Х. Гейнца вряд ли отличались

особенностями, но в семье установился культ героя, исполнившего свой долг. Мать регулярно читала дочкам письма отца с фронта. Читала, а потом перечитывала. Инге росла с гордостью за отца. Память об отце была для нее священна. Но иногда она замечала, что мать, читая, делает пропуски. После смерти матери она решила перечитать письма. Мешал готический шрифт. Она освоила и этот шрифт, и отцовский почерк. И тогда образ отца стал открываться перед ней заново, он менялся.

Как это происходило, не знаю, мне следовало бы потом, после всего, расспросить фрау Франкен подробнее. Она рассказывала сдержанно, выступление давалось ей нелегко, наверное, поэтому я не решился к ней обратиться. Немолодая, чуть седеющая, еще красивая женщина, она твердо вела рассказ, так что можно было представить, сколько ей стоило сил переосмыслить свое отношение к отцу, свое понимание прошлого. Годы ушли на внутреннюю работу ее души. Можно лишь догадываться, как труден был путь, проделанный дочерью, чтобы отстраниться от своего отца. Что заставило Инге Франкен выйти к этому переполненному залу со своим признанием, беспощадным по отношению к отцу, да и к матери? Отдать на выставку те его письма, где он, бывший учитель, руководитель местного гитлерюгенда, предстает убежденным нацистом, разделяющим планы уничтожения «Ивана», славян Восточной Европы...

Впервые я услышал такое публичное откровение, сдержанно-беспощадное, в сущности, она попрощалась с тем отцом, которого любила, которым гордилась, росла с ним с детства, прощалась и с той собой. Она держалась не прокурором, не творила суд, отречение доставляло ей боль, зачем она это сделала? Зачем?

Она кончила говорить. Наступила тишина.

Ее рассказ нельзя назвать покаянием. Это было нечто иное, выстраданное, что не умещалось в груди, рвалось, и мы все в зале вдруг соприкоснулись с этим жгучим, обращенным к нам из сокровенной глубины чувством.

Ее мужество заставляло оглянуться на собственную жизнь. А собственно, чего ради? Сразу появлялся этот вопрос. Ее чувство можно было считать совестью, но название ничего не объясняло. Какие права у совести, почему она может заставлять? Пример Инге Франкен невольно порождает вопрос за вопросом, ведь куда лучше жилось бы ей, если бы это чувство не мучило ее, если бы его отбросить, не считаться с ним. Так нет ведь. Живет в нас какой-то судья, оценивает наши поступки, как говорится, совесть-то с молоточком. И постукивает, и наслушивает, и никак не заглушить ее. То есть, конечно, можно ее зажать, что все будет нипочем.

То, что произошло с дочерью лейтенанта Гейнца, хочется понять как нравственное стремление, дарованное всем как бы свыше, а не принадлежность сугубо личную, свойство врожденное, подобное таланту. Вроде оно должно быть у каждого, так хочется думать. Марксисты доказывали, что природа совести социальна: у бедных одна, у богатых другая, разная у демократов и анархистов. Если бы это хоть что-то объясняло. На самом деле она грызет человека, не спрашивая его партийность, религию. Никто толком не знает, что есть совесть, может быть, она свидетельствует о существовании души, она ее принадлежность, она показывает уровень ее развитости.

Жить с послушной совестью хорошо, да умирать плохо. Однако ныне не принято к смерти готовиться, день наш — век наш, тем более что совесть уговаривать научились, и совесть отдельного человека, а то и целого народа. В свое время у нас партийная идеология амнистировала совесть — все делалось «во имя государства» — ответственность с личности была снята, человека избавляли от угрызений совести, и он охотно пошел на эту сделку.

Бывает, когда-нибудь совесть очнется и предъявит права, а бывает, что и минет. Но, слушая дочь лейтенанта Гейнца, я думал, что все же возмездие настигает, не отцов, так детей, и через внуков зло должно как-то уничтожаться, иначе оно поглотит мир. Часто нам видится, как зло торжествует, и надолго, побеждает несправедливость, подлецы, преступники

благоденствуют безнаказанно до конца своих дней. Все так. И все же зло относительно, в то время как добро абсолютно. Рано или поздно добро, казалось бы бессильное, наивное, оказывается неодолимым, совесть, с которой никто не считался, берет свое, и она выносит свой приговор. Так произошло и с дочерью лейтенанта Хейнера Гейнца спустя 62 года после его гибели на Ленинградском фронте.

2

После публикации очерка я получил из Берлина письмо от моей героини Инге Франкен — единственный отклик. В письме, в котором она просила разрешения приехать ко мне, Инге писала: «После обнародования его мыслей и поступков (речь идет о ее отце. — Д. Г.) я не освободилась от своей любви к отцу. Скорее, наоборот, только сейчас я начинаю чувствовать какое-то дуновение любви к нему и могу допустить это чувство.

После того, как я достоверно и без прикрас знаю, что он думал и как он поступал. Когда я была молодой, любовь к такому отцу с моей стороны была абсолютно невозможна, только ненависть и гнев за то, что он оставил свою жену и детей ради фашистской идеологии. Публичное выступление принесло мне облегчение, и сейчас я живу гораздо лучше, чем с умалчиванием, ретушированием и фальсификацией фактов».

Я писал, что Инге отказалась от отца. Я был во власти ее выступления. Горечь признания, эмоциональная сила ее слов — все воспринималось однозначно, как итог. На самом деле работа ее души продолжилась. Раз начавшись, работа эта не могла остановиться, пробиваясь в глубины своего нравственного чувства. Возможно, в ней возникла жалость. Жалеть — скорбеть сердцем над участью, над заблуждениями, над малодушием, да мало ли. Отсюда и «дуновение любви»,

и возвращение к отцу, но уже к другому: к преступнику, осужденному ею самой. Жалость не снимает вины, не побуждает оправдывать. Но ведь и осужденный достоин скорби и милосердия.

Любопытно, что понятие «милосердие» плохо переводится на другие языки, оно чисто русское. Итальянское слово «*misericordia*» имеет религиозную составляющую, в немецком «*barmherzigkeit*» отсутствует чувство сострадания, обязательное в русском «милосердии». Однако и по-русски не просто изложить ту работу, какую одолевала душа Инге Франкен: от детского культа отца-героя к осуждению отца-преступника, родного человека, в обстоятельства жизни которого она, дочь, много лет старалась вникнуть.

Сыновья Лысенко, Жданова, Маленкова, Берии опубликовали свои воспоминания. Каждый из них хочет обелить деятельность своего отца. Маленкова показывают как жертву Берии и Жданова, Берию как жертву Хрущева и т. п. Ссылаются большей частью на рассказы своих отцов. Желание защитить репутацию отцов вопреки всем данным истории, документам оборачивается против авторов. Берия и Маленков были организаторами «Ленинградского дела», по которому расстреляны руководители Ленинграда, а тысячи других невинных людей были сосланы в лагеря. Я встретился с Г. М. Маленковым, когда он уже стал пенсионером, и меня поразило, что он ушел в религию. Может быть, хотел отмолить свои грехи, не знаю. В таком случае книга его сына не восстанавливает чести отца, а сводит ее на нет.

Детям авторов репрессий кажется, что они защищают родительскую честь, выглядит же это личной выгодой, желанием обрести вместо преступников родителей заслуженных, однако нравственность и выгода — разные категории.

В записках одного из учеников Лысенко он изображен как примерный семьянин, непьющий, не антисемит, трудолюбив, добр. На уровне микроэтики достоин уважения. Наверное, и он, и Маленков, и другие были хорошими отцами. Но существовала макроэтика того же Лысенко. На этом уровне он

беспощадно расправлялся с не согласными с ним генетиками, использовал свою власть, чтобы изгнать их с работы, способствовал репрессиям, физическому уничтожению. На его совести гибель Николая Вавилова. Таков был уровень его макроэтики. Оба уровня совмещаются в одном человеке и часто путают его образ. Сыновья хотят воспринимать отцов на уровне микроэтики, не видеть их злодеяний, которые творились всего лишь в борьбе за власть и, конечно, во имя святой идеи.

Мужество выступления Инге Франкен, ее нелегкая, выношенная честность убеждали в том, что она подвела черту, рассчиталась со своим детским заблуждением, с семейным культом. Что она осудила отца по всем законам справедливости.

На самом деле приговор хотя и был окончательный, но старый спор между справедливостью и милосердием продолжался. На стороне справедливости закон, политика, потребность возмездия, да мало ли. Милосердие — оно одиноко, оно потребность совести, никому не видимое глубокое нравственное чувство. Все это понятия зыбкие, казалось бы необязательные. Справедливость не отменяет ни чувства сострадания, ни милосердия.

Может быть, Инге почувствовала свое старшинство. Сегодня она много старше своего отца и смогла увидеть тогдашнего молодого лейтенанта иначе. Через опыт истории послевоенной Германии, денацификации, становление демократической жизни. Она относится к нему, умудренная печалью своих лет. Не знаю, может, в сердце ее появилась жалость к отцу-жертве, продукту нацистской идеологии.

Какой, вероятно, резонанс вызвало бы у нас выступление, подобное заявлению Инге Франкен, одного из потомков бывших организаторов советских репрессий. Конечно, и в Германии это было явлением единичным. Хотя Инге пишет: «Я знаю и других людей, идущих по похожему пути. Их, конечно, не большинство, но иногда встречаются».

Мы любим говорить о нашей духовности. На самом же деле проблема совести, одна из самых больных, сегодня не вызывает в обществе ни отклика, ни интереса.

Фрау Франкен сообщила мне также, что она приехала не только ко мне, но и поедет в Старую Руссу разыскивать могилу своего отца. Я спросил, что ее побудило это сделать. Вопрос не деликатный, но мне важно было услышать ответ. Ясно ответить она не смогла, и это тоже было важно. Формулировать, объяснять такие порывы души трудно, почти невысказуемо. Осудить отца ей было проще. Тем более что согласие на это дала ее 91-летняя мать. Налицо были нацистские взгляды Хейнера Гейнца, его презрение к русским недочеловекам. Куда мучительнее было сделать следующий шаг — взять на себя ответственность за него.

Вот тут Наталья Шергина, с которой мы обсуждали эту ситуацию, резонно спросила: «Позвольте, это ведь родители должны отвечать за детей, а не наоборот».

Как сказать. Никто не отменял понятие чести рода, чести фамилии. Честь заключается не только в защите репутации предков, но и в честности. Только кажется, что это понятие устарело, уверен, что оно возрождается и полностью возродится. Столько породил сталинский режим следователей-пытчиков, неправедных судей, доносителей, кто из них усовестился, кто думал о том, каково придется их детям? Осознавать зло, причиненное нацистом, приходящимся тебе родным человеком, трудно, стыдно. Тут легче всего промолчать. Или сменить фамилию. Чтобы признать вину отца и принять ее на себя, не отрекаясь от него, требуются честность и мужество совести. Она, Инге, ни в чем не виновата, виноват ее отец. Суд творят потомки. Дочь немецкого лейтенанта осудила гитлеровскую идеологию, которую проводил в жизнь ее отец, оказавшийся к тому же, как я узнал при встрече с ней, участником геноцида еврейских детей в Европе. Не просто осудила, но написала книгу об этих событиях «Против забвения».

Приехав в Питер, первым делом отправилась на Пискаревское кладбище. Мемориал произвел на нее сильное впечатление. Вина отца предстала наглядно — зелеными холмами, где лежат сотни тысяч блокадников. Голодную смерть ленинградцев ее отец приветствовал.

Ей было два года, когда он погиб на Ленинградском фронте. Конечно, она его не помнит. Собственной дочерней любви, сотканной из детских воспоминаний, у нее быть не могло. Образ отца был создан из его фронтовых писем, рассказов матери и родных. В этом смысле Инге легче было осознать его в качестве нациста отстраненно.

Обнародовав злодеяния отца, она, как мне кажется, не опозорила чести семьи, а, наоборот, подняла ее. В какой-то степени, отмолила. А вот далее долг или сердце подсказали ей, что она должна направиться под Старую Руссу и попытаться разыскать его могилу. Действия противоречивые, не так-то просто их соединить. Как все это сосуществует в человеческой душе?

Германия проделала большую работу по денацификации общества. Культура, искусство страны этому способствовали. Перемены заставили людей, в том числе фрау Инге Франкен, задуматься. Но государство не может понудить человека на душевный труд. История Инге — это заслуга ее самой. Путь от осуждения к состраданию, к «дуновению любви» занял годы.

В самом конце нашей встречи произошло неожиданное: фрау Франкен сделала мне подарок. Она протянула мне кожаный футлярчик, аккуратный, совсем как новенький. Внутри была складная металлическая стопка, позолоченная, на вид тоже совершенно новенькая. Инге сказала, что это вещь отца, ее прислали вместе с похоронкой и другими вещами погибшего. Офицерская стопка, из нее Хейнер Гейнц пил шнапс, наверное, за скорую победу. Пил во Франции, потом на Ленинградском фронте, в какой-нибудь сотне метров от наших

окопов. Мы пили воду из кружек, а то и из котелков. У меня ничего не сохранилось от фронтовой поры — ни одной вещи, ни приличной фотографии, ни алюминиевой моей ложки, ни планшетки. Жалко. И вот теперь появилось нечто, оттуда, словно из потусторонней жизни. Странно.

«Вещь врага?» — спросила меня Наталья Шергина.

Пожалуй, нет. Для меня это все же вещь его дочери. Семейная реликвия? Не знаю, какой смысл дочь Гейнца вкладывала в свой подарок. Я беру в руки эту стопку и думаю о человеке, который там, в 1941–1942 годах, стрелял в меня, в которого я тоже стрелял. Мог ли он представить, что его дочь преподнесет мне эту его вещь? А затем я вновь и вновь возвращаюсь мыслями к фрау Инге Франкен, к истории нелегкого и долгого восхождения ее души.

Строительство «Т»

САМ БЫ Я НА ЭТУ ВЫСТАВКУ НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЯ, прошел бы мимо. Не было у нее рекламы, называлась она неясно: «От Берлина к Германии», помещалась в небольшом зале, правда, в центре Западного Берлина, но посетителей было немного, совсем мало.

Клаус меня уговорил, обещал, что ничего подобного я не видел и понятия об этом не имею, не могу иметь...

Поначалу никакой необычности не было, наоборот, все показалось скучноватым. Висели какие-то старые архитектурные проекты. Дворцы, фасады неведомых мне зданий, строительные детали. Стояли гипсовые модели домов. Эскизы. Городские планы. Стенды с архивными документами... История архитектуры меня никогда не интересовала. Да я и не шибко разбирался в ампирах, барокко и прочих стилях. Так что я скучливо бродил по небольшому этому залу, ожидая, когда Клаус кончит свои пояснения моему приятелю, архитектору.

Зацепила меня одна фотография. На ней Гитлер вместе с архитектором Альбертом Шпеером (так гласила подпись) разглядывал модель какого-то сооружения под названием

Печатается по: *Гранин Д. Точка опоры*. М.: Изд-во АПН, 1989. С. 32–38.

«Гросс Халле». Физиономия Гитлера выглядела непривычно, была в ней мечтательная размягченность. Такого Гитлера я еще не видел. Белая модель сооружения представляла нечто странное: то ли ангар, то ли планетарий. Огромное полушарие вздувалось над распластанными под ним строениями. Гитлер смотрел на него влюбленно. Рядом на соседних эскизах и фотографиях узнавались контуры того же здания. Затем я обратил внимание на проект какой-то арки. Чудовищно огромной, раскоряченной на коротких опорах. Надпись сообщала, что проект сделан по авторской идее самого Гитлера.

И тут я вспомнил, что Гитлер считал себя архитектором по призванию. Кроме того, он был художником, писал картины, но прежде всего в нем жил гений архитектора. Несостоявшегося. И это не давало покоя. Наполеон, тот считал, что в нем гибнет великий математик. Нерон считал себя актером. Большинство тиранов и диктаторов, оказывается, хотели заниматься совершенно иными делами.

Набросок ворот Гитлер сделал еще в 1925 году. С тех пор идея этого сооружения не давала ему покоя. Она формировалась и росла в его мечтах. Он возвращался к ней вновь и вновь по мере того, как обретал власть. Это будет Триумфальная арка, настоящая Триумфальная, не то что арка Наполеона в Париже, потому что будет более чем вдвое выше ее, 120 метров в высоту! 170 метров в ширину! В три раза шире парижской! Он снова развивал перед Шпеером свои соображения, и наконец Шпеер в апреле 1939 года преподносит Гитлеру четырехметровую модель арки — сюрприз к пятидесятилетию. Гитлер был в восторге, не мог налюбоваться на подарок. На снимке изображено как раз это событие.

Альберт Шпеер был грамотный архитектор, но все предложения исправить безобразные пропорции арки он отвергал, защищая вкус фюрера.

Купольный дворец собраний, Гросс Халле, облаченный в камень и бетон, мог вместить в себя римский собор Святого

Петра плюс вашингтонский Капитолий. Он должен был превзойти все постройки, которые когда-либо воздвигались на нашей Земле. Главное — неслыханный размер. Размер — мерило величия, значимости, мерило архитектурного дара. Залы, вмещающие до 200 тысяч человек. Купол поднимается на 290 метров. Достигает Эйфелевой башни. Но то башня, а это здание! Диаметр купола 350 метров. Общая длина фасада полтора километра. Улицы, проспекты, которые отходят от Гросс Халле, будут иметь ширину полтораста метров. Невероятность. Оригинальность заключалась в размерах. Размеры заменяли красоту, архитектурные открытия — гармонию. Больше Капитолия, больше Колизея, больше собора Святого Петра! Больше — значит лучше, величина свидетельствовала о мощи, мощь внушала почтение, трепет, а это важнее любования.

Власть над миром должна иметь сооружения мирового масштаба. Это означало для Гитлера прежде всего размеры. Могущество — это размер. Впечатление — это размер.

На макушке купола будет сидеть гигантский орел германского происхождения и держать в когтях земной шар.

«Самое чудесное здание на свете, — восклицал Гиммлер. — Такого здания еще никто не видел!»

Обывателя, немецкого бюргера, легче всего поразить, подавить количеством кубометров, тонн, ступеней, лифтов, мест, светильников. Подавить стоимостью. Размахом... Это действует сильнее игры светотени, пластичности, легкости, изящества и прочих тонкостей. Впрочем, почему только на немецкого, на любого обывателя действует.

Гиммлер далее сообщал: «В подземелье будет такое помещение, которое по мощи и великолепию превзойдет все, что планировали и строили фараоны. Придет день, когда там будет стоять гроб Гитлера. Золотой саркофаг, украшенный уральскими самоцветами. Лишь такой зал будет достоин стать последним прибежищем создателя Великой Германской империи».

Роскошь, великолепия — вот еще что надо для преклонения. Самоцветы будут уральские, ибо Урал должен стать восточной границей тысячелетнего рейха.

Насчет гробницы для Гитлера окончательного решения не было. Рассматривались варианты — в Линце, городе его юности. Или построить пантеон в Мюнхене. Тоже гигантский.

Рядом с моделью Гросс Халле на выставке стояла, сделанная в том же масштабе, модель старого Рейхстага, со всеми его колоннами, пилястрами. Того самого Рейхстага, который стал финишем войны. Я ее не сразу увидел, такая она была незаметная. Перед новым монстром Рейхстаг выглядел карликом. Известное своей мрачностью огромное здание Рейхстага, символ прихода фашистов к власти и символ их бесславного конца, сейчас в сравнении с гипсово-белым Гросс Халле казался бонбоньеркой, а Бранденбургские ворота — прямо-таки веселенькой калиткой перед гигантской пастью Триумфальной арки.

Бледногладкий, как опухоль, Гросс Халле должен был вздуться над Берлином. На четыре стороны света от дворца — широченные магистрали, уставленные громадами министерств, канцелярий, ведомств, банков, бесчисленные учреждения рейха, которые будут вестись землями и народами покоренных стран, великой империей. Одно здание внушительней, чванливей другого. Высшее командование вермахта, дворец фюрера, вокзалы... Столица Третьего рейха будет называться Германией. Вот откуда получилось название выставки — «От Берлина к Германии».

Елисейские Поля в Париже — двухкилометровый проспект, который ведет к Триумфальной арке. Главный проспект Германии будет иметь длину пять километров.

Шеренги зданий стояли как на параде. Их прерывали километровые паузы площадей. Грохот барабанов и трубы. Каменная инсценировка вечной незыблемой власти. Человек

чувствовал себя пылинкой. Так и надо, принижать, давить! Чтобы стал тварью дрожащей, ничтожеством, чтобы слушался и поклонялся.

Будучи в Нюрнберге, я обошел здание, где проходил Нюрнбергский процесс. Серое-пресерое, скучное, длинное, оно до сих пор занято судом. Невыразительность этих вытянутых корпусов разочаровывает: вот, значит, где происходил суд народов над фашизмом, вот где все кончилось. В этой невзрачной постройке и завершился финал безумных мечтаний, проектов невиданной мировой империи, вот где они отрекались от своих дел, замыслов, от своего фюрера — заправилы, идеологи, вершители судеб народов, где предстали в последний раз перед миром и перед Германией ничтожность этих вождей и кошмар совершенного... Я подумал, что, может, в заурядной, лишенной всякой торжественности внешности Нюрнбергского суда есть немалый смысл.

Я шел как бы обратным ходом: от суда на партейгеленд — от конца к началу. Плац выложен гулками железобетонными плитами. Железобетонные трибуны сходятся к прямоугольным порталам Главной Трибуны, самой главной трибуны рейха. По проекту она должна завершаться фигурой, которая выше статуи Свободы.

Из швов сквозь толщу бетона пробивалась трава. Нежные стебли раздвигали многотонные плиты. Трава забвения трудилась денно и нощно. Где-то под железобетонной колоннадой существовал Золотой зал. Стоя перед трибунами, еще можно как бы услышать крик Гитлера. Освещенный снизу прожекторами, он возвышался перед микрофонами — единственный, величайший, не знающий себе равных, — вся страна изощрялась в сравнениях, в эпитетах восторга и преклонения. Артисты, писатели, журналисты, поэты соперничали в кипящих парах энтузиазма. Они верили в непогрешимость, в гениальность этого недоучки. С плаца тысячи глаз, шеренги голубых, незамутненных сомнениями и вопросами глаз

устремлялись к нему с обожанием. Что они видели в своей ослепленности? Вернее — неужели они ничего не видели?

Бетон растрескался, крошился, какую-то неприязнь источает заброшенность этих мест. Хотя стадион используется американскими солдатами для игры в бейсбол и на трибунах устраивают рок-концерты и мимо трибун мчатся автогонщики, но все равно тень кровавого прошлого витает тут. Так в Берлине, на пустыре, где когда-то находилось здание гестапо, до сих пор ощущается зловещая тяжесть этого проклятого народами места, этого страшного куска земли.

Архитектура — единственное из искусств, где еще уцелел и выставлен на обозрение фашизм. Он — в этой нюрнбергской бетонной колоннаде, в прямоугольных массивах, рожденных казарменным размахом Альберта Шпеера. Муштра, отлитая в бетон, бездушные геометрические громады, которые сами собой переходят в слитные отряды человеческого мяса, орущего «хайль!». Архитектура, которая требует мундира. Здесь можно пребывать лишь в строю. Фашизм уничтожен, осталась его архитектура. Музыку гитлеровских композиторов не исполняют, романы времен рейха позабыты, полотна и статуи покоятся в запасниках; время от времени их посылают на выставки убожества и вырождения искусства. А вот выстроенные фашизмом сооружения по-прежнему стоят, равняются, выпятив каменные груди.

Здание партийных съездов недостроено — не успели. Съезды нацистов были не похожи на те съезды, где обсуждаются партийные дела. Съезд был большим шоу — со световыми эффектами, парадами, истошными призывами вождя, исполнением маршей, овациями, демонстрацией преданности.

На этих гигантских пространствах все столь велико, тяжело, массивно, что человек неизбежно чувствует себя букашкой. И хотя нынешнее время старается превратить этот район в парк, несоразмерность остается. Лишь утки чувствуют себя на большом пруду привольно.

На фотографии Гитлер разглядывал план нового Берлина. Позади него стояли Геббельс, Шпеер, Геринг.

«Ваш муж создает для меня такие здания, — писал Гитлер жене Шпеера, — которые не были сооружены четыре тысячи лет».

Очевидно, он имел в виду пирамиды египетских фараонов.

На карте Берлина синим заштрихованы площади новых запроектированных кварталов Германии. Тень легла на столицу. Карта была секретной. Столица ничего не знала. Мечта Гитлера должна была начаться с разрушения старых кварталов.

Война не остановила гитлеровских зодчих. По мере того как немецкие солдаты занимали одну за другой европейские столицы, активность зодчих возрастала. Брюссель, Прага, Копенгаген, Белград, Париж превращались в провинциальные города. Берлин, то бишь Германия, становился столицей столиц. Для Гитлера и его соратников победа в войне казалась непреложной. Настолько, что в 1939 году, одновременно с тем, как немецкие дивизии перешли границу Польши, начались подготовительные работы к строительству Гросс Халле. Взрывали дома, готовили площадку. В 1942 году в карьеры Европы погнали заключенных заготавливать гранит и мрамор. В полосатых арестантках трудились команды из концлагерей. Рубили камень, кололи, тесали, грузили. Они обеспечивали строительство великих сооружений рейха.

Уже много лет немецкие писатели, философы, психологи стараются понять феномен Гитлера, а через него фашизм. Кто такой этот Гитлер — гений или посредственность? Маньяк? Параноик? Хитрый политик? Он определял события или же события вознесли его? Гений злодейства или же возомнивший ефрейтор?

Всякий раз я беспомощно останавливаюсь перед старой, древней задачей — какова же роль личности в истории? Неужели она не имеет решения?

Феномен Гитлера, как заметил австрийский писатель Элиас Канетти, нельзя рассматривать с помощью традиционных средств. «Нерасчлененное созерцание самого феномена — вот высшая предпосылка».

История не терпит никаких «если бы...». Заманчиво было бы в исторической науке ставить эксперименты: что было бы, если бы... Пока что не получается. Но эта берлинская выставка просвечивала, как щелочка, в тот вариант будущего, который грезился многим немцам, я словно заглянул за край истории, на ту сторону... Как это называется по-научному — экстраполяция? Возник призрачный облик столицы мира, что готовили для народов Европы. Каменное исчадие фашизма. То, что должно было появиться, не будь нашей армии, наших битв, моих ребят, павших под Тильзитом, нашей Победы.

Документы были выставлены впервые, впервые открылась расчерченная, вычисленная, уже отлитая из гипса, уже сделанная из папье-маше заготовка будущей «Германии». Она была чем-то страшнее музеев Бухенвальда и Освенцима. То было прошлое, то была война, здесь можно было подсмотреть кое-что из предназначенного. Архитектурные мечтания или, может быть, мании Гитлера, продемонстрированные на этой скромной самодеятельной выставке, позволили понять еще одну сторону фашизма и личности Гитлера.

Жилые дома в гитлеровском Берлине почти не строились. Муниципальное жилье находилось в плачевном состоянии. Парового отопления не было, ванн не было, жили без удобств — пользовались одной общей уборной на весь этаж. Вместо жилых домов строили министерства, казармы, штабы, стадионы, канцелярии. Все средства шли на строительство нового центра Северо-южной оси, Королевской площади с этой аркой и Гросс Халле — крупнейшей стройки века. Шперер писал в своих воспоминаниях: «Страсть к постройкам для вечности оставляла его совершенно равнодушным к средствам сообщения, жилым районам и зеленым пространствам,

социальное измерение его не интересовало». Столица столиц, столица мировой империи обретала размеры, профиль, контуры, сроки. Стоимость строительства только Гросс Халле определялась в 50 миллионов марок. Здание должно было быть готовым к 1950 году.

Поначалу мне казалось, что это — выставка несостоявшегося, выставка того, до чего не дошло, выставка безумных мечтаний фюрера. Получалось, однако, что дошло, дошло до дела.

Готовилось строительство арки. Оно было зашифровано как строительство «Т».

Гитлер однажды сказал своему адъютанту Фрицу Видеманну: «Если бы Германия в тысяча девятьсот восемнадцатом году не проиграла войну, я был бы не политиком, а великим архитектором, примерно как Микеланджело». Так что Шпееру приходилось иметь дело не с капризами невежды, а с Адольфом Микеланджело.

Воинские построения, марширующие колонны, полки повторялись в бетонных силуэтах зданий. Человеческие тела слипались в массивы. Вместо красоты архитектура внушала дисциплину, она становилась демонстрацией силы. Но получилась всего лишь декорация. Железобетонная декорация. Безудержная жажда власти и господства превращала монументальность в безмасштабность. Величие вырождалось, теряло меру. Искусствооведам не разрешалось обсуждать проекты, одобренные фюрером, так же как не обсуждалась живопись, скульптура, музыка — все, что нравилось законам нацизма.

В апреле 1941 года началось исследование грунтов под сооружение Гросс Халле и арки.

Бомбардировки разрушали кварталы Берлина, в том числе те, которые начали сносить перед войной. Русская авиация и союзная осуществляли снос зданий, намеченный программой реконструкции. Разрушения ширились, охватывали целые районы Берлина. По приказу Гитлера Шпеер подготавливал

проекты послевоенного восстановления, с той же аркой. Он занимался этим ни много ни мало в октябре 1943 года. Спустя полтора года Берлин, будущая столица мира, лежал полностью во прахе. Труп Гитлера горел на костре в имперской канцелярии, построенной для него Альбертом Шпеером. Он умирал с ненавистью к своему народу — народу поражения. Жизни, по его мнению, заслуживают лишь те, кто побеждает. А еще через год Альберт Шпеер на Нюрнбергском процессе отрекся от своего друга. Он отрекался от него и в своих воспоминаниях, но от своих проектов он отречься не хотел.

Неподалеку от выставки был книжный магазин, мы зашли, и Клаус показал нам роскошные монографии об архитектурном творчестве Альберта Шпеера, великого немецкого архитектора, как уверял один из авторов.

1981

В защиту Сталина

Мы изжили культ Сталина посредством Ленина. Сталину противопоставляли Ленина, ленинские нормы законности, ленинский гуманизм, ленинскую честность. Считалось, что, если бы Ленин не умер так рано, история советской власти пошла бы иначе, без репрессий, без насилия и тиранства, продлился бы нэп и началось бы постепенно наше блаженное социалистическое правление. Мирно уживались частные лавочки, крестьяне всех категорий. Рабочие контролировали заводы, спецы работали с ними в тесном союзе, и дедушка Ленин со счастливой улыбкой определял: «Правильной дорогой идете, товарищи».

Все испортил Сталин, захватил власть и начал искажать и нарушать заветы вождя.

В 1989 году книга о Сталине «Триумф и трагедия», написанная Волкогоновым, имела читательский успех. В заключение на последней странице автор написал: «Сегодня на Сталина и сталинизм мы смотрим с высоты иного понимания истории (?)». Думаю, спустя десятилетия, с большей временной дистанции эти мрачные страницы летописи советского

Печатается по: *Гранин Д.* Интелегенды. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2007. С. 433–441.

народа, полные подвижничества, трагизма, обманутых надежд, будут видеться глубже, основательнее, вернее».

Волкогонов полагал, что потребуются десятилетия, но прошло всего лишь пять лет, и книга о Сталине во многом устарела. Ленин же, на которого опирался автор, для него самого перестал быть опорой. Автор сам полностью пересмотрел свой взгляд на него. Подземный крот истории роет нынче куда быстрее, чем мы полагали. Оценки прошлых деятелей меняются почти так же быстро, как репутации современных руководителей.

В книге о Ленине с честностью, не частой у наших историков, Волкогонов признается в своем заблуждении и судит себя первый, раньше своих критиков. Вообще эта книга вся написана с опережением. Оно оказалось невелико, еще через три-четыре года она тоже одряхлеет.

Перед историками открылись архивы, они рванулись туда в погоне за новостями и захлебывались от ошеломляющих открытий, которые не успевали осмыслить. Они торопились публиковать свои находки. И слава богу, что торопились, когда подумаешь, сколько лет в горбачевское время было потеряно в робком хождении вокруг да около ленинских архивов, партийных архивов, сколько людей так и не дождались правды о своем времени. Никак современникам не удастся узнать, что же на самом деле происходило в их жизни: «Я люблю тебя, жизнь, но не знаю, что это такое», — если переиначить знаменитые строки Ваншенкина. В книге о Ленине Волкогонов воспользовался возможностью и привел (впервые!) выдержки из протоколов заседаний Политбюро ЦК КПСС времен Брежнева, Горбачева как примеры продолжения ленинских традиций.

Я принялся за чтение книги «Ленин», знал, что о ней появились отрицательные рецензии, написанные с неприкрытой злостью, ясно было, эта книга раздражает — партократов, начетчиков, возмущенных развенчанием последнего оплота.

В истории человечества Ленин стал международным воплощением народного вождя, создателем всемирного учения, более универсального, чем учение Христа. Карьера ленинского мифа удивительна, еще удивительнее, как обожествление скрыло ото всех подлинную личность Ленина. Пропганда, партия, идеология создали из крови, жестокости, насилия, бессердечия власти нечто возвышенно чистое, идеал революционера. Из бесовщины сотворен был святой. Есть в этом что-то иррациональное, необъяснимое. Если бы это был единичный, исключительный случай. Феномен Ленина был повторен в Сталине, и масштаб был более грандиозен. Масштаб зла и масштаб мифа, который не считался с этим злом. Как это превращение происходит, как происходит ослепление, какова природа культа личности?

Нынче Сталина изображают как монстра, исчадие порока. Роберт Конквест в своей книге «Сталин. Тот, кто нес гибель народам» пишет: «Сталин был воплощением чрезвычайно мощного начала, противоречившего человечности и реальности, подобного лишь отдаленно напоминающему человека существам, троллям или демонам, пришедшим из сферы, где действуют иные физические или моральные законы и пытающимся навязать Земле свои порядки».

Книга Конквеста — один из лучших портретов Сталина, исследование глубокое, серьезное. Писатель до этого создал классические работы: «Большой террор», «Скорбная жатва: коллективизация в Советском Союзе и террор — голод». Книга о Сталине издана в 1991 году, насыщена новыми материалами и знаменует как бы современный этап знания и понимания этой «чудовищной и дьявольской личности», как пишется в одной из рецензий на эту книгу.

Конквест развивал общезападное удивленное восприятие феномена Сталина — исключительное демоническое злодейство, перед которым историки замирают, втайне восхищенные загадкой этой исторической личности.

Они, по сути, отказываются дать моральную оценку явлению Сталина. Они пытаются нырнуть в глубины этой души, разыскивая в ней мучения совести.

«...Сталин, может быть, на самом деле считал, что у него есть высшее оправдание в глазах человечества. Или же сознание того, что он осуществляет террор, могло сочетаться у него с идеей высшего оправдания», — пишет Конквест. И далее: «...неразрешимый характер имеет вопрос, который всегда встает в таких случаях. Если человек искренне убежден в том, что творимое им творится во благо, он освобождается от мук нечистой совести».

У любого злодея имеется система самооправдания, система самозащиты. У больших злодеев она довольно прочная. Факты показывают, какой Сталин последовательный ученик Ленина. Сталин всего лишь повторяет ленинскую доктрину массового беспощадного террора, он добросовестно усвоил уроки лжи, фарисейства, коварства в отношении своих союзников, даже друзей. Сталин научился у Ленина принципиальной аморальности. Исследование того же Волкогонова снимает со Сталина ореол исключительности. Он лучший из всех продолжатель Ленина, теперь ясно, что немного изменилось бы в истории СССР, если бы Ленин прожил еще десять лет. В том-то и дело, что явление Сталина нельзя ни рассматривать, ни изучать отдельно от Ленина, Сталин прежде всего продолжение Ленина, развитие Ленина, его произрастание, приспособление к следующей эпохе. События сталинской эпохи вполне укладываются в ленинский стиль руководства. Можно было бы логически продолжить ленинские начинания, его политику, и эта экстраполяция, думаю, совпала бы и с насильственной коллективизацией, и с ликвидацией нэпа, с 1937 годом. Физиономия событий у Ленина отличалась бы немного — бородкой, галстуком и бóльшим разнообразием бранных слов. Та же безудержная властомания предопределяла бы действия Ленина, да и привычные ему способы — террор, демагогия, репрессии.

Волкогонов в биографии Сталина говорит о его природной жестокости. В книге о Ленине он фактически приходит к тому же, правда, там получается не столько природная, сколько идейная жестокость. Но, в конце концов, и то и другое в большой степени домыслы, мы можем лишь догадываться о подземных истоках, результаты одинаковы.

Одинаковы методы, да и масштабы те же, неизвестно еще, кто кого перещеголял. Явление Сталина, попав в следующую историческую эпоху, обрело своеобразие. И это своеобразие многое объясняет.

Болезнь, близость смерти позволила Ленину отстраниться и увидеть смутные очертания созданного им монстра, чудовищный режим однопартийной системы. Набиравший силу культ Ленина был прерван его смертью. Культ Сталина рос беспрепятственно, создавался и снизу и сверху. Уже в апреле 1925 года Царицын переименовали в Сталинград (!). Современники сороковых—пятидесятих годов, мы были и свидетелями, и участниками этого культа. Считается, что он творился средствами агитпропа, ТВ не было, делали культ «вручную». Он насаждался печатью, радио, партаппаратом, но отнюдь не насильно.

На уровне местных партийных комитетов он встречался с восторгом. Это была та конкретность идеологии, которая понятна, она удовлетворяла потребность людей, лишенных религии, лишенных монарха, лишенных возможности персонафицировать свою веру в социалистическую утопию, к тому же весьма смутную. При Ленине Симбирск стал Ульяновском, при Ленине распространились портреты вождя, значки. Посылали верноподданические телеграммы, приветствия, писали брошюры о нем, складывалась вся оснастка культа. Шла она с мест, из российских губерний, партконференций. После смерти Ленина все это тут же переключилось на Сталина, поощрялось и развернулось с невиданной силой. Охватила все организации, все области, вузы, вплоть до детских садов.

В 1994 году в Русском музее открылась выставка «Агитация за счастье». Когда я вошел в вестибюль, меня встретило красочное панно: во всю стену восседал президиум какого-то праздничного заседания. За длинным столом сидели Сталин и его соратники: Калинин, Молотов, Ворошилов, Жданов, Микоян, какие-то уже полузабытые лица, и перед ними зал, ряды, ряды, затылки огромной аудитории, в которую включился и я. Торжественность исходила от происходящего. А сбоку, на другой стене, тоже на огромном полотне шли на меня знатные люди страны Советов, я узнавал Чкалова, академика Шмидта, Пашу Ангелину, Папанина, Стаханова, за ними теснились еще десятки, сотни людей, они шли ко мне сияющие, счастливые, с букетами цветов, что-то пели, впрочем не что-то: в зале звучала музыка и песни тех предвоенных лет.

В следующих залах висели картины тех лет, портреты и бюсты вождей. Исполненные разными художниками, от Петрова-Водкина до Налбандяна, они являли заказные, казенные, то чисто парадные, то выписанные искусно, с мастерством Лактионова, и были сделанные вдохновенно, с любовным чувством. Портреты Ленина, а еще больше Сталина, исполненные с душой, меня они удручали искренностью. Сталин в них олицетворяет силу, мудрость, надежду, все лучшее, что связывал художник с личностью этого человека. Картины висели в интерьере тех лет; кабинет начальства; плакаты, книги, вазы, танцплощадка. Погружение заставило вспомнить многое, о чем не вспоминалось, потому что память этого избегала, обходила, старалась забыть. Мы ведь не зрители, а соучастники. Чувства, которыми мы жили в те годы, сегодня выглядят глупо и постыдно. Сознание тщательно вычеркивает их из автобиографии. Выставка Русского музея, хотели того устроители или нет, уличала меня. Но разве одни художники творили культ? Еще больше, чем портретов и монументов, было создано монографий и диссертаций. Исто-

рии партии, истории России; философы, педагоги, экономисты, языковеды, социологи защищали диссертации, кандидатские и докторские, посвященные сталинским трудам и его жизни. Сколько научных статей было написано о его революционных делах, о военных заслугах. Как горячо они доказывали гениальность этого человека, мудрость его решений, их блестящие результаты. И то, какое историческое значение все это имело.

Маститые ученые во всех республиках Советского Союза, во всех странах Европы, социалистических и капиталистических, возводили Вавилонскую башню сталинизма. Литература о Сталине превзошла то, что делали шекспироведы, пушкинисты. Среди авторов были карьеристы, были служаки, основной же поток был охвачен живой верой в новое всепобеждающее учение. Невозможно было устоять перед этим потоком рядовому гражданину, как-то обойти поклонение. Наверное, любая человеческая психика поддалась этому напору. Что уж говорить о самом Сталине при его ненасытном тщеславии.

Профессиональный историк может проследить, как культ Сталина укрепляла партийная бюрократия. Ей было выгодно иметь абсолютно непререкаемого вождя. Партийные чиновники многомиллионной партии составляли сотни тысяч активных людей, это была весомая часть народа. Сталин стал произведением ленинской системы, неизбежным ее созданием. Личные его качества — коварство, актерство, садистская жестокость и так далее, заложенные в его характере, достаточно ужасны, но партаппарат не смягчал их, не приглушал, а позволял разрастись до чудовищной безнаказанности.

Вскоре после XX съезда собирались опубликовать некоторые материалы партархивов, письма к Сталину от деятелей культуры и искусства. Мне показывали некоторые из них. Восторженные панегирики слали известные люди. Они ничего не просили, они высказывали переполнявшие их чувства

поклонения. Страх, лакейство, верноподданничество, густая смесь всего «чего угодно». Читать было стыдно. Многие из них еще были живы. Письма эти не стоило публиковать. Наверное, правильно. Хотя бы потому, что это частные письма. Но, кроме этих писем, существовали кипы, тюки писем от рядовых граждан — пылкие признания в любви, полные обожания, неподдельного умиления.

Называйте это ослеплением, холуйством, наваждением, как угодно. Во всяком случае Сталин имел право воспринимать их любовь, их признание как народную любовь. Сам он презирал этот народ, весь народ, без разбора национальностей и сословий.

У Льва Толстого есть удивительная фраза: «Он не любил никого, и поэтому все любили его».

Стоит внимательно всмотреться в кадры старой кинохроники: лица демонстрантов, идущих мимо Мавзолея, где стоит Сталин со своими соратниками. Какой восторг на лицах, как пылко приветствуют вождя. Нескончаемая колонна движется часами перед трибуной, и улыбки, радость тысячекратно повторяются у старых и молодых, такие же, как у немцев, приветствующих Гитлера в фильме «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма.

Речь идет о массовых чувствах, не о тех единицах, которые сомневались, ненавидели, знали цену диктатору.

Не они и не заключенные ГУЛАГа определяли настроение тех лет. Сталину приписывали все достижения, все результаты, вплоть до Победы. Терялось чувство народного достоинства, самоуважения. Из года в год доказывали Сталину, что он гений. Доказывали крупные специалисты, потрясенные его мудрыми замечаниями по поводу моторостроения, самолетов, танков, металлургии и т. п. Его подняли выше Ленина, его убедили, что все, что он делает, правильно, все благо.

В его примитивных работах ученые выискивали мудрость, которой там не было, тратили на это свой, порой незауряд-

ный, талант. Светлые умы страны не желали видеть в Сталине ничего плохого, вера их не терпела сомнения. Ныне все это золото и драгоценности, как в сказке, превратились в черепки. На черепках легко резвиться нынешней молодежи и удивляться тому, как лучшие умы были ослеплены. Сталина славили такие поэты, как Твардовский и Исаковский, Янка Купала и Пастернак, не говоря уж о тогдашних молодых. Это не в укор им, это для того, чтобы понять общее состояние культовой психики.

Есть личные преступления, но пособником преступлений был весь наш народ. Народ создал обстановку верноподданности и несет ответственность за сталинизм. Партия? Партия, имеющая 18 миллионов членов, это тот же народ.

История культа — это позорная история добровольного унижения народа. Народ не обманули, он сам упорно обманывал себя на протяжении тридцати лет сталинского режима, он боялся взглянуть правде в глаза. И после смерти Сталина, после разоблачения культа, всеобщего прозрения не наступило. Чары не спадали. Десятки лет еще догорала вера в сталинского идола, и ныне она чадит угаром. Сталин не служил примером героической жизни или примером святой жизни, его не воспринимали как революционера, нет, то был скорее патернализм, этому всего лучше соответствовало выражение «отец народов». Требуется мудрый всезнающий вождь, без него мы не можем сами жить без указки, без призывов, и не хотим, и не умеем.

Что бы Сталин ни изрекал, миллионы верили ему безоговорочно. Волкогонов в книге о Сталине «Триумф и трагедия» писал, что не удалось обнаружить в архивах малейших следов публичного несогласия с вождем. Патерналистское мышление основано не на страхе, а на абсолютном авторитете отца-покровителя.

Вина Сталина очевидна, вина его окружения безусловна. Но есть еще и вина наших народов, вина поколения. Ее-то мы

не хотим установить, признать, а между тем без этого трудно осознать историю и страны, и сталинского культа.

Мы сами породили и монстра, и демона, и злых духов. Сами под руководством партии выходили, вырастили культ Сталина, превратили его в дракона, укрепили слепую веру, с которой бороться уже никто не мог. Сталин — наш общий грех. Загадка Сталина — это не психическое явление личности.

Горбачевская гласность обернулась прежде всего против Горбачева. Насмешка, издевка над всеми власть имущими была как бы разрядкой. Заполыхало освобождающее чувство разочарования, в огне которого спалили всех кумиров прошлого: Молотов, Калинин, Ворошилов, Берия, Каганович, Маленков, Булганин... а с ними и настоящего. На действующих министров, мэров, губернаторов с мстительным чувством вешают все беды, не щадят никого, вплоть до президента. Чего только ему ни приписывали. Похоже, что не осталось никого, кого бы почитали, кому бы верили. Монументы свергнуты. Божества превратились в болванов. Жертвы также оказались злодеями или ничтожествами (А. Кузнецов, Попков, а до них С. Киров).

Пространство авторитетов опустошено. Опустошено или расчищено для новых кумиров? Свергнуть не значит — избавиться. Цинизм и скепсис молодых когда-то должен уступить место нормальной потребности кому-то отдать любовь и уважение. Не обернется ли это опять поклонением, бездумной верой?.. Приобретем ли мы иммунитет, сможем ли спокойно воспринимать избранных нами людей как земных, со всеми их слабостями и достоинствами, требуя от них понимания, что все они, каждый, должен быть умнее любой власти.

Исчислил Бог царствие твое...

ПО-МОЕМУ, ЭТО БЫЛО ВО ДВОРЦЕ ПРИЕМОВ НА Воробьевых горах. Нас в очередной раз собрали на правительственный прием. Мы сидели за длинными банкетными столами. В те времена это выглядело роскошно. Столы действительно блистали неподдельным богатством. Держава была в полном соку.

С тех пор, поколесив по свету, побывав на разного рода приемах и в США, и в Германии, и в Италии, могу кое-что сравнить и убеждаюсь, что те, хрущевские приемы были на высоте, в них была роскошь без излишеств, без той жадной нынешней нищей показухи, когда ставят суповые миски черной икры, чтобы убедить в своем богатстве.

Место мое было за одним из ближних к хрущевскому столу, то есть там, где лицом к нам восседало в полном наборе Политбюро, напоминая Тайную вечерю. Творилось такое, что мы больше слушали, чем ели, больше говорили, чем пили.

Начал, по обыкновению, Хрущев. То есть кто бы ни начал, ни открывал, все равно Хрущев перехватывал — и оставался в памяти именно он. Брюхо вперед, короткие жесты толстой рукой — и пошел. Куда его вынесет, никто не знал, он тоже.

Печатается по: *Гранин Д.* Интелгенды. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2007. Т. 8. С. 145–151.

Но надо признаться, речь его всегда была интересна. Другие, привыкшие к логике написанных докладов и речей, возмущались, а я слушал его живую, беспорядочную, горячую речь с удовольствием. Он творил. Он сочинял, вспоминал. И все это талантливо. Нечто подобное сохранилось в надиктованных им мемуарах. Первые мемуары руководителя страны Советов. Они выгодно отличаются от воспоминаний его соратников — Микояна, Громыко, Брежнева и последующих, вроде Горбачева. У Хрущева меньше других присутствует стремление приподнять себя, меньше хвастовства. Он заиклен на своей ненависти к Сталину, ненависть его перемешана со страхом, с попыткой объяснить феномен сталинского всевластия. Он повторяется в этом, непроизвольно вновь и вновь возвращается к тем годам унижения, подлой и абсурдной жизни. Иногда он пытается быть объективным, напоминает о лаконизме и простоте сталинских выступлений, но затем снова жажда разоблачения и обличения захлестывает все его благие намерения. Во всей обильной антисталинской литературе, которую я читал, написанное Хрущевым носит наиболее убедительный, убийственный характер. Примеры, которые он приводит, заставляют думать, что паранойя Сталина проявлялась давно и открыто. Чего стоят рассказы Сталина о себе, о своей молодости, хотя бы рассказ о том, как, будучи в ссылке в Туруханском крае, он не мыл после еды посуду, а давал вылизывать ее собакам. Неслыханный культ породил в свою очередь неслыханный цинизм. Всевластие в ежедневном обиходе было скучно до идиотизма. Члены Политбюро отбывали как мучительную повинность ужины со Сталиным, это было однообразное тупое застолье, в порядке развлечения он заставлял их плясать, петь, вот и весь уровень общения и веселья, в котором Сталин проводил десятилетия своего царствования.

Поразительные мемуары!

На банкете, то бишь приеме, Хрущев начал про установки в искусстве, потом о культе и каким-то образом выгреб

на Солженицына, на его повесть «Один день Ивана Денисовича», недавно напечатанную в «Новом мире», которую он, очевидно, прочел. Не просто ее упомянул, а похвалил, и любопытно, за что — за то, что вот, мол, писатель показывает, как в условиях лагеря Иван Денисович умудряется работать добросовестно, его несправедливо осудили, а он тем не менее трудится по совести, не позволяет себе кое-как.

Вокруг этой темы сделал несколько кругов и в заключение провозгласил тост за Солженицына. Поднял фужер с вином:

— За товарища Солженицына, который здесь присутствует!

Солженицына еще мало кто знал, и раздались возгласы:

— Где он? Просим встать! Не видно!

Все принялись оглядываться. В зале за столами сидело человек двести, может, и больше. Начали приподниматься. Задвигались, движение это устремилось к противоположному от Хрущева концу зала, где рядом с Твардовским сидел Солженицын. Он встал с рюмкой в руке. И чтобы увидеть его, поднимались один за другим все присутствующие. Они обернулись спиной к членам Политбюро, к самому генсеку, лицом к писателю, еще незнакомому. Я тоже встал, увидел вдали Солженицына, человека невысокого, заурядной внешности, вроде бы неприметного, если не считать твердых его, не улыбочивых глаз. Он просто стоял, для меня же — возвышался над всем этим великолепием и блеском еще непечатой снеди, разложенной на хрустале среди накрахмаленных скатертей, розовых ломтей семги, балыков, осетрины, колбас, буженины, желтых розочек сливочного масла, салатных пирамид на мельхиоре, лакированных помидоров, огурчиков, лимончиков, винограда, графинчиков, бутылок — над всеми этими яствами, вчерашний зэк, человек из той лагерной жизни, где бились на смерть за пайку хлеба. Все они сейчас протягивали рюмки, стояли перед ним — заслуженные и народные, уцелевшие в той многолетней охоте-облаве от арестов, ссылок, расстрелов, все эти деятели культуры, журналисты, артисты,

писатели, художники, режиссеры, поэты, среди которых хватало доносчиков, стукачей, сексотов, верных «автоматчиков партии», как похвалил их недавно Хрущев, так называемых писателей вроде Грибачевых, Сафроновых, Алексеевых, Ермаиловых и прочей своры, ненавидящих и Твардовского, и «его выкормыша» Солженицына, они не могли остаться сидеть, волна подхватила, подняла над их непримиримой злобой, завистью к Солженицыну, чужаку, опасность которого они учуяли звериным своим чутьем.

Поднялись члены Политбюро. Им неудобно было оставаться сидеть, тем более что генсек стоял. Получилось невольно, что теперь уже Политбюро в полном составе, стоя, приветствовало недавно безвестного писателя, явившегося сюда из кровавого вонючего смрада лагерных бараков, из той жизни, о которой они знать не хотели, требовали забыть ее, замолчать. А она вот сюда, во дворец вошла и стоит так, словно бы вся эта жратва, алмазный блеск бокалов, все официанты в черных фраках, — всё в честь нее, ей прислуживают, ей угождают.

Это был знаменательный миг, может, наивысшего торжества литературы. Да нет, не той литературы, потому как ценителей литературы здесь было немного, это было торжество лагерной пыли, доходяг, всей этой падлы, контры, которую не успели свалить во рвы, присыпать землицей.

Это был момент истины, выражение, взятое из корриды, что оно в точности обозначает, не знаю, но, будучи на бое быков, я сам для себя поймал этот момент. Когда после красочной процедуры с матадорами бык, уже окровавленный, украшенный вонзенными в него бандерильями, порядком распаленный, замороченный, после ритуальных па тореадора с алым плащом вдруг сходится с ним один на один, и для того, и для другого наступает завершение поединка. Завершить его должна смерть. Гибель подходит открыто, со шпагой в руке, нанести свой последний удар.

Так мне казалось там, в Мадриде, так мне показалось здесь, в Москве, на Воробьевых горах. В тот день и час словно бы

всполох осветил окончание долгого пира всей этой нелепой бесчеловечной системы. Как на пиру у Вальтасара, огненные слова зажглись на стене.

Я всегда любил эту легенду, может быть, потому, что она связана с именем Даниила. И, вспомнив о ней, я не удержался, повернулся, посмотрел на это наше Политбюро, пребывавшее еще в могуществе и славе. Оно очутилось теперь как бы в конце зала, перед ними были только спины, разве что один я стоял к ним лицом, один я в этот миг уловил на их лицах непрощающее чувство, поджатые бледные губы Суслова, непроницаемое лицо Микояна, этого гения любого президиума, Кириленко с физиономией «булыжник — оружие пролетариата», все эти вожди, висящие по коридорам и «красным уголкам» страны. Люди, которых мы знали по фамилиям, а не по делам, по президиумам, по трибуне Мавзолея, потому, как они все теснее и теснее спланивались, ненавидя и боясь друг друга. Ах да, еще стоял Брежнев, его я припомнил как бы задним умом, когда он стал генсеком, я стал вспоминать и припомнил его, молоджавого, красивого, который смотрел как бы с некоторым нехорошим удовлетворением. Идеолог Ильичев, этакий Квазимодо — олицетворение злости, как он ни старался нравиться, собирая деятелей литературы, ничего не получалось, злость прямо-таки сочилась с его тонкогубого, искривленного лица.

И когда через несколько лет эти люди создали заговор и скинули Хрущева, мне сразу вспомнился тот ареопаг жрецов, внезапно задвинутых в задний ряд. Такое не прощается.

События тех же 1960-х годов и следующие за ними считаются исторически куда более важными, они вошли во все учебники, последствия их были серьезны, я же вижу в той встрече во Дворце приемов некую вершину. Впрочем, почему некую, просто вершину, без всяких оговорок. В тот час впервые перед всеми осознанно или неосознанно произошло наглядное противостояние художника и власти, антисталинизма и всей коды гнуснейшего из тоталитарных режимов.

Власть партии была еще грозной, не прореженной, а Хрущев был против них, как бы заодно с Солженицыным.

Разоблачение Сталина, сделанное Хрущевым на XX съезде партии, было поступком большой личной смелости. В этом Хрущеву не откажешь. И эта линия шла, так или иначе, но по восходящей вплоть до «Одного дня Ивана Денисовича», до «Теркина на том свете» Твардовского — прекрасной, недооцененной у нас поэмы.

Апофеозом этой политики мне представляется та встреча на Воробьевых горах, тот молниевый разряд, вспышка, которая запечатлела триумф хрущевской борьбы со Сталиным. Далее начались страхи, ухабы, буксовка, повороты-развороты. Отчего да почему, пусть разбираются историки. Я могу позволить себе излагать лишь личные впечатления.

Из многих выступлений Хрущева перед нами, писателями, а почти все они сбивались с регламента на свободный рассказ, я уловил, что он всегда обходил опасную для себя тему собственного участия в репрессиях, очевидно, поэтому он боялся до конца разоблачать преступления Молотова, Маленкова, Кагановича и других своих соратников. Он боялся вопросов в свой адрес. Это мешало ему быть последовательным, да и по мере разрушения культа возрастало сопротивление партаппарата.

Слабостей, и оплошностей, и грехов у Хрущева хватало. На писателей орал, художников обижал, от каждой встречи с ним оставалось раздражение, возмущение, выходки его были смешны, глупы, вел он себя зачастую по-хамски, и все же мне нравился этот человек. Я прощал ему многое, потому что понимал, более того, чтил его. За что? А прежде всего за смелость. Пройдя всю Отечественную войну, за три с половиной года отступления, сидения в окопах, бомбежек, обстрелов, танковых боев я убедился, что смелость фронтовая — вещь великая, но куда более великая и драгоценная — смелость гражданская. Ее у Хрущева хватало с лихвой. Никто из наших руководителей не отличился столь отчаянной, я бы сказал,

бесшабашной отвагой, как Хрущев. Более того, все они, начиная с Ленина, были трусы. И Сталин был трус, и Молотов, и Маленков, и все другие. Когда началась Великая Отечественная война, никто из будущих членов Политбюро не вызвался пойти на фронт. Ни Гришин, ни Черненко, ни Кириленко, ни Соломенцев, ни Демичев, ни Щербицкий. Были на фронте, и то не на передовой, а как бы ПРИ фронте — Брежнев и Андропов. Все остальные отсиживались в тылу, кто парторгом, кто еще где-то зацепился. Главная же храбрость Хрущева проявилась в докладе на XX съезде партии — выступить в то время, разоблачая Сталина, замахнуться на этот незыблемый, сооруженный навечно культ при всех живых его создателях, не убояться погибнуть под его развалинами, на это нужно было огромное личное мужество. Могут сказать, что, мол, после смерти Сталина он немногим рисковал. Как знать, вот против Берии, живого и всесильного, он тоже выступил, не струсил. Он боролся за свою власть, идейность, принципов не было, хорошо что он одолел Берию, так что не будем преувеличивать.

На том торжественном обеде не Хрущев казался мне Валтасаром. Валтасаром было Политбюро, вся придворная партийная клика, это для них появилась грозная надпись, предупреждая о гибели несправедливого строя.

Три таинственных слова призванный пророк Даниил истолковал так: первое слово — «Исчислил Бог царствие твое и положил конец ему»; второе слово — «Ты взвешен на весах и найден очень легким» и третье слово — «Разделят царствие твое и дадут мидянам и персам».

Не поверил Валтасар этому провидению, и пир продолжался. А вскоре предсказания сбылись.

Сбылись они и с нами, только теперь дошел до меня вещий смысл каждого из этих толкований. И в мой адрес звучит — «ты взвешен на весах...», каким легким, пустым внутри оказалось наше «все побеждающее учение», и как распалось царствие — «союз нерушимый республик свободных».

Тогда я воспринимал лишь общий угрожающий смысл, мне казалось, что Хрущев приветствовал бы эту надпись, и до сих пор кажется. В глубине души он уже отвергал партию, ее власть, ее методы, он шел к этому, кто знает, какие страсти клокотали в его душе, о чем он мечтал, на что замахивался. Если судить о Хрущеве по законам его времени, то он был героем. Но публика судит только сегодняшними законами.

Пир продолжался. Зазвенели рюмки, застучали ножи, вилки, зачавкало, зашамкало, заговорило. Кто-то, надрывая голос, провозглашал тост за партию, кто-то перекрикивал: «За наш ЦК!» — искательные улыбки вернулись к поперечному, окруженному сиянием столу Политбюро, все спешило возвратиться в привычное русло сиятельных застолий. Огненные буквы погасли, но что-то сбилось и никак не налаживалось.

Незыблемый монумент дрогнул. Зазмеилась трещина, пока еле заметная, волосяная, я смотрел на нее со страхом, это было новое, пугающее и в то же время счастливое чувство. Здание должно рухнуть, оно не так уж прочно, совсем не вечно, я не знал, доживу я или нет, никто в этом зале не знал...

Чужой дневник

Неожиданное утро

Совсем о другом

ИЗ ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ МАЛЕНЬКИХ ОСТРОВОВ КАПРИ удалось, что называется, выбиться в люди. Он известен, как, скажем, остров Святой Елены или Васильевский. Он сделал себе карьеру прежде всего на воде. География учит, что островом называется часть суши, окруженная со всех сторон водой. Но Капри сумел опровергнуть эту геоаксиому, Капри окружен вовсе не водой, а скорее всего, это напоминает густо разведенную синьку. Женщины на Капри синят белье, полоская его прямо в море. При этом Капри старается показать, что он нисколько не зависит от моря. Он, как только мог, вздыбился, поднялся над водой неприступными отвесными обрывами. С великим трудом удалось выскрести из него узенькую полоску для пристани и пляжа. Прибрежные дома — это продолжение скал, и хозяевам трудно объяснить, почему они красят только верхнюю часть фасада. Здесь самоубийцы могут прыгать даже с первого этажа. В брюхе у Капри расположился знаменитый Лазурный грот. Огромная пещера, описанная, рассказанная поколениями

Печатается по: *Гранин Д.* Неожиданное утро. Л.: Лениздат, 1987. С. 5–32.

восторженных туристов. Ничего более красивого и пошло-го в своей жизни я не видел. Поэтому я так высоко оценил мужество Аси: она вытащила блокнот и стала описывать Лазурный грот, под своды которого въехала наша лодка. Я следил, как бегала по бумаге ее рука с шариковой ручкой, и косился по сторонам, сверяя запись с пейзажем: «Вершина и края пещеры теряются во мраке. Единственное слабое освещение дает вода волшебной голубизны. Свет тут призрачный. Как будто где-то там, в глубине воды, спрятаны лампы. Но вода светится не только изнутри. Я набрала ее в пригоршню, и капли, падая с рук, тоже светились. Они падали, как бирюзовые камешки. Лазоревое сияние лилось с весел нашей лодки и пропадало вблизи от нее. Синеватый мрак сгущался во тьму. Мы плывем туда, и вместе с нами, вернее под нами, перемещается лазурное сияние. На освещенной снизу воде видна черная тень нашей лодки. В гроте тихо, мягкий плотный воздух глушит все звуки. Мы переговариваемся шепотом, потрясенные этим чудом природы. Рядом со мной сидел Д. Г., глаза его сияли...»

Я скромно отвернулся. Кроме моих глаз, все остальное было правильно. А может, и мои глаза тоже, поскольку я их не видел. В том-то и ужас, что Ася была точна, и не ее вина, что вся эта красота, попадая на бумагу, исторгаясь в виде восторженных восклицаний наших спутников, превращалась в стопроцентную неразведенную пошлость.

Итак, отведя свои сияющие глаза, я обратил их на нашего лодочника, который, разумеется, был старым морщинистым итальянцем — под стать этому гроту; он то и дело подымал весла так, чтобы с них падала бирюза, и тут я заметил в глазах лодочника скучищу, тоску прямо-таки безвыходную, граничащую с отвращением. И вдруг я понял его и посочувствовал. Изо дня в день, годами он вынужден был выслушивать одинаково умиленные возгласы туристов, наблюдать одинаково сияющее выражение их глаз и любоваться вместе с ними этим сладостным гротом. Это все равно что питаться одним

вареньем. Такая красота не только невыразима, но и невозможна для ежедневного потребления. Она — слишком. Она роскошна до безвкусицы. Поэтому, когда в грот въехала одна из наших лодок и какой-то затейник пронзительным голосом закричал: «А ну-ка споем!» — и, фальшивя, затянул «Раскинулось море широко», мне как-то стало легче. Своды грота, отражая его и без того пронзительный голос, почему-то усиливали лишь его фальшь. Ася возмущенно фыркнула, она потребовала, чтобы мы прекратили эту пошлость, это кощунство. Мы подъехали к затейнику. Возле него столпились и другие лодки. Затейник был цыпляче-веселый паренек, который, очевидно, иначе, чем через пение, не умел выражать свой восторг. Несмотря на это, большинство сходилось на том, что его надо утопить. Однако портить воды Лазурного грота запрещалось, и решено было исполнить приговор позже. Красота грота размягчила сердца, и вскоре многие были готовы помиловать затейника. Вернувшись на пристань в прелестную бухту Марина-Гранде, мы застали на берегу толпу лодочников-каприйцев. Затейник наш стоял на камне и самозабвенно заставлял их разучивать песню «Санта Лючия». Его утопили тут же на глазах местных жителей. Еще долго со дна залива поднимались пузыри — очевидно, и под водой он продолжал петь.

Ася была довольна и записала в своем блокноте: «Чарующая красота Капри требует культуры восприятия. Конечно, красота эта нам чужда, но мы должны учиться понимать ее. Меня возмутил случай с З., когда он запел в гроте, но зато как отрадно было видеть общее негодование наших людей. Это о многом говорит».

Такова была эпитафия на бедного затейника.

Вскоре после путешествия Ася выпустила книжку своих впечатлений, названную скромно «С блокнотом вокруг Европы». Кроме Аси, у нас было еще несколько журналистов, и каждый из них вел записи и публиковал их. Таким образом, наше путешествие было описано многократно, в различных

изданиях и вариантах массовыми тиражами, с иллюстрациями и без. Недавно я встретил Асю в Москве и попросил у нее разрешения привести некоторые описания из ее книжки. Она спросила зачем. Я сказал, что решил написать про нашу поездку. Ася посмотрела на меня с сожалением — через столько лет, кому это интересно, да еще после ее книжки и других книжек, и кроме того — Италия, Франция, никто в наше время не пишет про такие страны.

— Италия, Франция, — сказала она, — нашли экзотику. Нашли чем удивить. Да все уже побывали там.

— Как все? — удивился я.

— Ну конечно, все.

— А если и все, что с того?

— Так о чем же вы будете писать? Они же всё это видели, всё знают. Что вы им можете сообщить, какие сведения? Какой новый поток информации получают они? Нет, послушайте моего совета: сейчас в этом жанре котируются записки совсем о других странах. Читатель вырос, его интересует Гренландия, Мексика. — Она озабоченно вздохнула. — Да, не так-то много стран остается. Такие, например, как Цейлон, на худой конец Норвегия. Впрочем, про Европу уже не читается. Например, я уезжаю в Японию — и то не уверена. А вы про Италию. Это все равно что про Болгарию. Уверю вас.

Поэтому она разрешила мне использовать ее книжку. Описание Лазурного грота было там напечатано так, как она записывала, почти ничего ей не пришлось править — вот что значит сила впечатления, недаром Ася всегда советовала мне записывать тут же, на ходу, ничего не откладывая. И действительно, оказалось, я начисто забыл многие важные сведения и факты, касающиеся того же Капри.

— Но знаете, дорогая Ася, — сказал я, прощаясь с ней, — меня интересует лишь то, что осталось в моей памяти. Что остается спустя много лет? Не воспоминания, а именно образ Капри, и образ Неаполя, и Афин, и вас.

— Увы, — она погрузилась, — я весила тогда пятьдесят семь кило.

...Так что же осталось? Остались городок, расположенный в седловине скалы, составляющей остров, и извилистое шоссе, по которому мы туда долго добирались. Казалось, если выпрямить это шоссе, его хватит на всю Италию. Остался центр города — маленькая площадь, превращенная в кафе, плотно заставленное столиками; неубывающая пестрая разноязычная толпа кипит в этом каменном горшке, едят выловленную внизу, в море, рыбу, запивают капринским винцом. Туристы со всех концов земли; рядом с нами папа, мама, дочка — англичане, все трое в трусиках, но у мамы с дочкой есть еще нечто вроде бюстгальтера, на плечах болтаются небесно-голубые ласты, маски. Фешенебельность Капри заключается в тщательно сохраняемой простонародности этого местечка. Родовые аристократы и безродные миллионеры бродят в трусиках, как и последний лаццарони. Оборванцы сидят на ступеньках старой часовни рядом с американскими стилистами, создавая игривую, щекочущую нервы иллюзию полнейшего рая, где все равноправны, всех одинаково ласкает солнце и нет шикарного авто и драгоценностей.

Вся эта толпа и эта площадь запомнились мне потому, что я долго не мог выбраться отсюда. У меня было дело, я был единственный из всех туристов, у кого было настоящее серьезнейшее дело на этом острове. Состояло оно в том, что туфли мои жали ужаснейшим образом. В России эти туфли прикинулись вполне подходящими, модными, с узким носиком, но стоило переехать границу — и они начали становиться все теснее. Где-то в Греции я дошел до того, что надрезал их лезвием бритвы в самых, казалось, тесных местах. Это не помогло. Теснота передвинулась к носу, стало ясно, что нужны радикальные меры, — кое-кто предлагал мне вообще отрезать всю верхнюю часть, оставить подошву, может быть, это поможет. В Греции, в которой все есть, подходящих туфель

не оказалось, то есть, наверное, они были, но когда мы с Асей и другими сердобольными моими спутницами вышли из обувного магазина, в руках у меня оказалась почему-то коробка с женскими туфлями, купленными, как они потом объяснили, для моей жены. Позже я пытался понять, как это произошло, и ничего не мог уяснить. Между тем мучения мои усиливались. Плохо, что я не мог прихрамывать на какую-либо ногу, потому как обе туфли жали с одинаковой силой. Дошло до того, что я заявил капитану, что в Италии я на берег не сойду, останусь на пароходе. Это было, оказывается, грубым нарушением правил. Я не имел права оставаться на пароходе, так же как не имел права оставаться в Италии, и не мог пойти босиком по Италии.

Вот какое у меня было дело на Капри. Вот почему я с такой ненавистью пробирался через толпы босых миллионеров, туда, в тесные улочки, шумные, полутемные, напоминающие коридоры учреждения перед обеденным перерывом. Вплотную, друг за другом, тянулись лавочки, вывернутые наружу со своими товарами, так что внутрь лавочки заглядывать не имело смысла. Все, что есть примечательного, развешано на витринах, щитах, стоит на лотках. Главным образом это сувениры. Сувениры состоят из открыток, шкатулок, обклеенных ракушками, бутылок вина, кошельков, ножичков, палок — обычного курортного барахла, но вместо надписи «Привет из Сочи» тут «Привет с Капри». Любой предмет может быть превращен в сувенир, стоит сделать на нем такую надпись.

Миновав сувенирное буйство, я нашел наконец обувную лавчонку, где страдающий от кризиса хозяин вместе с женой, братом, тещей и четырьмя детьми доказал, что человеку с моим вкусом следует приобрести сандалеты, сделанные по фасону тех сандалет, в каких расхаживал по Капри римский император Тиберий, который в свое время поселился здесь в силу своей мрачности и подозрительности и предавался утонченному разврату. Боже, какие это были очаровательные сан-

далеты, они были такие большие, что я мог внутри них передвигаться в любом направлении — впоследствии я во время работы, задумавшись, шагал из конца в конец этих сандалет. Ничто так не влияет на самочувствие человека, как обувь. Она определяет его отношения с миром и взгляды на действительность. Просторная обувь делает нас терпимыми и благодушными. Понятно, что в таких сандалетах Тиберий мог предаваться чему угодно.

Когда я вышел из лавочки, мир стал еще прекраснее, я увидел, как много вокруг красивых женщин, какие они загорелые, какие у них огромные итальянские глаза, и туристы тоже стали симпатичными. Свои ненавистные изрезанные туфли я незаметно поставил возле одной из сувенирных лавочек и вернулся на площадь. Сандалеты мои щелкали по горячей мостовой, я пританцовывал и пел «Раскинулось море широко». Любопытно, что последующий час, проведенный в блаженном состоянии, ничем не запечатлелся в памяти. Я обнаруживаю себя лишь под руку с каким-то огромным белокурым шведом, мы озабоченно разыскивали башню с часами. Швед держал путеводитель, где отмечал птичками осмотренные достопримечательности. Ему удалось найти все, кроме башни с часами. Естественно, что он нервничал, не мог же он вернуться к себе в Швецию без этой башни, и я прекрасно понимал его, потому что хуже нет недосчитаться какой-нибудь достопримечательности, вроде как план не выполнен, недодали положенного, нету завершенности, может, в этой башне как раз и было то самое, и ведь, главное, могут спросить: «А видели вы?..» — «Нет, не видел». — «Да как же вы не видели!» — и пойдет, и пойдет, и окажется, что и море, и Лазурный грот, и площади — все, все насмарку, все ничто без этой распроклятой башни.

Но если мне везет, так остановить это невозможно. Раздался бой часов, я прислушался, поднял голову и обнаружил, что мы стоим под башней, часы на ней отбивают соответствующее капринское время, которое отличается от всех иных

времен своей быстротечностью. Швед обрадованно поставил последнюю птичку-галочку, мы похлопали друг друга по плечу, и я увидел, что среди сувениров, которыми было увешано тело моего шведа, — среди соломенных шляп, плетеных фляжек, коробочек, медальонов, розовых раковин, — из сумки его торчали мои туфли со свежей надписью «Привет с Капри». Шведу было приятно мое изумление, поскольку он считал свою покупку крупной удачей, таких туфель больше нет, особенно ему нравились их фантастические вырезы, надрезы — «типично местный орнамент», как он выразился.

Возвращались мы на старинном пароходике, два итальянских старичка пели неаполитанские песни, все выглядело как в нехитрых рекламных фильмах: ярко-голубое небо («Как они добиваются такого цвета?»), райский остров, поднимающийся из ультрамариновой воды («А вот нарисовать такой — не поверят»), расстояние счищало излишнюю красоту, оставались скалы, отмели, каменные уступы домов, рыбачьи шхуны, солнце, белая пена прибоя да некоторая грусть, легкая, в самый раз, и я почему-то подумал: хорошо, что Ленин видел это, хорошо, что в нелегкой, суровой его эмигрантской жизни были такие же часы отрешенного любования и восторга чудом Капри, такое же небо, такой же пароходик, теплый йодистый воздух... Снять бы цветной фильм, где были бы молодой Ленин и Горький, и они купались бы в этой синей воде, хохотали, брызгались, и рыбаки на пристани понятия бы еще не имели, что это Ленин, а просто с удовольствием смотрели бы на этих двух русских, крепких, веселых, которые плывут в этой сини по-волжски, саженками...

Капри таял, отдалялся и становился строкой некоего путеводителя, строкой, помеченной птичкой. Кто мог знать, что через много лет ни с того ни с сего он вынырнет из забвения и я с интересом стану разглядывать — что же осталось в моей памяти.

1967

Неожиданное утро

Почему мы не издаем путеводителей? Тысячи наших туристов путешествуют по всем странам мира. Им нужны путеводители. Хороший путеводитель экономит время, заменяет сразу и гида, и переводчика. Почему мы не имеем путеводителей с иллюстрациями, с очерками по архитектуре, промышленности, истории?

Будь у меня путеводитель по Варнемюнде, я бы знал, куда отправиться этим утром. Но у меня не было путеводителя, и я шел куда глаза глядят. Стояла кирха, а я понятия не имел, что́ это — образец ранней готики или, наоборот, совсем поздней. Проходил я мимо всяких домов, и может, в одном из них жил какой-нибудь знаменитый немец и надо было остановиться и рассматривать этот дом. И вообще, вполне возможно, что я сворачивал совсем не туда и мог не видеть каких-либо примечательных исторических мест.

Солнце высвечивало черепицу и плоские окна узких каменных домиков. И улицы были тоже узкие, с тротуарами на одного человека. По мостовой пять женщин катили огромные коляски, в каждой сидело по пять малышей. Процессия двигалась с писком, скрипом. Это ясли совершали утреннюю прогулку.

Каждый поворот и перекресток таил неожиданности. Я старался угадать, что откроется передо мной за углом. На низкой тележке перед магазином лежал убитый олень. Из магазина вышел мясник. Он ущипнул мохнатую тушу, взял оленя за рога и потащил в магазин.

На улицах хозяйки с кошелками. Открываются двери, звенят привязанные к ним колокольчики. У дверей магазинов черные грифельные доски. Женщины останавливаются, читают магазинные новости — что привезли, почем.

Влево вела косая, ничем не примечательная, горбатая улочка.

Она поднималась в гору, и на ее близком горизонте, совсем рядом, колыхалась верхушка мачты. Это было удивительно, как будто улица плыла.

Я свернул туда. И с каждым шагом мачта вырастала, рядом с нею показались кончики реи, и они тоже поднимались навстречу. И еще мачты, и еще. По стеклам, по серому каменю стен заструился зыбкий блеск; еще шаг, последний шаг — и передо мной распахнулись сияющие глаза реки. И вправо, и влево вдоль каменной набережной десятки, а может, сотни парусников. Лес мачт. Как у нас где-нибудь на Карельском перешейке среди корабельных сосен. Большие и малые баркасы, и шаланды, и двухмачтовые шхуны, и крохотные тендера. Старинные, черносмолевые и новенькие, блистающие полированным деревом и медью поручней.

Хлопали сходни. Рыбаки сносили на берег тяжелые сети, полные шевелящейся рыбы. Видно, флотилия только что вернулась с моря. Я спустился к причалу. Двое мужчин — в них безошибочно можно было определить отца и сына — и молодая женщина выпутывали из сетей рыбу и кидали ее в корзину. Все трое были в высоких резиновых сапогах и клеенчатых блестящих куртках. Двигались они устало и медленно, как и должно было после удачного лова. С тяжелым плеском падали плоские камбалы и лезвия сельдей, треска, крупная салака. Старуха с мальчиком подошли к перилам, поздравили старшего с возвращением. Мальчик не мигая смотрел на рыбаков. Глаза его и раскрытые пересохшие губы выражали жгучую зависть. Рыба сверкала в воздухе и плюхалась в корзину. Причалил катер рыбзавода, и я помог втащить корзину на катер. С баркаса принесли новые сети, полные рыбы, а пустые сети развесили на перилах. И это делали всюду. Солнце просвечивало розовые нити капрона, и вскоре вся набережная была задрапирована тонким поблескивающим розовым кружевом. Как будто начинался какой-то удивительный праздник. А с баркасов все несли сети, от набережной отваливали тяжело груженные катера и шли к рыбозаводу, взблескивала летящая рыба, искрилось все это свежее, прохладное утро.

Несмотря на крупные ячеи сетей, попадалась невесть как затесавшаяся молодежь. Старый рыбак заботливо выбрасывал живую мелочь в реку. При этом он что-то бурчал под нос, словно выговаривал этой непутевой, трепыхавшейся салаке.

Потом невестка и сын прибирали на баркасе, а мы со стариком закурили. Он стоял, широко расставив ноги, чешуя серебристо сверкала на его руке. На рассвете в море их немного потрепало. Одну сеть чуть не утеряти. Попалась красная камбала. Мы поговорили насчет цвета камбалы, насчет желтых, и бурых, и пятнистых камбал с черными плавниками. На мое счастье, старик говорил медленно, скажет слово и помолчит, иначе бы мне его не понять. Но вообще я давно убедился, что достаточно знать двести, триста слов — и можно говорить на любую тему, если, конечно, люди хотят понять друг друга.

Через час мне надо было уезжать. Я бы мог еще успеть обойти хотя бы часть Варнемюнде. Но мне не хотелось уходить с набережной. В других городах я всегда беспокоился, как бы не пропустить что-нибудь важное. Мне всегда казалось: а вдруг где-то рядом в это время происходят более интересные вещи и я чего-то не увижу.

Так было со мной в Ростке, и в Лейпциге, и еще в десятке городов, которые мы проезжали, а еще раньше в Афинах, и в Пирее, и в Гавре. Но тут я никуда не торопился.

Самое важное происходило здесь, на набережной.

Мы беседовали о ловле камбалы, рыбак стоял, расставив ноги так, как будто он стоял в самом центре Варнемюнде, а может, и всей республики, а кругом происходил праздник, посвященный ему: светилась набережная, завешанная розовыми неводами, рыжие громады корабельных корпусов темнели вдали на верфи, на них горели созвездия сварщиков.

Я видел разные праздники, но это был тоже праздник, и, может быть, еще более праздничный, потому что он совершался без музыки, без флагов, праздник по ощущению. Такие праздники приходят внезапно, как подарок, без даты и без

повода, просто чистое холодное утро, тяжесть в руках и короткий разговор с незнакомыми людьми, которых потом часто вспоминаешь.

А потом мы распрощались, и рыбаки пошли домой. Прилипшая чешуя сверкала на их куртках, как кольчуга. Они шли усталые, медленно переставляя ноги, и мне вспоминались наши рыбаки на Ильмене.

Я смотрел вслед рыбакам с завистью — они уже заработали и это утро, и весь предстоящий день.

В гостинице переводчица спросила меня, где я был. «На набережной? Но что ж там интересного? Вы не видели центра города, и нового ресторана, и ратуши». Она перечислила много мест, которых я не видел.

Согласно расписанию надо было уезжать, и она горевала, что мне не удалось осмотреть Варнемюнде.

«Если бы у вас был путеводитель...» — сказала она.

И вот тогда я подумал о путеводителях. Да, это, наверное, весьма полезная штука, но все ж где-то в тексте там хорошо бы оставить две-три чистые страницы. «Вы выходите рано утром...» — и дальше белые листы, ничего, неизвестность. А дальше опять, пожалуйста, — осмотры памятников, и музеев, и история, и перспективы.

1961

Могила Баха

Утром я пришел в церковь Святого Фомы посмотреть на могилу Баха. В соборе не было ни души. Играл орган, наверное, органист репетировал.

Собор был огромный, я ходил по притворам, там лежали могильные камни священников, епископов, князей, герцогов. Могила Баха оказалась почти посередине собора, совсем

отдельно. Ее перенесли сюда недавно. Лежала чугунная доска с надписью: «Иоганн Себастьян Бах. 1685–1750».

Часть этого маленького тире, в котором заключена вся трагическая жизнь Баха, занимала служба в соборе. Двадцать семь лет, изо дня в день, он приходил сюда и играл на органе.

На могиле лежал маленький букетик свежих гвоздик. Когда Бах был жив, все эти герцоги и епископы не ставили его ни в грош: подумаешь, какой-то жалкий органист, без орденов и званий, с пустым кошельком. И когда он умер, тоже еще десятки лет никто не вспоминал о нем. И все эти знатные особы были уверены, что они-то и есть исторические личности, слава и гордость страны. А теперь никто не помнит о них, и нужно рыться черт знает в каких архивах, чтобы узнать, кто из них что делал.

Я сел на скамейку рядом с могилой, чтобы послушать орган. Я подумал о том, как странно, что поколения за поколениями эти сиятельные ничтожества сходили в могилы, так ничего и не поняв, и если бы они сейчас ожили, то были бы поражены, что никто о них ничего не помнит, зато все в мире знают имя этого нищего музыканта, который лежит здесь среди них, и все приходят в эту церковь ради него.

Но вся штука в том, что они никогда не узнают об этом, и всю свою жизнь они прожили, уверенные в своем величии.

Меня разбирала досада, и было смешно и грустно, потому что такое творилось не с одним Бахом и, наверное, повторяется и сейчас.

Трубы органа гремели, перекликались, повторяя без конца одну и ту же простейшую тему и всякий раз находя в ней что-то другое, более глубокое. Уже вроде извлечено все, но нет, там есть еще, и вот еще новое, и так, пока не убеждаешься в неисчерпаемости этой самой простоты. Таков человек, такова жизнь, такова материя с уходящей невесть куда сложностью ее элементарных частиц.

Как никто другой, Бах современен: возможно, он один из наиболее передовых композиторов нашего времени, его

музыка словно обнажает сущность вещей, и чувств, и сегодняшних размышлений. В ней звучат неустанные поиски человека, идущего в глубь Вселенной, туда, где он прикасается к первоосновам жизни, чтобы (в который раз!) оказалось, что это всего лишь граница нового бескрайнего мира.

Какие бы ни строить догадки, все же остается тайной — каким образом этот старый немецкий музыкант, работавший двести с лишним лет назад, открывает нам сегодняшний день, как он не только пережил, но и опередил стольких гениальных композиторов двух веков? В чем секрет долголетия и молодости его музыки? Почему одно произведение искусства живет годы, другое — столетия? Талант? Гениальность? Но ведь сами по себе это всего лишь слова, обозначения, они ничего не могут объяснить.

Может быть, и не надо стараться объяснить и узнать. Не так-то уж много осталось у человека секретов.

Вскоре я перестал философствовать, я просто слушал.

Баха надо, конечно, исполнять на органе, а орган надо слушать в соборе. У нас в Филармонии тоже есть орган, но там это не то. Мне трудно объяснить, в чем тут дело. Может быть, тут какой-то секрет акустики. В соборе весь воздух дрожал, звучало все здание, вибрировали стены, могильные плиты, звуки органа пронизывали меня, я ощущал их физически — кожей, сердцем, — казалось, мое тело, весь я состою из этой музыки.

Справедливо, что могила музыканта была тут же, перед его органом. В пустом соборе музыка исполнялась словно специально для него одного.

Когда музыка смолкла, я обернулся и посмотрел на органиста. Там, наверху, где когда-то сидел Бах, спиной ко мне сидела девушка. Удивленный, я стоял и смотрел на нее. Она взглянула в зеркало, висевшее над ее головой, улыбнулась и кивнула мне. Я тоже улыбнулся и неохотно вышел на улицу.

1962

Хемингуэй

...И в этом местечке тоже никто не знал, где его дом. Тогда мы зашли в придорожный бар.

— О, как же, он часто бывал у нас, — сказал бармен. — Видите, как у нас весело. Он предпочитал махиту. Хотите попробовать?

Раскрасневшиеся парни пели какую-то старую испанскую песню и притоптывали ногами, стараясь перекрыть радиолу. В толстых стаканах плавали зеленые листки махиты. От парней пахло рыбой. Кто-то играл на губной гармошке.

Когда я представил себе, что еще недавно он сидел здесь, среди этого бедлама, и пел вместе с рыбаками и хлопал их по плечам и они тоже хлопали его по плечу, то бар показался мне особенным. Но, слушая, как бармен ничего толком не может рассказать, я понял, что все это вранье и никогда он здесь не бывал, просто его имя используют для рекламы, и сразу этот бар стал обычным грязным и шумным баром, каких десятки в окрестностях Гаваны.

Пока наши выясняли дорогу, я забавлялся этой игрой: бар становился то особенным, то обычным, как будто что-то менялось в нем.

Затем мы еще час плутали по соседним поселкам, пока нашли тот, где он жил.

На деревянных, грубо окрашенных воротах еще висела белая доска. По-английски и по-испански было написано: «Визиты без предварительной договоренности с хозяином запрещены».

А договариваться уже было не с кем. Ворота были закрыты, и повсюду тянулся забор из колючей проволоки, совершенно необычный здесь забор, напоминающий заграждения на переднем крае.

Сквозь проволоку можно было видеть пустынную аллею, зеленый холм вдали и на нем белый трехэтажный дом под красной крышей.

Так и не достучавшись, мы отправились искать другой вход. Станный это был поселок. Рядом с этой виллой стояли лачуги, сколоченные из досок. Задняя сторона участка примыкала к поместью сбежавшего американского миллионера — теперь там разместилась школа политработников, — а вдоль шоссе стояли скромные каменные коттеджи, окруженные крохотными садиками, и трудно было понять, почему он выбрал именно это, ничем не примечательное местечко и прожил тут больше десяти лет.

В одном из двориков женщина развешивала белье. Мы спросили, не знает ли она, как иначе пройти к дому Хемингуэя.

— Как вы сказали, чей дом? — спросила она.

— Хе-мин-гуэя.

Это была уже немолодая женщина с добрыми глазами.

— Эрнеста Хемингуэя, — повторили мы. — Ну, знаете, писатель, знаменитый писатель.

Видно было, что она искренне хотела бы помочь нам.

— Не знаю, — смущенно сказала она.

— Господи, ну он еще написал тут «Старик и море», — сказал кто-то.

— Он лауреат Нобелевской премии, — сказал еще кто-то.

Она молчала.

Тогда мы стали показывать ей в сторону его дома — трехэтажный, на холме.

— А-а, так, значит, это тот сеньор, который недавно умер, — сказала она и вздохнула.

Пока ходили за сторожем, нас окружили мальчишки. Их набралось человек десять, они бесцеремонно допытывались, откуда мы приехали и зачем. Они тоже понятия не имели, что это за Хемингуэй.

— Погодите, не тот ли старик, который жил в этом доме? — сообразил наконец старший из них, ему было лет двенадцать.

— Какой старик? — удивились мы.

— А впрочем, — сказали мы, — он был с седой бородой.

— Ну конечно, — сказали мальчишки. — Папа! Его-то мы знали. Его все хорошо знали.

И только один, самый маленький, сказал:

— А я так первый раз слышу.

Молодой кубинский поэт Л. рассказал нам, как он познакомился с Хемингуэем в кабачке «Медео».

«Медео» — писательский, артистический кабачок в старой Гаване. Надо пройти по коридорчику сквозь уличный бар, и тогда попадешь в три маленькие комнаты. Там тесно, бедновато, голые столики, и все-таки уютней и свободней, чем во многих стилизованных барах и кабачках. Стены густо завешаны фотографиями поэтов, писателей, артистов, побывавших здесь. Кого тут только не найдешь! Гильен, Неруда, Леон, Карпантье, десятки знакомых и сотни незнакомых лиц — молодые поэты, и критики, и художники со всех стран Латинской Америки, и европейские писатели — Сартр, Саган, и наш Сергей Смирнов, и Павлычко, и Гулям...

Каждый, кто приезжает в Гавану, приходит сюда, а каждый, кто приходит, должен оставить здесь что-то на память, и поэтому между фотографиями висят всевозможные сувениры — веера, открытки, сомбреро, значки, трости, а кто-то оставил даже ботинок. И всюду росписи, и чьи-то стихи, и рисунки.

Так вот, зайдя с приятелем в «Медео», Л. увидел за столиком Хемингуэя, который что-то писал.

Они подошли к нему, представились и сказали, что давно мечтали с ним познакомиться. Хемингуэй не поднял головы и продолжал писать. Они опять начали свое. Тогда он вскочил и заорал: какого черта они считают возможным лезть со своим знакомством к человеку, который работает, занят и знать никого не хочет!

Приятель Л. вспылil и тоже закричал: «Кто вы такой, чтобы так кричать на нас?»

Хемингуэй, недолго думая, сделал выпад левой, и парень полетел на пол.

Когда Л. привел приятеля в чувство, подошел хозяин и сказал, что сеньор Хемингуэй приглашает их к своему столу.

Они просидели с Хемингуэем несколько часов, а потом он сказал: «Вы славные ребята, приезжайте ко мне домой в субботу».

С тех пор они подружились и стали бывать у Хемингуэя.

Мне было интересно о Хемингуэе все: и что в спальне у него среди немногих книг постоянно лежало несколько томов Чехова, и что он плавал с аквалангом.

Но среди разных рассказов меня поразили два крайних мнения, высказанных людьми, хорошо знавшими его. Оба эти человека — патриоты Кубы, настоящие революционеры и наши большие друзья.

Первый сказал:

— Не спрашивайте меня о Хемингуэе. Я не хочу слышать о нем. В тяжелое для Кубы время, когда Америка порвала с нами отношения и объявила блокаду, он покинул Кубу и нигде и никогда не выступал в защиту революции, хотя уж кто-кто, а он отлично знал, что такое кубинская революция.

Второй сказал:

— Хемингуэя надо принимать таким, какой он есть. В самое тяжелое время он ни разу не выступил против кубинской революции, он был близок к нам, и мы не должны отдавать его врагам.

У каждого из них свой Хемингуэй, каждый видел в нем то, что хотел, и каждый был прав.

1962

Церковь в Овере

Машина въезжала все глубже в это неохотное, сырое утро. За потным стеклом показывались, как бы подрагивая с озноба, заспанные поселки, ранние, подозрительно бойкие

городки и тут же бесследно таяли в сером тумане. Ничего не оставалось от них — ни мыслей, ни чувств, я знал, что никогда не вспомню ни этой дороги, ни этого утра, ни того, что рассказывает мне Пьер. Я сам был сейчас вроде этого стекла, все соскальзывало мимо, а внутри было холодно и прозрачно. Прошел час, как мы выехали из Парижа. Давно уже Пьер мечтал об этой поездке, ему хотелось доставить мне удовольствие, и вот наконец он сумел вырваться, мы едем. А меня нет. Меня нет в этой машине, и я не остался в Париже, я понятия не имею, куда я потерялся. Последнее время со мной случается эта пропажа. Я вдруг обнаруживаю, что меня нет, я перестаю существовать, переселяюсь, что ли... Душа моя улетучилась, а тело восседало рядом с Пьером, нормально функционировало по всем законам биохимии.

Мы въехали в Овер, городок, прославленный тем, что здесь умер Ван Гог. Движение замедлилось: главная улица, бульвар, липы — как будто в кинобудке упало напряжение, — площадь перед мэрией, стоянка, ресторан, официанты в малиновых сюртуках накрывали столики малиново-клетчатыми бумажными скатертями. Судя по физиономиям официантов, цены тут были не для таких голодранцев, как Ван Гог. Неподалеку стояла ветхая гостиница, где жил перед смертью сам Ван Гог два с лишним месяца. Он платил за номер три с половиной франка в сутки — самый дешевый номер, дешевле не бывает...

Пьер рассказывал, я слушал и заставлял себя разглядывать, потому что все-таки Ван Гог — любимый художник передовой интеллигенции, не самой передовой, потому что самая передовая уже его отлюбила и нынче любит Шагала или кого-то там еще. А поскольку я все еще любил Ван Гога, я запоминающе осматривался кругом, но внутри у меня ничего не отзывалось, и я понимал, что все это я сразу забуду. Ничего не останется — и слава богу.

Признаюсь, мне изрядно поднадоели великие художники, великие ученые, великие писатели, их изречения, их пись-

менные столы, их зверская работоспособность, их пронумерованные письма, обнаруженные черновики, спорные места их биографии, их трогательные привычки.

Я чувствовал, что у меня наступает изжога от чужих биографий.

Последнее время я только и делал, что занимался XVIII веком и XIX веком — Василием Петровым, Яблочковым, Якоби и прочими прекрасными, замечательными людьми. А ведь была еще и моя собственная биография, моя война, блокада, тот последний бой под Кёнигсбергом, разрушенные подстанции, которые мы восстанавливали, теперь даже трудно понять, как мы это сумели... Была жизнь моих сверстников. Я наспех записывал фразы, выражения, сюжеты будущих рассказов и романов. Их хватило бы уже на несколько книг, а они все прибывали. Давно уже я собирался съездить в Кислицы, полустанок моего детства, в Иркутск к Леше Богуну, с которым мы придумали регулятор напряжения. А в Костроме жила Алла... Все было некогда, и я не замечал, как быстро мое прошлое тоже становится историей. Если б я мог остановить жизнь, собственную свою жизнь — не считаясь с моей работой, она по-прежнему выкидывала номера, — и хоть как-то разобраться. Закрыться бы от всего. Свою-то биографию и то, что творилось кругом, я же знал лучше, чем жизнь Василия Петрова. На кой мне нужен этот Овер. Листки моего календаря опадали слишком быстро. Ощущение беспредельности кончилось. В такое зябкое утро я чувствовал, как невелика моя оставшаяся жизнь.

— Ван Гогу нравилось это местечко, — сказал Пьер. — Здесь он лучше чувствовал фиолетовый цвет. Для него это было страшно важно. Каждый цвет волновал его больше, чем меня семейные дела.

— Прелестное местечко, — сказал я, — как хорошо, что я наконец увижу все это.

По грубо мощенной дороге мы поднялись в гору. На вершине стояла каменная церковь. Не слишком старое, скучное,

серое сооружение. Сквозь голые ветки деревьев проглядывался Овер. Он лежал внизу тихий, выкрашенный сочными ван-гоговскими красками, только с фиолетовым было неважно, не хватало фиолетового, не учли, винно-красного сколько угодно, были какие-то белые колонны, какая-то геральдика — вот, пожалуй, и все, что я запомнил, и то благодаря Пьеру. Можно сказать, он меня просто носом тыкал во все красоты ландшафта, особенно же он старался насчет церкви. Тайнственно выкатывая свои близорукие глаза, он спрашивал, узнаю ли я ее. Я понимал, что мое «нет» обрадует его. Если я кого и мог узнать в этом городишке, то меньше всего эту церковь. Судя по всему, она безвыходно простояла тут со дня постройки. Когда я пожал плечами, Пьер действительно обрадовался, как-то чересчур обрадовался. Он заставил меня обойти ее кругом, потом выбрал какую-то точку справа от входа, чтобы я видел башню и стрельчатые окна.

Возможно, эта церковь являлась каким-нибудь шедевром. Когда мне говорят, что вот это здание — шедевр, тогда начинаю видеть, что тут что-то есть, я вникаю и могу увидеть пропорции и всякие капители, контрфорсы и апсиды. Или мне надо, чтобы сказали, что это никакой не шедевр, а совсем наоборот. А если самостоятельно, можно и не угадать. Неуклюжая эта, вроде бы ничем не примечательная церковь, может, имеет такую капитель, что я сейчас ахну, — лучшая в западном мире капитель, нежная и грустная капитель, которая заменит мне... и поймет меня... Я расскажу ей про ту женщину, как мы расстались, как она уходила все дальше, до сих пор я не могу понять, что же произошло. Перед отъездом сюда я узнал, что она умерла в Ташкенте. Смешно было винить себя в этом. Но что-то мучило меня, не давало покоя. Двигаясь от ее смерти назад в тот год, мне казалось, что я что-то мог остановить. Хотя что бы я ни делал, от каждого моего слова, поступка становилось лишь хуже...

— Какой это век? — на всякий случай спросил я.

Пьер поднял свои крохотные брови:

— Понятия не имею.

Я бродил по стоптанной прошлогодней траве вокруг серо-каменных стен, ничем не украшенных, и с тоской ждал этой капители, чтобы наконец обрадовать Пьера.

— Неужели ты не вспоминаешь? — еще раз спросил он.

Две молодые монашки прошли мимо нас, опутив модно суженные глаза. Из города тянуло дымком, запахом свежей рыбы, местной промышленности — множество разных мелких деталей, которые так необходимы прозаику, которых было столько кругом, в деревьях, людях, в этом влажном песке, бледно синеем небе, мятых пачках «Кента».

— Церковь в Овере! — со значением произнес Пьер.

Что-то слабо шевельнулось во мне.

— Церковь в Овере! — повторил он настойчиво. — Она же висела у тебя дома. Вот эта...

Он наслаждался моей растерянностью. Он извлек откуда-то открытку, дешевенькую открытку — репродукцию картины Ван Гога. Такая же, только большая, репродукция висела в Москве, в том доме, где мы жили несколько лет назад, она висела, кажется, над приемником. Когда мы ложились, свет лампы падал на нее, и, даже погасив свет, мы продолжали некоторое время еще видеть ее. Пока мы шептались, кобальтовые окна церкви медленно гасли, это были длинные, счастливые минуты, потом я сразу засыпал, уткнувшись в теплый угол между ее затылком и плечом, всегда с досадой оттого, что засыпаю и сон разлучает нас. Странно они сцепились в памяти — эти минуты, прикосновение ее тела, наш смех и эта картина, пластмассовый белый колпак лампы, неизвестная нам церковь; краски там были переданы лучше, чем на этой открытке, отчетливо проступали мазки, крупные, выпуклые, особенно небо — яростно синее, дрожащее от волнистых следов кисти. Сама же церковь... Но даже теперь я не мог узнать в этой церкви ту, что была на нашей картине. Я держал перед собой открытку, сличая ее с натурой.

Контуры, расположение частей, вот это окно, вход, проемы, крыша и даже трава — все сходилось. Но, во-первых, не совпадали краски. На картине окна синие, как небо, кусок крыши огненно-красный. Настоящие же окна не были такими. Крыша не была такой. И никогда не могла быть такой красной. Но не только краски — сами стены преобразились на полотне, — серый, стесанный до безразличия камень ожил, задвигался. Выпирали стропила, углы, обозначались сухожилия постройки, остов ее словно напрягся. Какая-то сила скручивала, давила, а здание противилось, упиралось в землю...

В натуре ничего этого не было. Росла трава, нормальная травка-муравка, она хлестала зелеными волнами, были дорожки, те же, что и при Ван Гог, только вместо коровьих лепешек валялись обертки жевательных резинок, сигаретный целлофан, и дорожки вовсе не растекались желтыми потоками. Не было никакой нервной дрожи в земле, и в камне. Я стоял на том самом месте, где рисовал церковь Ван Гог, и ничего такого не видел. Откуда он это взял?

...На месте той картины потом висела, кажется, тарелка или фото. Теперь не вспомнить, все реже и реже я бывал в той комнате.

Церковь качнулась, изогнулись карнизы, я ощутил усилия камня, краски вспыхнули... Нет, это было не мое собственное — на какое-то мгновение Ван Гог сдвинул окружающие меня предметы. Все заострилось, слишком яркими стали цвета, мучительная гримаса вдруг исказила сонные черты этого мира.

Окрестность вздрогнула, как от далекого подземного толчка. Эпицентр отстоял на восемьдесят лет назад.

Секрет таланта, оказывается, весьма прост. Ничего особенного. Надо лишь немного иначе увидеть мир. Ван Гог стоял на этом же месте и нарисовал эту церковь за несколько часов.

Он не придумывал, не сочинял, не наворачивал никаких ужасов, он видел ее иначе, чем все мы, обыкновенные люди. Вот и все. Как будто глаз его под другим углом преломлял и рассеивал световые лучи. Он сумел встревожить скучную грудку сложенного камня, извлечь из этой церкви красоту, нервную, воспаленную, передать чувство, которое было в нем самом, окружало его, как пламя окружает фитиль.

Он жил внутри этого пламени неистовых красок и линий, наслаждаясь им нестерпимо и мучаясь им тоже нестерпимо. Даже в Овере, этой степенной, тихой провинциальной дыре, он видел все слишком: слишком клокочущим, слишком прекрасным, трагичным. За свое виденье он платил тоже слишком-слишком дорого — припадками, кошмарами, безумием. Он знал, что его душевная болезнь прогрессирует, и торопился. Ницета преследовала его, преследовала все сильнее, и от нее он бежал все туда же — в работу.

«Г-н Рей говорит, что я ем слишком мало и нерегулярно, поддерживая себя только алкоголем и кофе. Допустим, что он прав. Но бесспорно и то, что я не достиг бы той яркости желтого цвета, которой добился прошлым летом, если бы чересчур берег себя».

Видите, как делается яркий желтый цвет. Вот чем, оказывается, крашена эта желтая дорожка.

Поразительно, как он описывает свою картину «Ночное кафе»:

«Комната кроваво-красная и глухо-желтая с зеленым бильярдным столом посредине; четыре лимонно-желтые лампы, излучающие оранжевый и зеленый. Всюду столкновения и контраст наиболее далеких друг от друга красного и зеленого; в фигурах бродяг, заснувших в пустой печальной комнате, — фиолетового и синего. Кроваво-красный и желто-зеленый цвет бильярдного стола контрастирует, например, с нежно-зеленым цветом прилавка, на котором стоит букет роз. Белая куртка бодрствующего хозяина превращается в этом жерле ада в лимонно-желтую и светится бледно-зеленым».

Только художник может так рассказать картину.

Плата за картины была непосильна. Он расплачивался кусками своего мозга за наше наслаждение, за миллионы, которые будут давать на мировых аукционах, продавая его картины, за музеи, которые будут гордиться, обладая хотя бы одним полотном Ван Гога. За бесчисленные монографии, альбомы, репродукции, копии, за этот раздобревший на туристах Овер.

В письме, которое было при нем в день самоубийства, совсем не предсмертном, довольно обычном, деловом, неоконченном письме к брату есть фраза: «Что ж, я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины рассудка...»

Я все смотрел на эту церковь. Господи, да если б мне понадобилось просто описать ее и все кругом, я бы слова не мог выжать. Церковь, ну каменная, ну серая, высокая... Я вспоминал некоторые картины Ван Гога — два драных башмака, плетеный стул, кусты, — казалось, ему все равно что рисовать. Я понял: важно, кто рисует. Тогда и башмаки кричат, и эта церковь будоражит душу.

Если бы мне предложили — сменяемся, махнемся? Пожертвуй чем-то, поступишь и взамен увидишь мир иным, его скрытые от всех черты, я бы не раздумывал... Согласен! Берите с меня что хотите, ничего не пожалею. И вот сейчас, когда я перед этой скучной церковью снова подумал об этом, я понял, что вру. Что значит увидеть мир по-иному? Это ведь и себя увидеть в нем иначе. На самом-то деле я боялся, избегал увидеть прежнюю свою жизнь по-иному. Наши отношения рухнули, потому что я сам убил, изуродовал их, не осталось тех минут, ничего не осталось, но долго еще тянулась какая-то мнимая жизнь. Я улыбался, она улыбалась. Как ты себя чувствуешь? Не беспокойся, нормально. Приходили гости, уходили гости. Было так мило, так весело. А завтра в кино, а послезавтра на концерт. Сколько это могло продолжаться? Не нужно об этом думать. И говорить. Не будем

выяснять отношений. Давай не будем. Ну как хочешь. Я рад был, что можно прикидываться. Все время делал вид. Для кого-то. Хотел кого-то обмануть...

Пьер взял меня под руку, повел вдоль глухой стены кладбища. Сквозь нейлон куртки ко мне доходило тепло его руки. Вряд ли он догадывался о том, что творилось со мной, но неумышленный жест его был как осторожное участие, которое позволяло оставаться наедине со своими мыслями.

За калиткой в стене открылось старое кладбище, тесно уставленное мрамором, полированными надгробиями, памятниками. Сразу налево, у самой стены, лежали две темные одинаковые плиты: Винсент Ван Гог и брат его Теодор Ван Гог. Несколько свежих букетов на могиле Винсента и пучок синих маргариток на могиле Тео. Я мысленно поблагодарил того, кто положил их. Это была справедливая дань беззаветной трудной любви и самоотверженности Теодора. Мне вспомнились отчаянные многолетние усилия Теодора продать картины брата, все жертвы, которые он приносил, — я вспоминал эту историю по роману Ирвинга Стоуна «Жажда жизни», и сразу вспомнился сам Стоун, спортивный, быстрый, щедро улыбчивый, его крепкие руки на руле машины, ловко сидящий серый костюм, короткий седой ежик над молодым загорелым лицом; его дом в Лос-Анджелесе...

День был не чета нынешнему — горячий, в слепящем блеске магнолий, пальм, гигантских цветов и океана. Стоун жил в пригороде, на холмах, в наиболее уважаемом районе города. Особняки голливудских звезд и местных миллионеров изощрялись друг перед другом вкусом лучших архитекторов. Сады не окружали, а как бы декольтировали дома, тут все было высшего качества: решетки, отделка, цветной камень, черные стекла, газоны и небо над каждым домом. В глубине двух-трехместных гаражей лоснились мощные «кадиллаки», «мустанги», «роллс-ройсы». Чистейший воздух благоухал от запахов лаванды и высокооктанового бензина. Асфальтовые дороги сливались и расходились по зыби холмов,

и мы покачивались на них, словно листали рекламные проспекты американской шоу-бизнеса. Образцово-показательный поселок для инопланетных делегаций. Полюбуйтесь, господа, какой у нас на земле рай. Актриса Мери Пикфорд, писатель Рей Брэдбери. А вот и дом писателя Стоуна. В саду, это уж как положено, купальный бассейн с морской водой, просторный, выложенный голубым камнем, подсвеченный. Внутри дома в больших затененных холлах неслышно работали эр-кондишеры. Мы помещивали лед в длинных стаканах, доливали виски, тоник, джин; бродили в электрической прохладе, осматривали картины и всякие подробности жизни нашего хозяина. В сущности, никаких возражений у меня не было, хорошо живут, правильно живут, так и следует жить каждому человеку в конце XX века. Пора бы. Никаких претензий лично к Стоуну я не имел. Он был работник. На полках стояли книги, написанные им, — романы о Джеке Лондоне, о Микеланджело, издания и переиздания его романов о Ван Гого, вышедшие чуть ли не на всех языках. Дорогие, с безукоризненными репродукциями картин; массовые, дешевые, в глянцевого мягких обложках; карманные издания; подарочные издания и еще другие, менее знаменитые его романы.

Дом его примостился на краю холма, упираясь в овраг длинными металлическими колоннами, так что рабочий кабинет Стоуна нависал над обрывом. В больших окнах кабинета были только небо и высота. Это когда сидишь за столом. А если подойти к окнам, то виден был океан, холмы, укрытые зеленой овчиной, крыши — такие же разные, как и коттеджи. Перед небесным оком они охорашивались, сверкая алюминием, мрамором, гнутым стеклом, керамикой, сверху открывались стриженные лужайки, теннисные корты, цветники, синие бассейны самых причудливых форм и всякие прочие места личного пользования соседей Стоуна, таких же, как он, людей успеха. Судьба каждого являла, очевидно, пример удачи — пожалуйста, выбирайте любую стезю и не смущайтесь, талант, конечно, желателен, но это не самое главное.

Вид отсюда напоминал детскую игру «вверх-вниз». Кто-то кидал кости, и фишки продвигались. Одни вдруг взлетели на эти же холмы, другие отбрасывали вниз или пропускали ход. Их было миллионы, неудачных вариантов, доставшихся в этой лотерее всем остальным.

Угол кабинета занимало высокое сооружение, нечто вроде каталога — стойка больших металлических ящиков. В них помещалась картотека. Ящики бесшумно выдвигались, скользя на колесиках. Внутри ящиков так же бесшумно и легко скользили по направляющим планки с подвешенными папками, удобнейшее устройство, где Стоун размещал собранный материал: записи, фотокопии документов, снимки. Например, дела по Ван Гог: история его картин, отношения с Гогеном, болезнь, финансовые дела, Ван Гог в Париже, в Арле, Гааге, сумасшедшие дома, неудачная любовь к дочери квартирной хозяйки — любой период, вся жизнь Ван Гога, все его страдания, все его страсти — полное досье. В одну минуту Ирвинг мог отыскать нужные сведения по Ван Гог — даты, сумма долгов, краски, письма за какой угодно год. Пожалуйста:

«Я заметил, что в результате недоедания у меня пропал аппетит, когда я получил от тебя деньги, я не мог есть — не варил желудок...»

«Сейчас я очень сильно похудел, одежда моя совершенно обтрепалась и пр.».

«У меня полный упадок сил, а я еще усугубил его чрезмерным курением, которому предавался главным образом потому, что, куря, не так сильно чувствуешь пустоту в желудке».

«Я здоров, но непременно свалюсь, если не начну лучше питаться и на несколько дней не брошу писать».

Нет денег, чтобы нанять натурщиков. Нет денег на краски.

«...Если меня будут держать взаперти и не дадут мне работать, я едва ли выздоровею, кроме того, за меня придется ежемесячно платить 100 франков, а сумасшедшие иногда живут долго».

Раздел о бедности занимал наибольшее место, куда больше, чем раздел любви или раздел критики. Стоун ездил по Франции, Голландии по следам Ван Гога, он проделал значительную работу, и он имел право гордиться своей картотекой. Были там, наверное, и данные про эту церковь, кладбище, и про сам Овер, тот июльский Овер 1890 года, никому не известное местечко, по которому везли умирающего, тоже никому не известного, полусумасшедшего художника, который, опять-таки неизвестно почему, выстрелил себе в грудь. Неудачно выстрелил, всю жизнь он был неудачником, и еще промучился два дня, пока отдал богу душу.

Вместо машинки на столе стоял диктофон. Ирвинг раскладывал материалы и надиктовывал очередную главу, в соседней комнате работала секретарь, диктофон повторял текст Стоуна, она печатывала, давала машинопись автору, он правил, она перепечатывала начисто и пересылала издателю. Ирвинг умел работать. Экономно. Четко. Не без гордости показывал он свое продуманное, так рационально организованное по последнему слову техники писательское хозяйство.

Кресло — нажать кнопку, и выдвигаются подлокотники. Специальная лампа...

Удобно, никаких черновиков, переписываний, рабочее время использовалось максимально. Разумеется, бывали срывы, все же творчество — где-то затрет, забуксует, но большей частью система работала методично, ровно скользя по направляющим, как карточки в этом завидно оборудованном кабинете.

...Маленькое белое солнце проступало на полированной могильной плите Ван Гога.

Странная, нелепая жизнь голодного художника принесла неплохие доходы. Роскошная машина Стоуна везла нас вдоль Калифорнийского побережья. Кондиционированный холодильник обдувал наши лица. На выставке, куда мы приехали,

продавали великолепные альбомы Ван Гога, отдельные репродукции; и в Нью-Йорке, в Музее нового искусства, и в Париже — всюду продавали Ван Гога, веркоровские репродукции, дорогие, очень дорогие, были и совсем дешевые, в рамках и без, цветные диапозитивы, слайды, письма Ван Гога, книги о Ван Гоге, роман Стоуна.

Трагедия художника позволила построить, наверное, не одну виллу. Меньше всего можно в чем-то упрекнуть Стоуна, он написал добротную нужную книгу, он получил то, что заработал, и те, кто наживаются на Ван Гоге, их тоже, по сути, не в чем упрекнуть, никто из них не виноват в том, что при жизни Ван Гога удалось продать всего лишь одну картину. Одну-единственную из многих сотен купил какой-то чужак.

Преобывшая история, поднадоевшая, почти литературный штамп. Сколько раз она повторялась со времен Рембрандта — великий непризнанный художник умирает в нищете и безвестности, а затем картины его нарасхват, любая — целое состояние, ему воздвигают памятники, он становится гордостью нации, и судьба его служит сюжетом поучительных романов, фильмов, спектаклей, чем трагичней, тем лучше. Монтчелли, Модильяни, Филонов, Татлин... Можно подумать, что так и положено.

Недавно умер один московский биолог. Человек двадцать провожали его гроб на кладбище. Из них не больше половины представляли, кем станет для будущей науки покойный. Несколько раз я бывал у него. Он жил одиноко, в давно не ремонтируемой, тесно заставленной комнате. Раздвинув бумаги на его огромном неприбранном столе, мы устраивали чаепитие, и он, посмеиваясь, рассказывал о своей фантастической жизни. Он сидел передо мной, тощий, седенький, веселый; длинная морщинистая шея его торчала из затрепанной рубашки с отстегнутым воротничком, и я понимал, но все равно не мог свыкнуться с тем, что через несколько лет эти минуты, и то, что он рассказывает, и вся обстановка обретут

историческую ценность. Никто не виноват в том, что он не был признан при жизни. Время для его идей еще не пришло. Но они уже надвигаются, эти годы. Начали обсуждать его работы, выясняют, что он имел в виду, утверждая то-то и то-то, разыскивают в архивах его заметки, кое-кто подальновидней начинает писать диссертации в развитие его идей, скоро издадут избранное, затем собрание сочинений, в учебниках появится его портрет.

— А вот наши с тобой жизни вряд ли кого-нибудь заинтересуют, — сказал я.

Пьер непонимающе похлопал глазами:

— И хорошо. Мы, слава богу, не великие люди.

— Не в этом дело, — сказал я со злостью. — Лет через сто выбрал бы ты для своей книги героем некоего Пьера Д. или меня? Лично мне моя жизнь была бы мало любопытна. Бесконфликтный персонаж.

Доброе рыхлое лицо Пьера покраснело. Он был честный и совсем неплохой драматург. Но он имел большую семью; чтобы заработать, ему приходилось переводить что попало, пробавляться обзорами, посредственными детективами.

Мы вышли с кладбища, спустились вниз, как бы пройдя сквозь картины «Церковь в Овере», «Вид на Овер» и другие картины, которых я не знал.

В городском саду на низком плоском пьедестале стоял памятник Ван Гог. Казалось, тощие голенастые ноги художника ступают прямо по мокрой траве. Странно выглядела его несоразмерно вытянутая фигура — слишком длинная шея, слишком длинное лицо, слишком большие руки, худущий, напряженный, спешащий. Сдвинутая на макушку мятая шляпа, за плечами тяжелый мольберт, тренога, сбоку ящик с красками, весь он опоясан ремнями, и маленькая кисть в руке, как кинжал. Он напоминал Рыцаря Печального Образа. Брюки его и роба на голом теле были как панцирь, но панцирь, сделанный из коры. Грубо шершавая поверхность была не просто

не отделана. Ее изъязвляли длинные трещины, рубцы, подобно коре старых лип. Да, это была кора. Не бронза, а кора облегла его, и ноги его в этом корье были как стволы дерева. Он рос из земли. В подстриженном, ухоженном сквере, среди уюта добропорядочных коттеджей черная высоченная костлявая фигура выглядела чужой. Изглоданный всеми земными муками, он уходил отсюда со всем своим нехитрым имуществом, что ему еще надо, «все мое со мной», спешил и никак не мог уйти.

Смерть его, как всякое самоубийство, вызывала подозрения. А может, то было убийство? Что вы, откуда, клялся Овер, никто не убивал его, он сам выстрелил себе в грудь; по этой дороге везли его на телеге, умирающего, Овер стоял на крылечках, в садиках, возмущенно шептался, шокированный скандалом. Овер еще не знал, как лихо ему предстоит торговать этим днем, какую славу он извлечет и втайне будет благодарен этому оборванцу за то, что он застрелился именно здесь, а не в каком-нибудь Арле.

— Позвольте, мосье, — оскорбленно возразил мне Овер, — почему вы обязательно ищите виновных? Кто виноват в самоубийстве Джека Лондона? Стефана Цвейга, Клейста, Гаршина? Разве можно упрекать людей за то, что им не нравились картины Ван Гога? Не нравились — и они не покупали, это их право.

...А теперь им нравятся, и всюду висят репродукции Ван Гога, это признак хорошего вкуса, — впрочем, сейчас куда больше в моде Клей или Сальвадор Дали, а потом еще кто-нибудь.

Когда-то и Ван Гог слыл еретиком, бунтарем, чем-то же он раздражал, но постепенно они освоили его, приспособили. Им казалось, что он украшает этот городишко, но все равно он оставался сам по себе, чужеродный и непонятный. Хотя бы тем непонятный, что всегда он был недоволен собой, все время ему надо было больше рисовать, это ему-то, который каждый день-два делал картину. Ах, да при чем тут это.

Все не так. Все было неправильно. Вы понимаете, что значит после всех мучений, болезней, лишений заявить, что все было неправильно.

«Десять лет убиты на никчемные этюды, теперь, наверное, настанут лучшие времена, — это он написал за год до смерти, — но (!) предварительно я должен усовершенствоваться в фигуре и освежить свои познания, тщательно изучая Делакруа и Милле. После этого я попытаюсь разобраться с рисунками».

И он писал это после того, как сделал за год сто пятьдесят картин, среди них лучшие свои работы, и более ста рисунков, это несмотря на припадки, болезни, заточения в больницах. И все равно — может быть, настанут лучшие времена, и то перед этим еще надо усовершенствоваться, разобраться, то есть настоящего-то еще не было... Значит, он считал, что не в силах был сделать то, что хотел, изобразить этот мир таким, как он его чувствовал.

— В этом и вся штука, — сказал мне Пьер. — Мало увидеть по-иному.

— Конечно, — подхватил я. — Ну увижу, ну обнаружу себя, других, изнутри, сверху свою жизнь... Буду недоволен, и дальше что? И не смогу. А? Не смогу передать. Ведь я о себе не привык... Нет, не смогу, и что ж тогда?

— В том-то и штука, — сухо сказал Пьер. — Нет никакого смысла. Все это недовольство и прочее в наши годы пользы не приносит.

...Я всегда утешал себя, что это подобие чувств позволяло нам с ней оставаться вместе, а если увидеть то, что на самом деле, то вдребезги, никаких иллюзий, и прости-прощай, и все, и ничего взамен. Да, попробуй написать про все это — никаких сил не хватит. Ван Гог и тот не добился, чего хотел...

Так мы стояли перед ним в блестящих наших нейлоновых куртках, я в кожаной кепочке, Пьер в мохнатом берете, дымили сигаретками, предаваясь грустным размышлениям, недолгим и приятным.

Мы еле доставали Ван Гогу до плеча. Мелкие капли блестели на бронзовой коре его распахнутой робы и под ней, на зеленоватом его впалом животе. Казалось, Ван Гог смотрит на нас. И вдруг я тоже увидел нас. Не он, а мы были нелепы, вместе с этим тучным Овером, шикарным рестораном в честь Ван Гога, с нашими ловкими самоутешениями.

— Давай я тебя сфотографирую, — сказал Пьер.

Ему хотелось вернуть меня в свой удобный мир без ненужных сантиментов и тягостных признаний и всяких раздумий. Ему хотелось продолжить наше путешествие, купить оверские сувениры, открытки с этим памятником, пойти на берег Уазы.

— Не стоит, — сказал я, — не нужно фотографий, я должен и так запомнить.

«Неужели все это забудется? — думал я. — Господи, только бы не забыть этого чувства, этой фигуры, этого утра. Чтобы все осталось. Не дай мне забыть того, как я сейчас себя вижу, и все, что я сейчас чувствую...»

Примечания к путеводителю

Встреча в аббатстве

ЭТО БЫЛО ПЕРВОЕ МОЕ УТРО в Лондоне и в Англии. Выйдя из гостиницы, я пересек улицу и очутился в Гайд-парке. Мелкий туман лежал в зеленых лощинах. На траве валялись шезлонги. Парк был пуст. Не очень-то мне хотелось топтать траву, к тому же она была мокрая, но раз уж я попал в Англию, я обязан был ходить по газонам. Во всех путеводителях, во всех путевых очерках говорилось о том, что в Англии ходят по газонам. Я вступил на газон. На всякий случай оглянулся. Для верности я остановился, подождал — никто не засвистел. Трава была скользкой, ноги у меня скоро промокли, я с удовольствием вернулся бы на асфальт аллеи, но теперь боялся, как бы меня не шуганули обратно, что-то ведь должно быть запрещено. Либо по аллеям, либо по траве. И надписей никаких не было, и правил, как пользоваться парком. А в путевых очерках, даже в самых лучших, например у Сергея Образцова, тоже избегали сообщать насчет аллей.

На повороте конной дорожки я подождал. Прошла минута. Никто не появлялся. Я удивился. Я точно знал, что должно

Печатается по: *Гранин Д.* Собрание сочинений: В 8 т. СПб.: Вита Нова, 2009. Т. 3. С. 7–71.

быть здесь по утрам. Я даже начал сердиться. В это время из-за деревьев вылетели опоздавшие всадники; подъезжая ко мне, они притворились, что ничего не случилось. Я недовольно покачал головой, но все же успокоился. На ухоженных лошадках сидели ухоженные джентльмены и леди с хлыстиками. Как и полагалось по всем путеводителям и опять-таки по путевым очеркам, утром на лошадях совершались прогулки по Гайд-парку. Все оказалось на своих местах. И мраморные арки, и жирные дрозды, и тонкие лебеди на прудах. Я шел, как завхоз, проводящий инвентаризацию, и вскоре печаль, похожая на этот мелкий туман, охватила меня. Я перестал понимать, зачем я сюда приехал. Чтобы проверить, все ли на месте? Кажется, впервые в жизни я потерял вкус к путешествию. И это в первое утро, то особое, всегда удивительное для меня прекрасное первое утро в новой стране!

Светило солнце, потеплело, зелень пахла свежестью, утро делало вид, что оно не виновато.

«Что тебе еще нужно? — спросил я себя. — Какого черта? Ты ведь любил эту страну, ты столько читал о ней, смотрел ее во всяких фильмах, тебе она нравилась, тебе нравились ее люди, ее замечательные люди, такие как Свифт, и Резерфорд, и Фарадей, и Бёрнс, и Максвелл, и Киплинг, и Конан Дойл, да мало ли! Что ж ты морочишь себе голову?»

Слова мои были неопровержимы, убедительны, логичны. Тем не менее они не помогали. Что-то испортилось. Я шел и думал о том, что когда-то люди путешествовали, чтобы открывать новые земли, новые народы, обычаи, природу, — словом, открывать.

А нынче? Я вспомнил ежегодные тучные стада туристов, которые топчутся по всем храмам, замкам, музеям с путеводителями в руках, всех этих немецких и американских старух, всех отпускников, увешанных фотоаппаратами и кинокамерами, что-то отмечающих крестиками и птичками, туристские автобусы с микрофонами и удобными креслами, из которых неохота вылезать.

А зачем вылезать? И вообще, зачем ехать, когда все это можно увидеть дома, в цветном кино, и на открытках, и в телевизоре, и в роскошных альбомах? Стоило ли ехать в Лондон на футбольное первенство, когда, сидя под Ленинградом, мы отлично видели на экране все подробности, лучше, чем на стадионе!

Я шел по Гайд-парку и мысленно перебирал все, что нам предстоит осмотреть. Когда-то я жадно читал путевые очерки об Англии. Я читал их в разное время, но сейчас они слились неразлично. Никто ни у кого не списывал, — наверное, авторы и не читали друг друга, и тем не менее каждый неукоснительно повторял один и тот же набор английских впечатлений. За сотню лет установился обязательный перечень для всякого пишущего об Англии.

Если бы я собирался писать еще одни путевые заметки, то не имело, конечно, смысла ехать в Англию; вместо того чтобы болтаться по стране, можно было в это же время преспокойно писать о ней, сидя дома. Для этого достаточно было взять несколько подобных очерков, все равно каких, можно старых, времен Марка Твена или Чапека, можно поновее — вплоть до Сергея Образцова или даже Утченко, и вывести нечто среднее. Бояться тут нечего, ошибки не будет: Англия тем и хороша, что в ней ничего не меняется. По крайней мере для путешественника: он может приехать на десять лет позже, на двести раньше и написать свои впечатления об Англии двадцатого века или двухтысячного года — получится примерно одно и то же. Учесть лишь мелкие подробности, например насчет транспорта... И то ничего существенного тут не произошло. Вот, например, как Чапек описывает движение на лондонских улицах двадцатых годов нашего века: «Бесконечной, непрерывной лентой тянулись в четыре ряда всевозможные автобусы, пыхтящие, облепленные роем людей, как стадо рвущихся в атаку мастодонтов, рокочущие автомобили, грузовики, паровые машины, велосипедисты, летящая свора автомобилей, бегущие люди, машины „скорой помощи“...» Вычеркнуть паровые машины — и все будет точно.

По-прежнему несется бог весть куда то же стадо, так же ошеломляя, подавляя размерами, количеством, безостановочностью, все так же испытываешь нечто катастрофическое от размеров Лондона, от этого скопища людей. Все так же путешественник начинает чувствовать себя ничтожной бактерией...

Я попробовал забраться еще дальше в прошлое, куда-нибудь в девятнадцатый век: «Узкие, извилистые улицы сплошь залиты живым потоком. Омнибусы, кареты, кебы, огромные фургоны с кладью тянутся непрерывной нитью... Лавируя между мордами лошадей и между колесами экипажей, пользуясь заминкой, перебегают пешеходы с одной стороны улицы на другую. На тротуарах тоже сплошной поток пешеходов. Все как будто высечены по одному образцу: все в черных сюртуках и цилиндрах, все одинаково выбриты, и у всех на лице застыло одинаково деловое выражение...» Это написано было в 1890-х годах Дионео.

И так же ощущал Лондон в 1840-х годах Фридрих Энгельс. Снова «с трудом пробиваюсь сквозь толпы людей, бесконечные вереницы экипажей и повозок...». Кстати говоря, отличное описание Лондона. И опять уже тогда оказывается, что «в самой уличной толкотне есть что-то отвратительное, что-то противное природе человека». Слишком много людей. Все они одинаковы и все бесконечно разобщены: «...как будто между ними нет ничего общего, как будто им и дела нет друг до друга, и только в одном установилось безмолвное соглашение, что идущий по тротуару должен придерживаться правой стороны».

И в восемнадцатом веке, и, наверное, в семнадцатом Лондон производил на приезжих то же самое впечатление. Можно подумать, что город этот сразу появился переполненный, тесный, с незатихающим уличным движением, и с тех пор, не останавливаясь, столетиями мчатся куда-то люди, катятся колеса, повозки сменяются кебами, кебы лимузинами, омнибусы автобусами, велосипеды мотороллерами, но дух города не меняется.

Первое ощущение от города было — громадность. И города-то я еще толком не видел. Я вышел из отеля и пошел по Санкт-Петербургской улице. Тихая, составленная из трех-четырёхэтажных домов, вроде бы совсем провинциальная, и прохожих мало, и движение редкое, и тем не менее было явно ощущение невероятных размеров этого города. Оно возникло необъяснимо, как чей-то взгляд в затылок. Ни в каком другом большом городе не было этого постоянного ощущения присутствия миллионов людей.

Разумеется, и это мое ощущение не было моим. Все путешественники писали то же самое. Любое мое чувство и наблюдение было уже описано. Лондон состоял из цитат. Соборы, ленч, туманы, парки, клерки, Сити, каминны — все было в кавычках. Из одних кавычек я попадал в другие. Я был обречен на плагиат.

У плагиата свои правила. Лучше всего списывать не с одной книги, а с многих. Выводить среднее. Избегать афоризмов и дат. Если списывается больше одной страницы, то на всякий случай следует добавить что-то вроде: «Говорят, что...» или «Считается, что...»

Достаточно прочесть несколько очерков, зарисовок, путевых впечатлений и т. п., и станет ясно, что нет ничего легче, как описать Лондон.

Всякое более или менее добросовестное описание включает следующее:

1. Туманы. Фог и смог, копоть на стенах, черно-белая графика домов, левостороннее движение, двухэтажные автобусы, потоки машин, длинные улицы одинаковых домов, по-разному раскрашенных; скверное метро.

2. Смена караула у Букингемского дворца. Королевские гвардейцы в малиновых мундирах и высоких мохнатых шапках. Играет оркестр, бьют барабаны, выкрикиваются команды, толпы туристов облепили памятник королеве Виктории, втиснули головы и фотоаппараты сквозь прутья решетки — смотрят этот бесплатный ежедневный оперный спектакль.

3. Площадка ораторов Гайд-парка. Маленькие и большие толпы зевак вокруг кричащих, охрипших политиканов или проповедников. Комедия демократии.

4. Музеи. Британский музей. Национальная галерея. Музей восковых фигур. Картины прекрасные, экспозиция плохая, музеев слишком много, от количества экспонатов кружится голова. Дается описание Мадонны Леонардо, обязательно Тёрнера и еще двух-трех художников по выбору. Музей восковых фигур подвергается осмеянию.

5. В Тауэре бродят вороны. Приводятся соответствующие легенды об этих воронах. Мрачная летопись преступлений, убийств, несчастные маленькие Эдуарды, задушенные где-то под лестницей.

6. Английские традиции — камин, мешок с шерстью, на котором восседает спикер, пивные — пабы, королева, рождественская индейка, лондонские клерки в котелках, с черными зонтиками, ресторанчик Шерлока Холмса. И вывод: что дают традиции рядовому англичанину? Ничего не дают.

7. Вестминстерское аббатство, Сити, рекламные огни Пикадилли, подозрительные кабачки Сохо, аристократические кварталы Вест-Энда, контрасты.

8. Встречи с лондонцами... Тут тоже особой фантазии не требуется: любые встречи, независимо от того, были они или нет, должны сводиться к тому, чтобы доказать, что англичане, и лондонцы в частности, вовсе не чопорны, не холодны, им доступно чувство юмора, они даже смеются, — словом, они никак не соответствуют традиционному образу молчаливых, замкнутых англичан.

Любопытно, с какой настойчивостью в каждой книге убеждают, что англичане вовсе не похожи на англичан. Кто первым вывел этот традиционный образ англичанина, на который англичанин не похож, выяснить не удалось. Ссылки никто не приводит, однако все опровергают, опровержение длится много лет, и не следует обходить это правило. Приемы используются проверенные, безопасные:

«Напротив меня сидел сухопарый англичанин с гитарой. Мы разговорились...»

«Молоденькая высокая англичанка, узнав, откуда мы, сказала...»

«Шофер такси оказался славным малым, он рассказал мне...»

Какими бы ни были встречи, приятными, неприятными, они приводят к неизбежному выводу — глубоко интимному, выношенному, который вырывается непроизвольно: «...и все же, если меня спросят, что мне больше всего понравилось в Англии, я должен признаться: талантливый, трудолюбивый английский народ».

Восемь этих глав про Лондон как минимум обязательны в каждом очерке. Регламентированные наборы существуют и для Эдинбурга, и для Стратфорда, и для прочих мест. Никаких добавочных приключений нынешним путешественникам не полагается.

Книга получится ничуть не хуже других книг, странно, что никто до сих пор не догадывался заняться этим.

Но я не собирался писать про Англию.

— Правильно, — сказал мне сухопарый англичанин с гитарой, — невозможно написать что-либо новое на материале столь короткого пребывания в стране.

— Между прочим, ерунда, — ответил я. — Можно написать про один день своей жизни огромную книгу. Еще Лев Толстой пытался написать такую книгу, ваш Джойс написал такую книгу, лучшую свою книгу. День — это даже слишком много; наверное, можно написать про несколько часов, самых обычных, заурядных часов своей жизни, а уж путешествия — тем более.

Однако выяснилось, что жизни-то нет. Вместо жизни имелась расписанная вперед по часам программа всех действий и перемещений: я мог знать, где и когда я буду, что увижу, что буду делать. Самого меня как личности не существовало, от меня ничего не требовалось, гид вкладывал в меня необходимые сведения, на очередную достопримечательность

выдавались апробированные, заготовленные впечатления. Не нужно было думать, действовать, надо было лишь быть в составе, быть как все, не отставать, не высовываться. А говорят, были времена, когда путешествие было открытием неизвестного, путешественники переживали приключения, опасности.

«Что же мне делать, — подумал я, — как стать путешественником в этой стране, которую никто не открывал, которая открывала других? Как выбраться из этого заколдованного круга чужих впечатлений, сведений, описаний?»

Я ничего не мог придумать. Я вернулся в отель, потому что я должен был туда вернуться, я сел в автобус, потому что пора было садиться. Мы ехали, останавливались, вылезали, снова садились. В репродукторе звучал голос гида. За стеклом проплывали улицы, витрины, достопримечательности, все это было хорошо поставленной широкоформатной цветной кинокартиной, объемной, стереозвуковой, сделанной в новой документальной манере, — поток жизни. Потом мы обедали и снова ехали, шли по залам музеев, потом ужинали и опять ходили. Тауэр был такой, как на фотографиях, картины были такие же, как в монографиях. На Темзе стояла «Дискавери» капитана Скотта и дальше мост Ватерлоо и Парламент.

Постепенно я втягивался в странную легкость такого существования, мнимого, призрачного и весьма удобного, поскольку не нужно было ни о чем думать, ни о чем заботиться, ничего искать, мне указывали, куда смотреть, что тут красивого, я убеждался, что все стоит на своих местах, что это и есть тот самый, а это всемирно известный... жил глазами, ушами, ногами. На стритах пахло бензином, в парках — каштанами; вороны Тауэра каркали, негры в котелках, помахивая портфелями, спешили на службу. Я был доволен: Лондон был построен в точном соответствии с путеводителями, очерками и кинокартинами.

На площадке ораторов Гайд-парка по воскресеньям добросовестно несли свою службу ораторы. И речи их были те же

самые, что и всегда. Какой-то индус проповедовал гипноз. Студент все так же настаивал на необходимости реформы образования. Как и сто лет назад, ходил седоусый джентльмен с плакатом, возвещающим конец света. Индус требовал свободу Ирландии. Старушка поразительно сильным голосом читала библейские тексты. Бородатый пророк призывал всех вернуться в Израиль. Тут же хор из трех человек исполнял псалмы. Скрипач пиликал подле одной из трибун. Яростно спорили два толстяка — один на трибуне, другой в толпе — об экономике Египта. Больше всего слушателей окружало оратора, осуждающего агрессию во Вьетнаме. Носились крикливые фашиствующие поклонники Мосли, бородатые, в красных рубашках, но, несмотря на свою молодость, они казались ветхими, какая-то гальванизированная архаика.

Большой Бен стоял на месте. Резиденция премьер-министра оставалась на Даунинг-стрит, 10. Королевские гвардейцы действительно носили высокие мохнатые шапки и алые мундиры. В девятнадцать часов началась церемония смены караула. Три тысячи туристов сделали тридцать шесть тысяч снимков, не считая сотен метров отснятой киноплёнки.

В кабачках Сохо шли стриптизы. Зазывалы стояли у маленьких входов, ведущих в подвальчики. Проститутки выстроились в соседнем переулке возле машин, поигрывая ключиками. Автобусы с туристами всех стран подъезжали к собору Святого Павла, к Темплю, к Парламенту. Мы покупали с ними одни и те же открытки и сувениры, пока наши гиды на всех языках рассказывали одни и те же истории.

Меня начала устраивать такая жизнь. Во всяком случае, это было удобно. Вечером мы возвращались в номер и смотрели телевизор. Там показывали фильмы с убийствами, мотогонками, потом реклама шампуня для волос, снова пальба, а в двенадцать ночи исполнялся гимн, показывали несколько кадров хроники с королевой, и мы ложились спать.

Иногда мне снились коровы на зеленом лугу в красных мундирах королевских гвардейцев. Веселые, бездумные сны

смотрелись как продолжение телевизионных программ. Мы жили в волшебном стерильном королевстве, лишенном всяких мучительных проблем. Стоит ли чего-то добиваться, искать, спорить, за вас думают другие, ваше дело — соблюдать программу, и все будет о'кей! Дни скатывались в минувшее, точно по графику, легко и безмятежно, не оставляя ни разочарования, ни чувства утраты, ничего не оставляя. И если бы не случай в Вестминстерском аббатстве...

Строго говоря, нельзя называть это ни случаем, ни происшествием. Я шел вместе со всеми вслед за экскурсоводом, разглядывая витражи, распятия, надгробия знаменитых кардиналов, полководцев. Вдруг, бывает же так, какой-то толчок изнутри, я посмотрел под ноги и увидел маленькую, затоптанную тысячами ног плиту с полустертой надписью: «Майкл Фарадей». Еле виднелся ее светлый мрамор среди каменных плит пола.

Я забыл об экскурсии, о других великих, которые, как мне было известно, находились в боковых притворах, я остановился и застыл, сперва без мыслей и чувств, а потом что-то во мне мучительно дрогнуло, и я почувствовал самого себя. «Душа моя очнулась» — так говорили когда-то, и хорошо говорили.

Михаил Фарадей был одним из героев моего детства. Я прочел книгу о том, как он мальчиком работал подмастерьем в переплетной мастерской и по ночам сидел над растрепанными томами, которые приносили переплестать заказчики. Жизнь его начиналась трудно и далеко от славы и науки, она казалась доступной и не требовала для подражания ничего, кроме увлеченности и бедности. Я тогда тоже хотел стать великим ученым. В детстве достижимо все — можно стать силачом, летчиком, красиво умереть, переплыть океан. Герои менялись. Гаврош, Спартак, Овод, Монте-Кристо, Чкалов, среди них Фарадей был самым скромным. Он не умел стрелять. Вообще, неизвестно, мог ли он драться, давать сдачи. Время от времени я жертвовал своей ученой карьерой ради

Днепрогэса, борьбы с врагами народа и полета на полюс, но Фарадей почему-то не покидал меня. Он появлялся где-то на уроках физики и химии. Незаметно и преданно сопровождал он меня и в студенческие годы. Я все еще думал, что могу добиться всего, чего захочу. Я путал увлеченность с талантом. Тем более что у Фарадея все выглядело как нельзя просто. Он не отпугивал математикой, формулами. Опыты его делались самыми элементарными средствами. Лишь в аспирантуре я начал кое-что понимать в простой, с виду монотонной жизни этого человека.

Фарадею был тридцать один год, когда он записал в своей книжке: «Превратить магнетизм в электричество». Так записывают себе задания в перекидном календаре. В карман сюртука он положил медную спираль и железный брусок. С тех пор он носил их постоянно, то и дело вынимая, принимаясь по-всякому вертеть в руках. Куда бы он ни шел, что бы ни делал, всегда с ним были спираль и брусок. Брусок был магнитом, спираль — проводником. Одновременно с ним во Франции над этой проблемой думали Ампер и Араго. Спустя три года Ампер отступился, он решил, что электрический ток посредством магнита получить невозможно. Фарадей упорно продолжал вертеть в руках свою спиральку и брусок. Он занимался светом, электрохимией и магнетизмом и неотступно размышлял над своей главной задачей. Конечно, он не знал, насколько она окажется главной среди всех его открытий, его не занимали практические результаты: революция в энергетике, электростанции, генераторы, двигатели — все, к чему приведет его открытие. У него было лишь ощущение связи двух явлений, один из секретов природы, который он хотел разгадать: спираль и брусок. Шли годы, усилия его ни к чему не приводили. А впрочем, неверно, он постоянно получал результаты, неважно, что отрицательные, важно, что он что-то узнавал, — это процесс познания, счастливый уже сам по себе. Спустя десять лет он получил и тот самый результат, тот знаменитый, конечный, исторический, который осветил весь

его путь светом славы и успеха. За несколько дней он провел опыты, и открытие его отлилось в наиболее совершенную, может быть, идеальную форму. Через полвека другой великий физик, Максвелл, писал: «...самые опытные физики не смогли избежать ошибок, когда они пытались описать открытия Фарадея и проверенные им явления более научным языком, чем сделал сам Фарадей. Уже прошло полвека со времен Фарадеева открытия, и безмерно умножились как способы его практического использования, так и значение их для жизни. И в этой практике ни разу не обнаружилось ни малейшего противоречия или исключения из тех законов, какие установил Фарадей. Больше того, та первоначальная форма этих законов, какую придал им Фарадей, остается до нынешнего дня единственной...»

Среди поучительных, анекдотических, хрестоматийных историй великих открытий открытие Фарадея антилегендарно. Не падало яблоко, не прыгала крышка чайника. Случай не приходил на помощь. Не было озарений, счастливых стечений обстоятельств. Порода, которую он долбил, была слишком крепка, ему пришлось пройти весь путь без льгот и нечаянных находок. Десять лет он отбирал вариант за вариантом. Гениальность его состояла не из школьного терпения и трудолюбия. Он умел изобретать все новые комбинации, задавать все новые вопросы. Воображение его было неисчерпаемо. Так Иоганн Бах возводил свои фуги, извлекая неисчерпаемые вариации из одной темы. Так Хемингуэй в романе «Прощай, оружие!» тридцать семь раз переписывал последнюю страницу. Тридцать семь раз — какой поучительный пример для молодых писателей! Вот вам, милые, образец добросовестности и высокой требовательности к своей работе!

Но даже когда я стал немолодым писателем, мне при всем желании не удавалось больше шести-восьми раз переписывать незадавшуюся страницу. Я переставал видеть, что там плохо. Зато я понял, что такое большой талант. Тот же Хемингуэй

мог написать с ходу, без помарок совершенную вещь, но нужен был великий талант Хемингуэя, чтобы тридцать семь раз найти, что переделывать, увидеть заново, иначе, лучше.

Фарадей не ослеплял гениальностью. Гением можно восхищаться, ему нельзя подражать. Почти полностью потеряв память, Фарадей продолжал исследование. Память для экспериментатора — то же, что слух для композитора. Это было так же мучительно, как глухота Бетховена. Трагедия сближает великих людей с человечеством. Мужество Фарадея стало для меня одним из примеров. Прошло столько лет, и время не повлияло на оценку его жизни. В ней ничего не превращалось в заблуждение, не становилось наивным. Я знал, что он похоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с Ньютоном, и действительно, рядом лежала большая плита — Исаак Ньютон, и за ней опять маленький камень — В. Томсон. Тут же лежали плиты с именами Максвелла, Ч. Дарвина, Вильяма Гершеля и сына его, также знаменитого астронома, Джона Гершеля.

В биографиях великих ученых для меня наиболее волнующим и таинственным было выявление личности, как они находили себя. Они еще не знали, что им суждено, и я, переживая, следил, как они сбивались, плутали, нащупывая свое призвание. С тревогой следил я за Вильямом Гершелем, когда отец зачислил его в полк музыкантом-гобоистом. Как Гершель через несколько лет дезертировал, бежал в Англию, стал там учителем музыки, как он от теории музыки перешел к математике, от нее к оптике и, наконец, нашел свою астрономию.

На памятнике Ньютону были строчки: «Да поздравят себя смертные, что существовало такое и столь великое украшение рода человеческого».

Я был тот самый смертный. Я почувствовал, как много значили для меня примеры этих жизней. Они действительно украшали человеческий род, это было точно сказано, и ценность этих украшений не меняли ни мода, ни вкусы, ни наша

запоздалая мудрость. Они помогали нам оставаться язычниками, не сводить нашу веру к единому, единственному божеству, одному великому, непогрешимому, мудрейшему, тому, кто мог решить любую проблему философии, конструкции стрелкового оружия и сбора хлопка.

Мои боги не имели ни власти, ни прав... Но сейчас я не собирался сравнивать, я слишком был занят ощущением встречи. Могила пробудила во мне древнее, не истребленное никаким воспитанием чувство: хотелось опуститься на колени, прикоснуться рукой к этим плитам. Постоять, мысленно общаясь с теми, кто лежал здесь.

...Разбитый автобус трясся по булыжнику шоссе. Сквозь дрему я услышал голос кондукторши: «Пушкинские Горы». Не успев понять, что я делаю, я выскочил на остановке, оглянулся. Был вечер, осенний, ветреный. Автобус ушел. Мне надо было ехать еще далеко, в совхоз, но я пошел в гостиницу и обрадовался, что там нашлась свободная койка. У меня не было в Пушкинских Горах знакомых и не было никаких дел. Я перекусил в чайной и лег спать. Посреди ночи что-то меня разбудило. По лунному сводчатому потолку метались тени ветвей. В нескольких шагах от меня, в монастырском дворе, лежал Пушкин. Вдруг это соседство, его присутствие ощутилось как неповторимое событие. Я встал, оделся, вышел в монастырский двор и поднялся по шумным от палых, сухих листьев ступеням к церкви. При свете луны я нашел белый камень. Долго сидел перед могилой, среди ночных шорохов и треска падающих листьев. Из таких встреч и складывается жизнь человека. Где-то, к концу пути, выявляется, что было их совсем немного, может, несколько часов или, если повезет, дней. И события-то никакого не было, а ведь запомнились навсегда со всеми красками и зыбкостью эта ветреная ночь у могильного камня, крик петухов, как блестела луна на траве, темная громада церкви, монастырские стены, счастливое чувство связи времен, того, что связывало меня с Пушкиным,

и того, что будет и после меня, с кем-то затерянным в будущем, эта река времени, что шла сквозь меня, — я отчетливо ощутил ее мирный, устрашающий и благотворный ход.

И вот сейчас я вспомнил ту ночь в Святогорском монастыре. Сколько раз видел я на картинах этот монастырь и могилу Пушкина, так же как и фотографии надгробия Ньютона, — ну и что из того? Никакие знания и сведения не могли заменить моего присутствия и дать этих минут. Эффект личного присутствия — так называют его психологи.

Разноязычный гул поднимался к сводам аббатства. Шли экскурсии, туристы бродили, выискивая знакомые памятники, надгробия, капеллы. В боковых притворах горели свечи, священники справляли службу. Толпы туристов окружали надгробные статуи Марии Стюарт и Елизаветы. На скамьях молящиеся. Лица их были отрешенны, сосредоточенны. Они не обращали внимания на суету у могил Шелли, Байрона, Киплинга, на гидов, показывающих могилу Неизвестного солдата. И я тоже не хотел никуда идти, ничего смотреть. Я стоял у дорогих мне камней и думал о том, что никогда уже не стану ученым, что моя мечта о науке не сбылась. Ничего не осталось ни от детства, ни от юности, от победных, веселых надежд, ничего, кроме горьковатой любви к этим великим именам. Но и за это я был благодарен им, и за то, что вот сейчас они заставили меня думать о том, правильно ли я жил. Когда-то паломники шли к святым местам приобщиться, исполниться благодати, и это было не так уж глупо.

С вышины под сводами собора падали, скрещиваясь, широкие лучи света.

— Пошли, — сказал мне кто-то из наших. — Пора.

— Сейчас.

Я еще постоял, прощаясь. Какая-то группа туристов подошла к гробнице Ньютона.

— А, Ньютон! О, Ньютон! — И они расположились фотографироваться так, чтобы видны были доска, надпись и они сами. Фотограф встал на полустертую плиту Майкла Фарадея.

У выхода служба продавал божественные брошюры. Он вскинул глаза на меня — что вам угодно? — я улыбнулся ему, он понял, что ничего мне не надо, я просто увидел его самого. Наверное, ни разу за день никто не посмотрел на него. Он несмело улыбнулся.

На площади светило солнце. Где-то над ним горели невидимые двойные звезды Гершеля. Земля двигалась по законам Ньютона, свет — по уравнениям Максвелла, а на Бейкер-стрит сидел у камина, попыхивая трубкой, Шерлок Холмс, и неподалеку от него жил Диккенс, и вдруг стал вспоминать одного за другим — Уэллса, Резерфорда, таинственного чудака лорда Кэвендиша, Бернарда Шоу, Алана Силлитоу, как мы сидели с ним в Ленинграде и пили пиво, английского летчика в 1944 году на фронте в Восточной Пруссии, Льюиса Кэрролла и Джона Бернала... Я и не представлял, сколько у меня здесь знакомых. Как это мне раньше не приходило в голову! Я мог иметь свою Англию, нигде не списанную, ни с кем не совпадающую.

Меня ждали в автобусе. Кажется, я сел в автобус. Теперь это не имело значения. Я не слушал гида, я смотрел на громаду Вестминстера, грустно было уезжать отсюда. Я выпал из заведенного распорядка. Отныне я не был обеспечен проверенными маршрутами и бесплатными чувствами. Так ехать было труднее, рискованней, но изменить что-либо было поздно.

Пикадилли

«Пикадилли» я прежде всего воспринимал как кинотеатр. До войны был такой кинотеатр в Ленинграде, недалеко от нашей школы. Пока проветривали зал, мы пробирались со двора по черной лестнице. Если не было свободных мест, мы садились в проходе, подложив под себя наши портфельчики. Кругом пахло жареными семечками и галошами. В «Пика-

дилли» я впервые увидел «Снайпера» и «Путевку в жизнь». Кинотеатр «Пикадилли» было детство, чернильницы-невывайки, игры в орлянку. Много позже я узнал, что в Лондоне тоже есть Пикадилли, а в Риме — Колизей, но для меня это прежде всего были кинотеатры.

— Вы были на Пикадилли?

— Мы пойдем на Пикадилли.

— На Пикадилли нужно идти вечером.

— Ночью!

— Пикадилли — это то же самое, что площадь Пигаль в Париже.

Мы пришли туда под вечер. Пикадилли оказалась маленькой, тесной круглой площадью. В середине стоял огороженный памятник Эросу. Бог любви был сделан из алюминия. За низкой металлической решеткой на ступеньках памятника сидели и лежали битники. Их было десятка два-три. У всех, конечно, были длинные, до плеч и ниже, волосы. Стояли теплые сентябрьские дни, и некоторые были босиком. Одеты они были по-разному. Пиджаки на голое тело. Белые рубашки навывпуск. Рваные парусиновые брюки. Соломенный колпак. Полосатая арестантская куртка. Подведенные синью глаза — не то парень, не то девушка. Пришел парень в старом солдатском мундире и трусиках. Компания в синих балахонах лениво пела под гитару. Поодаль на тротуарах топтались туристы и разглядывали битников. Прохожие тоже задерживали шаг, посматривая туда, за решетку.

Я не заметил прохода в ограде, мне показалось, что битников просто содержат там ради туристов: главное украшение Пикадилли, зоопарк на площади. К ним и впрямь никто не решался войти. Они уныло бродили по своей арене, подставляя себя под взгляды любопытных.

Но тут мы обнаружили проход и, набравшись духу, пересекли площадь. Никто из битников на нас не кинулся. Они не кусались и не рычали. Трое, среди которых, по некоторым слабым признакам, была одна девушка, расстелив газету, закусывали: бутылка молока, галеты и сыр. Мы прислонились

к ограде, привыкая и давая им тоже свыкнуться с нашим присутствием. Мы курили, рассеянно поглядывая по сторонам. Было невежливо уставиться вплотную на этих ребят. Хотя, судя по всему, они привыкли к тому, что на них смотрят. Проходили минуты, и чем дальше я наблюдал за ними, тем непонятней для меня становилось их поведение. Вначале казалось, что они чего-то ждут. Но никто из них ни разу не посмотрел на часы, не проявил нетерпения. Они не отдыхали, не трепались, не задевали прохожих, не глазели по сторонам. Они вообще ничего не делали. Двигались они замедленно и бесцельно; подошло некое бесполое существо в грязном халате, его встретили улыбками, похлопали по плечу, никаких возгласов, расспросов. Появились двое завитых мальчиков с покрашенными губами, в туго обтянутых штанах. С этими по крайней мере было все ясно.

Больше всего меня заинтересовала одна парочка. Он сидел на ступеньках неподвижно и молча. Девушка, стоя на коленях, расчесывала ему волосы. Она занималась этим со всей серьезностью. Бледное, довольно красивое лицо парня скорбно застыло. Он не замечал ни ее, ни окружающих, взгляд его был устремлен в абстрактную бесконечность. Блестящие длинные волосы были давно уже идеально расчесаны, они гладко спадали на его худые плечи, напоминая царевича Алексея, а девушка все пропускала их через гребень. Движения ее были монотонны, она наклонялась то с одного бока, то с другого и все водила гребнем и оглаживала его волосы рукой. Я тщательно старался понять, что же должно это означать; она, конечно, не причесывала, она изображала причесывание, непонятно для кого. Это не было игрой в куклы и не было спектаклем. Они не искали зрителей, не старались привлечь к себе внимание. И другие битники принимали их действия как нечто естественное. Наконец девушка устала, села рядом со своим дружкой.

Тем временем стемнело. На площади толчками разгоралась реклама. Изогнутые, бегущие, верткие росчерки всех цветов.

Затейливо пульсировала реклама сигарет, реклама каких-то средств, каких-то снадобий и, разумеется, реклама кока-колы. Вспыхнули огромные часы с маятником, реклама «Дейли экспресс», реклама «Макс Фактор», реклама нового кинофильма. Площадь съежилась, высокие огни стиснули ее, заслонили здания. Реклама громоздилась на рекламу, слишком цветастые и яркие, и к тому же еще на крохотном пространстве. Как плохие декорации, как безвкусное изображение капиталистического города. Впадающие на площадь улицы выглядели вполне пристойно: широкие, с истинно роскошными витринами, освещенные ярко, но без назойливости. На Пикадилли же Лондон слегка пародировал себя. Все было так, как в самых халтурных очерках. Он горел, как штамп, как клеймо стандартного представления о капитализме.

В такт огням площадь засуетилась. Ярмарочная эта мельтешня была чужой, не свойственной городу, в ней слышалась одышка. Значит, это и были прославленные огни Пикадилли. Помню, как я был разочарован и обижен. Уж Лондон-то мог расщедриться на что-либо пограндиозней. От центра имперской столицы пахло жареными семечками и галошами. Пожалуй, в «Пикадилли» моего детства киношный капитализм выглядел внушительней, ярче, сказочней.

К нам в загородку, с некоторой опаской, держась кучно, зашли американцы. Они стали обозревать битников, снимать их, осторожно заговаривали с ними. Двое полицейских на всякий случай подошли поближе.

Девушка, отдохнув, снова принялась меланхолично расчесывать шевелюру своего друга, он сидел так же безучастно. Цветные отсветы огней скользили по его застылому лицу. Загадочная бессмысленность этих действий томила меня. Что-то ведь должен был означать этот нелепый ритуал. Битник в трусах расстелил матрасик и улегся спать на ступеньках. Появились еще несколько странников с тюфячками, кажется французы. Была там еще гречанка в сандалиях, несколько

итальянцев. Похоже, что под алюминиевым Эросом скрещивались транзиты международных битников. Они иногда охотно отвечали американцам, иногда отмалчивались, но без злости, и это тоже путало. Спутники мои давно покинули меня, а я все не мог оторваться от девушки, расчесывающей волосы. Я искал какого-то объяснения. Мне нужен был смысл, я не мог примириться с абсурдом. Но именно абсурдность притягивала, заставляла ждать.

— Родители? — сказало существо в халате. — Родители все равно что полиция — это правительство, это власть.

Они нравились ему, чужие формулы, придуманные, в сущности, теми же родителями, взрослыми знатоками молодежных проблем. Если б я сам мог что-то понять в этой картинке без конца и начала!

«Нет, Лондон — это не битники, — отчаявшись, утешил я себя. — И не огни Пикадилли. И даже не Оксфорд-стрит. Так же как Ленинград — это не мальчики на углу Невского и Литейного и не кафе „Север“. Нет, Лондон — это совсем другое. Да, — доказывал я, — Лондон — это не кабачки Сохо, и не Тауэр, и не Гайд-парк». Я перечислил почти все, что видел, и мне стало легче.

Я шел мимо раскрытых дверей всевозможных ресторанов — на столах горели свечи, двигались официанты в чалмах, официанты в ковбойских костюмах. На стеклах лучились искусно сделанные следы пуль. Рестораны китайские, итальянские, мексиканские, а между ними бары — спортивные, охотничьи, бары художников, бары матросские. Нет, это еще не Лондон, повторял я себе. И вообще весь район Пикадилли и Сохо — нетипично и нехарактерно, решил я для простоты.

Крики вечерних газетчиков затихали позади, исчезали прохожие, исчезали нищие, пиликающие на скрипках.

Я уходил в пустынные улицы. Под белым, холодным светом огромных витрин изредка стояли люди. За стеклами тоже

стояли люди. Прекрасно одетые мужчины и женщины. В декорированной глубине витрин разыгрывались целые сцены. Манекены сидели, лежали, обнимались. Они шли с зонтиками, накинув полосатые плащи; падал снег, и они кутались в меха; стояла старинная, стильная мебель, и они были в вечерних туалетах: сиреневые тона, золотистые тона, черно-белые. Лаковый блеск туфель, сотни разных моделей, тысячи туфель любых цветов и фасонов.

Безлюдье обнажало богатство и обилие витрин. Нельзя было представить себе, что все это можно поглотить, надеть, примерить, употребить. Слишком много всего. Некогда было выбрать, невозможно остановиться, следующая витрина тащила к себе, и не было им конца. Уже не успеть о чем-то подумать, что-то почувствовать, насладиться, надо было спешить дальше вдоль строя витрин, смотреть еще, еще... Бесконечный коридор слепящих витрин заглатывал. Это был тоже абсурд. Где-то под алюминиевым Эросом девушка в драной тельняшке водила гребнем. Круги абсурда словно расходились по ночному городу. Сделав усилие, я круто свернул куда-то к району Кенсингтона.

Спускался туман. Жидковатый мелкий туманчик, совсем непохожий на знаменитые лондонские туманы. Вообще с туманами в Лондоне стало туго, это был единственный туман, который достался на мою долю. Светили желтые фонари. На этих улицах отсутствовали магазины, здесь стояли четные дома, было пусто, тихо, изредка проносились желтоглазые машины.

Все дома были одинаковы. Я видел уже немало таких улиц, составленных из примерно одинаковых домов, порой неразделенных, вплотную сомкнутых в один дом длиной в километр или больше, через каждые три окна — подъезд с колоннами, и по другой стороне улицы тянется тот же зеркально отраженный дом. Но тут я увидел ее иначе. Чем-то она меня привлекла, что-то тревожило меня в этом монотонном, усыпляющем повторе. Я свернул на другую улицу. Она состояла

из похожих трехэтажных белых домов с круглыми балкончиками над парадными. Масляная краска колонн влажно блестела. Жирный блеск дробился далеко, теряясь в тумане. На ступеньках стояли пустые молочные бутылки. Где две, где одна. Да еще разными были ярко начищенные молотки-ручки на дверях. И сами двери иногда различались. И цветы на окнах.

За одним окном светился голубой экран телевизора. Сквозь щель занавесок виден был мужчина в кресле с газетой и рядом, на скамеечке, женщина с распущенными волосами. Снизу, сбоку шел теплый, розовый свет. Я вытянул шею, заглянул — там горел камин, вернее, не горел, а светился раскаленными электрическими спиралями. Через несколько домов — снова розовый свет, в высоком кресле сидел мужчина и рядом женщина, на большом экране телевизора шла та же программа.

Мы встретились глазами с женщиной, и я узнал ее. Несколько лет я разыскивал ее. Повсюду — в поездах, в театрах, в разных компаниях. Спустя минуту тихонько стукнула дверь, я не оборачивался, я шел вперед, она нагнала меня. На ней был широкий берет, полосатый модный плащ, поднятый воротник скрывал ее лицо. Мы быстро удалялись от ее дома.

Нет ничего лучше рассказа, который еще не написан. Пока рассказ не написан, он кажется великолепным и значительным. У каждого писателя остается много вещей, которые он не успевает написать. Я долго откладывал рассказ про нее, потому что не мог найти город, где это произошло. История не давала мне покоя своей обыденностью. Эта женщина была замужем и полюбила другого. Уходила она к нему нелегко. Развод для нее оказался сложнейшей затеей (особенно в Англии), да и, кроме того, всегда нелегко уходить от человека, который виноват лишь в том, что его больше не любят. В любых странах это нелегко. Но она сумела все преодолеть и переехала к тому, другому. Прошел год. Однажды туманным вечером она возвращалась домой. У подъезда она остановилась

в сомнении. В тумане дом показался ей точно таким же, как и тот, где она жила с первым мужем. Белый дом с балкончиком. И две пустые бутылки для молочника. И свет телевизора в окне. Она вошла. В передней стоял такой же зонтик с бамбуковой ручкой, какой был в ее прежней жизни, и висел тот же плащ-белонья и черный котелок. Муж сидел в кресле, развернутая газета скрывала его лицо. Газета была той же самой, горел такой же электрокамин.

Ей показалось, что она никуда не переезжала. Может быть, она ошиблась домом? Я взял ее под руку, мы стали заглядывать в чужие окна. Вначале она противилась. Она была воспитана в строгих правилах английской деликатности и никогда не интересовалась своими соседями. Я уже отведал эти правила. Возле нашего отеля была маленькая старинная пивная. Там встречались одни и те же люди. Мы заходили туда, незнакомцы, иностранцы, однако никто не докучал нам любопытными взглядами и тем более расспросами. Это не было невниманием или равнодушием. Это была именно деликатность — прекрасный английский обычай, благодаря которому мы чувствовали себя свободно и просто.

— Вот мой дом, — сказала она.

Но я не остановился, и мы миновали еще несколько домов.

— И этот, — сказала она тише.

У такого же камина, в таком же кресле снова сидел ее муж и рядом она сама. Сцена повторялась, как в зеркальном коридоре, бесконечный ряд отражений сопровождал нас. Всюду появлялось одно и то же. Ничего не менялось. Был ли смысл уходить от одного к другому? Все мужья сидели с газетами, следили за скачками, ставили на ту же лошадь, смотрели ту же программу, произносили те же фразы. Они не видели друг друга и не знали, что, одновременно встав с постели, включают ту же бритву «Филипс», съедают овсяную кашку, выпивают чай с молоком, целуют ее и садятся в свои кары. Каждый из них гордился своей независимостью. А где же был тот, что стоял между зеркалами и чьи движения они повторяли? Его не было, он давно ушел, исчез.

Мы остановились. Глаза ее стали большими, блестящими, в их глубине я вдруг увидел женщину, с которой я расстался давно, — может быть, вечер был такой же серый, а может, все женщины в такие минуты похожи. Я знал о ней все. И про эту я знал все, поскольку она была из моего рассказа. Единственное, чего я не знал, — как ей быть. Я никогда не задумывался над этим. Меня занимала сама ситуация, положение, в котором она очутилась. Но теперь я слишком многое вспомнил, я сам очутился в своем рассказе и не знал, что посоветовать, как помочь ей. Оказалось, что рассказ не имеет конца. Она ждала, я молчал. Тогда она улыбнулась неожиданно спокойной улыбкой красавицы с журнальной обложки. Стоит ли огорчаться? Если все так одинаково живут, то, может, так и надо. Чего искать? И где искать?

Она попрощалась и ушла.

Навстречу мне выползали все те же дома той же Кингс-роуд, а может, Интон-сквер, а может, и еще какой другой улицы. Им не было конца, этим прелестным, таким уютным, таким крашеным, начищенным, удобным, продуманным, стриженным. Как будто я прожил здесь целую жизнь, трудолюбивую, свободолюбивую, добропорядочную. «Работать — значит молиться», «Достойный всяческого уважения», «Не будь первым, чтобы испытать новое, а также последним, чтобы отбросить старое», «Англия ожидает, что каждый исполнит свой долг», «Мой дом — моя крепость». А какую другую жизнь я спрашивается, хотел? Полезная, честная... Но представив ее в этом зеркальном повторе, я ощутил желание взбунтоваться. Лишь бы как-то выскочить из шеренги этих благостных казарм. Как угодно, но я другой, я отдельно! Нацепить на себя дурацкий колпак с бубенчиками, повесить на шею череп,дохлую кошку!

Из-за угла, помахивая зонтиком, вышел низенький господин в клетчатом пальто и золотых очках.

— Послушайте, — сказал я. — Сыграемте на все это. — И я показал на всю улицу и на весь Челси и вынул шиллинг. Вместо орла там были львы и вместо решки — Елизавета.

Господин выбрал решку.

Я подкинул монету. Выпала решка. Я кинул снова. Снова решка. Я кидал ее по-всякому, и все равно она падала решкой вверх. Господин в очках нисколько не удивился. Он вежливо поднял котелок:

— Sorry!

В полночь я вышел на какую-то площадь, маленькую, круглую, окруженную кольцом все тех же одинаковых домов. Будь у меня тюфячок, я бы растянулся на нем посреди площади. На какую-то минуту я позавидовал битникам. Конечно, я бы мог лечь и так, но мне жалко было новенького костюма. И потом, в гостинице у меня был номер с телевизором и периной.

Утром я принял душ, побрился бритвой «Филипс» и, расчесываясь перед зеркалом, вспомнил ту парочку на Пикадилли и уличающе усмехнулся. «Битники — это не способ борьбы, не выход, битники никак не отражают социальных устремлений английской молодежи». Все опять стало просто и понятно, как овсяная кашка, которая ждала меня внизу в ресторане.

Счастливый конец

День был воскресный, никаких развлечений не полагалось, потому я так обрадовался, увидев оживленные сборища вдоль ограды Грин-парка. На железных прутьях висели картины. Яркие холсты тянулись по всей решетке Грин-парка и дальше переходили на решетки Гайд-парка. Я спрыгнул с автобуса и пошел по этой уличной галерее. Нечто подобное я видел в старых кварталах Варшавы, там тоже по воскресеньям молодые художники выставляют свои картины на крепостной стене. Но здесь были совсем иные масштабы, здесь художники развесили тысячи картин, холст за холстом висели

вплотную в несколько рядов, стояли на тротуаре километрами, это было какое-то столпотворение живописи.

Втайне, в глубине души, я надеялся: сейчас, мол, я увижу самый что ни на есть модерн, бунтарей, которых нигде не принимают, не признанную в салонах живопись, подпольные таланты.

На железных оградах были и впрямь представлены все модные направления. Тут были абстракционисты, сюрреалисты, супрематисты, поп-арт, ташисты, неодадаисты...

Выбирай любое, под Марке, под Шагала, под Сальвадора Дали, Миро... Желаете рисунки, гравюры, акварели? Цены умеренные. От десятка шиллингов до двух десятков фунтов. На каждой картине цена. Тут же пребывали продавцы, они же и творцы. Молодые бородачи, и старые длинноволосые мэтры, и разбитные зазывалы, и пожилые, усталые женщины, похожие на домохозяек.

Один торговал ночным Лондоном разных размеров, но одинаково синим с одинаково желтыми кругами света. У другого преобладали пейзажи с оранжевыми кустиками. У третьего — голые девицы, шагающие по улицам с сумочками в руках. Романтическая пустыня с караванами. Композиция из старых газет, наклеенных на холст вперемешку с цветным тряпьем.

Попадались вещи любопытные, для меня непривычные. Например, прикрепленные к грубой ткани плоские модели старых автомобилей. Сделанные из медного листа, сваренные, они представляли нечто вроде барельефа, но, конечно, это был не барельеф. Наверное, такая техника имела специальное название. Профили старых, давно забытых первых «рено», «опелей», «бьюиков», «фордов» — еще похожие на экипажи, с высокими колесами, высокими кузовами. К искусству картины эти имели косвенное отношение, тут больше значило мастерство, технология. Сами очертания, детали старых машин были приятны. Наивность первых моделей

приобрела, оказывается, какую-то эстетическую ценность. Во всяком случае, эти изделия были по-своему красивы.

Сидя на складных стульях, художники-портретисты, не теряя даром времени, рисовали желающих. Попозировав каких-нибудь полчаса, вы могли получить свой портрет, сделанный красками или карандашом. Портретисты пользовались успехом. Любопытные заворуженно следили за их лихой работой. Кроме портретов, наибольший успех имели аляповатые, ярко написанные букеты, идиллические замки с лебедями, томные красотки, гуляющие в неких аркадиях, кошечки, собачки.

Толпились перед пейзажами с румяными пастушками, парочками, плывущими в чем-то вроде венецианских гондол. Картины эти были той же школы, что продавались у нас на ленинградской барахолке в пятидесятые годы, пошлость того же размаха и мастерства.

И сейчас еще кое-где в провинции на базарах наши отечественные халтурщики не уступают лондонским. Они с успехом могли бы привозить сюда свои произведения и зарабатывать нашей стране валюту. Пошлость, очевидно, явление международное, а может, и космическое. Но если по качеству наши базары могли конкурировать с этой лондонской продукцией, то по количеству мы безнадежно отстали. Размах тут был гигантский.

Я шагал и шагал, не было конца этой мазне. Лишь изредка мелькало что-то подлинное, еще не затоптанное в этой рыночной давке. Среди этой процессии бездарностей оно особенно радовало глаз.

Однажды меня остановила серия картин с голыми девицами. На каждой в разных, грубо вызывающих позах была изображена голая женщина. Лежала, раскинув длинные ноги. Стояла, поддерживая руками свои большие груди, улыбалась и так и этак. Прическа пышная, прическа гладкая, волосы распущенные. Не сразу я понял, что на всех картинах одна и та же натурщица. Мастерство было в сплошной чувственности,

которая вплотную приближалась к порнографии, однако не переходила в нее. Смотря картину за картиной, я вдруг увидел между ними ее живую, она стояла, прислонясь к решетке, низенькая, грудастая, в кожаном коротком пальто, большие губы ее были так же полураскрыты, и глаза смеялись, подтверждая. Я смутился, как будто высмотрел что-то недозволенное. Тем более что рядышком сидел, листая газету, сам художник — муж ее либо дружок, молодой парень в толстом свитере и плисовых штанах. Однако почему я должен был смущаться, если они не смущаются? С какой стати!

Рядом со мной остановились двое пожилых англичан. Они, прищурясь, оглядывали, сравнивали живую и ту, на картинах. Натурщица чуть запрокинула голову, заулыбалась, поглаживая себя по грудям, обтянутым черной кожей. Да, сходство с натурой было безупречное, единственное, чего не хватало, — этикетки с ценой. Даже на англичан цинизм этого соседства произвел впечатление, и они купили одну из картин.

Наиболее невыносимым оказался здешний абстракт. Никогда абстракт не вызывал во мне такого протеста, как этот дешевый, изготовленный уличными шарлатанами на любой вкус или на любую безвкусицу. Уж лучше были кошечки, цветочки, замки, собачки — по крайней мере, без притворства, по-своему честная пошлость. В абстрактных же полотнах — а их было не счесть — выдавалась за передовое, модернистское искусство откровенная, бесстыдная поделка. Расчет был простой — на дурака. Дурак ведь как считает? Абстрактное — это то, что непонятно. В абстракте дуракам не отличить, где кончается талант и начинается спекуляция. Рыночный абстракт готовился по коммерческому закону — невежд в искусстве всегда больше, чем знатоков, писать выгодно для невежд, для тех, кто покупает такие картины под цвет обоев, под желание быть на уровне, чтобы все, как у «образованных», у «богатых». А раз так, вали кто во что горазд. Изощрялись, как бы поразить воображение. Впрочем, и не очень-то

изошрялись. Накладывались краски хорошо разложившегося трупа. Разнообразие цвета и формы помойки. Меня считали кретином — вот какое чувство у меня было, — легковерным лопухом, который должен принимать их за непризнанных гениев: завтра или через год, через десять лет это фруктовое полотно будет стоить тысячу фунтов. Было же так с Миро, и Модильяни, и с Ван Гогом.

Другие и не собирались притворяться. А чем их мазня отличается от того же Миро? Или Поллака? Или прочих знаменитостей? Докажите! И все они одинаково презирали простаков, которые покупали их картины.

Некоторые с обезоруживающей усмешкой развесили рядышком свои беспомощные пейзажи, и супермодный абстракт, и полотна с пришитыми спичечными коробками, пуговицами, заляпанными выдавленной из тюбиков краской. Что угодно для души.

Было время, когда абстрактная живопись меня привлекала. Я находил в ней свободу домысла, фантазии, ту вольность чувств и настроений, какой мне не хватало в традиционной живописи. Симпатия к абстрактным картинам поддерживалась и чувством протеста — я не желал, чтобы мне в живописи разрешали любить то и не любить это. Рассматривая картины абстракционистов в заграничных музеях, я не обнаруживал в этих мазках, знаках, пятнах пропаганды. Многое оставило меня равнодушным, какие-то вещи мне нравились, возбуждали воображение неожиданностью сочетаний, были просто красивые, а было и совсем непонятное.

Прошло несколько лет, страсти остыли, и тут у меня произошла собственная размолвка с абстракционизмом.

Случилось это в Австралии. Как и положено впервые приехавшему в незнакомую страну, я добросовестно посещал картинные галереи Сиднея, Мельбурна, Аделаиды. Мне хотелось с помощью художников лучше увидеть и понять эту страну. Уловить дух ее полей, пустынь, увидеть ее людей —

первых поселенцев, скваттеров, пастухов, почувствовать быт, характеры, историю, культуру. Мне хотелось получить примерно то же представление о стране и ее искусстве, какое получает чужестранец в Третьяковке, в Русском музее. Не тут-то было. Большую часть экспозиции занимали абстрактные картины. Такие, как висят в музеях Парижа, Роттердама, Стокгольма. Ничего национального в этих австралийских подтеках и кляксах я не мог высмотреть. Где-то в запасниках хранились картины старых мастеров Австралии, но для них не осталось места. Вот когда я ощутил иссушающую бесчеловечность абстракционизма. В нем было ничто. Пустота, которую никакая моя фантазия и воображение не могли заполнить.

Я представил себе полную победу абстракционистов, залы музеев мира, увешанные этими цветными пятнами. И ничего другого. Мир, разбитый на осколки, потерявший человека, смысл, связь. Я разозлился.

Нет, не согласен, сказал я, хватит! Сколько можно!

Второй, а может, третий километр брел я вдоль уличной лондонской картинной барахолки. Плохие художники есть в каждой стране, но я не представлял себе, что их может быть так много. Ноги у меня гудели. Ничто так не утомляет, как посредственность. Да, это была свобода, захваченная ремесленниками. Парад поддельщиков, приспособленцев, а то и просто пачкунов. И происходил он тут же, вблизи Национальной галереи, неподалеку от Тэйт-галереи — великолепных музеев мирового класса.

Конечно, были там и способные художники, которые вынуждены зарабатывать на хлеб у решеток Гайд-парка. Для них благо, что существует такой воскресный торг. Я говорю о самом общем впечатлении. Бездарности, когда они вместе, могут заслонить любой талант. Уже не хочется ничего смотреть. Не веришь, что появилась хорошая кинокартина, что в этом сборнике может быть хорошее стихотворение.

Мне вспомнилась и наша одна давняя выставка — пустынные залы, огромные полотна с одинаково радостными кол-

хозницами, сталеварами, гидростроителями, фрезеровщиками, детьми, и все красивые, все могучие, все на фоне, целеустремленные, счастливые. В книге отзывов я прочел такую запись: «Нам очень понравилась выставка. В залах культурно, никто не толкает, спасибо администрации. Экскурсия слепых».

— Рабиш, — произнес кто-то.

— Рабиш, — повторили в другом месте.

По-английски это означает «халтура». Оказывается, и англичане нуждались в таком понятии. Во времена Даля «халтура» толковалась как даровая еда, пожива. К живописи его не применяли. В живописи тогда было, очевидно, проще: или умеешь рисовать, или не умеешь. Талант был недостижим для имитации. По крайней мере так сейчас кажется. Бездарности даровую еду добывали другими способами.

В музее Глазго Миша А. остановил меня перед круглой картиной Филиппо Липпи. Смотреть картины с Мишей было всегда интересно. Как бы я ни любил живопись, никогда я не сумею видеть ее так, как видит художник.

— Ты замечаешь, — Миша показал на плащ Мадонны, — вот тут Липпи передумал, сначала он давал синий, а потом голубой. А какие мазочки! Еле-еле. Тоненькой кистью! — Восхищаясь, он повторял движения Липпи. — Посмотри, завитками, завитками.

Он сиял. Одно из самых поучительных зрелищ — мастер, который рассматривает работу другого мастера. Встречаясь, они свободно перешагивают столетия. Мастерство — как он делал, как он сумел — вот что они умеют высмотреть друг у друга.

У некоторых картин Миша вынимал блокнот и начинал срисовывать. Наспех, карандашиком. Зачем? Внизу можно купить красочные репродукции. Нет, оказывается, это не заменяет. Ему надо было рукой почувствовать, потрогать каждую линию. И, кроме того, рисуя, иначе запоминаешь.

Мы стояли с ним перед пейзажами Сальватора Розы, и он рассказывал когда-то слышанную им легенду.

Замечательный итальянский художник Сальватор Роза, в молодости странствуя, попал в руки разбойников, сдружился с ними и стал чуть ли не их предводителем. Однажды они остановили на дороге экипаж, выволокли оттуда красноликого толстяка в расшитом мундире. Пассажир яростно отбивался, угрожая именем эрцгерцога. Сальватор Роза спросил его, кто он такой.

«Я художник, — сказал толстяк. — Я Рубенс!»

«Вы Рубенс? Великий Рубенс?» — Сальватор Роза снял шляпу и опустился перед фламандцем на колени.

Как бы там ни было на самом деле, легенда была хороша. Так могло быть, перед Рубенсом можно было опуститься на колени. Прекрасно, когда живут художники, перед которыми можно склониться.

В зеленой полутьме блестел ручей, нависали темно-зеленые купы деревьев, вечер спускался на горы Калабрии. По лесной дороге, опустив голову, ехал всадник. Со всей явственностью я представил на фоне этого диковатого пейзажа Сальватора Розу, его самого после встречи с Рубенсом.

А потом, в Лондоне, мы ходили по залам Тэйт-галереи и смотрели современное искусство, ультрасовременное. Натянутые на тонких, невидимых нитях зеркальца двигались, перекидывая цветные лучи света. Висели, чуть колышась, легкие черные прутья. Смещаясь, они пересекались, создавая прихотливый рисунок. В большом ящике крутились пестрые осколки, напоминая калейдоскоп. Кружились соединенные с электромоторчиком рваные металлические поверхности. На стене висела некая ребристая поверхность, и, стоя перед ней, надо было чуть шевелить головой — тогда полосы хаотически налезали друг на друга. Сооружения эти не имели никакого отношения к живописи. То были остроумные игрушки, производящие механические, оптические и прочие эффекты. Они не требовали умения рисовать, пользоваться кистью. Требовались воображение и выдумка техников и дизайнеров. По-своему они были красивы, но такой красотой

обладают модели кристаллов, длинных молекул, печатные схемы транзисторов, биологические препараты.

В соседнем зале, среди картин десятых—двадцатых годов, мне издали бросились в глаза несколько маленьких картин. Что-то было в них отдельное, несхожее с остальными картинами. Я подошел ближе. Русский солдат в белой рубахе сидел на белом коне. Синий фон делал картину чем-то похожей на лубок, но это не лубок, все было просто, ярко и доверчиво, как на детском рисунке. Дальше висела «Прачечная», затем «Осень», «Весна»; Михаил Ларионов, прочел я, и на других — Наталья Гончарова.

Фамилии эти я слышал давно, попадалось мне несколько фотографий этих картин, но сами картины я увидел впервые, вот здесь, в Лондоне. Несколько лет назад, также за границей, я впервые увидел картины Шагала, Малевича, Лисицкого.

Одна из лучших галерей мира считала украшением своей коллекции Наталью Гончарову и Михаила Ларионова, и я, естественно, испытывал гордость, и в то же время чувство это было отравлено. Почему, спрашивается, я должен любоваться картинами многих наших русских художников в заграничных музеях, а не у себя дома? Я представил себе выставленное в этих залах наше молодое искусство первых лет революции, во всем его разнообразии — Татлина, Филонова, Кончаловского, Фалька, Кузнецова, Штернберга, Шагала, Кандинского, Григорьева — их поиски, находки, открытия, представил себе, как сразу сместились бы все оценки. Миру открылось бы, как много создало великолепного наше молодое искусство, стало бы ясно, что все лучшее начиналось уже тогда и было смелее, талантливей, интересней. Всякие американцы и прочие шведы ходили бы по этим залам, ахали и завидовали.

Я мог себе это представить, вспоминая, как ахали мы сами, когда впервые после многих лет открылась выставка Петрова-Водкина.

Картины вытащили из запасников, и они постепенно приходили в себя. Один старик-реставратор сказал мне, что краски портятся в темноте, без света. Но еще больше картины портятся оттого, что на них не смотрят человеческие глаза. От взглядов картина молодеет, она держится. Я сам замечал нечто похожее в запасниках, где самые лучшие картины пожухли, поблекли, покрылись каким-то сероватым налетом забвения.

Однако люди стареют быстрее. Многие мои сверстники так и не успели увидеть Петрова-Водкина и не увидят других художников Революции, которых когда-нибудь извлекут из запасников, освободят и вернут в залы музеев.

В просветах между картинами зеленела трава Гайд-парка, там ходили люди, счастливые и беззаботные, свободные от проблем живописи. Мир разделился на две части — по ту сторону решетки и по эту. Я хотел быть по ту сторону.

Я вошел в Гайд-парк. Великое множество картин обернулось ко мне чистой изнанкой холстов. Светло-серые, коричневые прямоугольники прильнули к решеткам, глядя на кусты, на деревья — извечные и прекрасные изделия природы.

В глубине парка, на какой-то лужайке, я бросился на траву, вытянул усталые ноги и с наслаждением уставился на серо-голубое небо, пустое, легкое, без единого мазка облаков.

Покой медленно нисходил на меня. Я помирился с Гайд-парком. Он представал передо мной заповедником естества и подлинности.

Живописцы остались за решеткой. Не играла музыка. Не было никаких аттракционов, качелей, тиров, буфетов, танцевальных площадок, каруселей, читален, а были только лужайки, трава, пруды, ничто не мешало их видеть, и от этого они казались натуральней, красивей, и люди тут были натуральней. Люди лежали, сидели на траве, скинув обувь, свободные от жажды развлечений и уличной тесноты. Несколько квадратных километров природы посреди города.

Меня окликнула знакомая из нашей группы. Она тоже устала и села рядом на шезлонг. Я предложил ей снять туфли,

но она постеснялась. Это была славная женщина, веселая, милая, начитанная, но тут ей что-то мешало. Я лежал, закинув ногу на ногу в одних носках. Она ничего не сказала мне, однако я чувствовал, что ей не нравится моя вольность. Она дала понять это мне через несколько минут, указав на лежащую неподалеку парочку, — кажется, они обнимались и целовались. Никто на них не глядел, и я тоже избегал смотреть в их сторону.

— Все же так нельзя. Здесь общественное место, — сказала она.

— А почему это вам мешает? — спросил я, веселясь, потому что я не желал вести серьезных разговоров.

— Нет, нет, не смейтесь, вы же не станете целоваться на виду у всех?

— Смотря с кем.

— Перестаньте, — попросила она, морщась. — Неужели вас не коробит?.. — Она показала на парочку.

— А я не смотрю. И вам не советую. Если вы будете указывать на них пальцем, вас может оштрафовать полицейский.

— Вы серьезно?

— Недавно одного туриста оштрафовали.

— Значит, тут и закон на их стороне? Ну разве это не позор? Вот вам и нравы.

Я сел, обхватив колени руками, мне хотелось видеть ее лицо.

— А где, по-вашему, можно целоваться? В парадном — это как, более нравственно?

Она мило покраснела.

— Во всяком случае...

— Так вот, с парадными, если вы обратили внимание, в Англии туго. То есть парадных много, но они все закрыты. Они в большинстве личного пользования. Частная опять же собственность.

— Но с какой стати я должна терпеть это зрелище в парке? Меня это оскорбляет. Если рассуждать так, как вы, то все можно. Что же тогда, по-вашему, распущенность?

— Хорошо, — сказал я. — Допустим, мне тоже неприятно. Но почему наши с вами вкусы должны служить нормами нравственности?

— Вы забываете про детей! Какой пример для детей?

— Дети должны гулять с родителями.

— Слава богу, что у вас нет власти, а то бы вы и у нас разрешили, и без того у нас хулиганят.

— Ага! — сказал я. — Попались! У нас не разрешают, а хулиганство есть. Может быть, эти вещи и не связаны, а может, и вообще все совсем наоборот.

— То есть? — Но тут она с досадой махнула рукой. — Вас не переспоришь. Я знаю, вам самому не нравится, но вы хотите выглядеть современным. Как же, Запад! Небось и этот подзаборный абстракт вы не осуждаете.

— Вот и не угадали!

— Ага!

— И все же запрещать не стоит, — сказал я совершенно честно.

— Но ведь есть же вещи...

— Наверное, — сказал я, — наверное есть. Впрочем, кое-что лучше попробовать самому. Вот, например, помните, как ругали жевательную резинку? А я купил двадцать пачек. Прекрасная штука. Вместо сигарет. Отвыкаю курить.

— Это не пример.

Я надел туфли, встал. Мы пошли. Пройдя несколько шагов, я остановился, обнял и поцеловал ее.

— Это тоже не пример, — жалобно сказала она.

Заговорщики

У Эдинбургского замка стоял шотландский стрелок в клетчатой юбке. Перед ним стоял я, погруженный в тупое и упорное раздумье. Поверх юбки стрелка на самом, можно сказать, срамном месте висел большой белый кошелек. У всех часовых

висели такие кошельки, и перед каждым часовым я застывал, мучимый загадкой, для чего нужен солдату ридикюль. Это звучало как неотвязный мотив: «Зачем солдату ридикюль?.. Зачем солдату ридикюль?..»

Туристская Шотландия состоит прежде всего из замков, клетчатых пледов и Марии Стюарт. Ничего плохого в этом нет. Каждая страна, каждая местность должна иметь свой экзотический стандарт. Например, Псков славится снетками. Наверное, ни в одном ресторане мира нельзя получить снетки, тарелку сушеных снетков, щи со снетками, а в Пскове можно, и это хорошо, так же как хороша наша деревенская баня с березовыми вениками, половики, вышитые полотенца, так же как шотландская клетчатая юбка, клетчатые ковры, цветная клетка, которой расчерчена вся Шотландия, ее отели, переплеты книг, — все здесь клетчатое.

— Зачем солдату ридикюль?

— Сразу видно, вы никогда не носили юбки, — сказал мне солдат. — Карманов-то нет!

Это было так просто, что я покраснел. Казалось бы, элементарная задача перевоплощения — представить себя в юбке, и сразу должно стать ясно. Зачем женщине ридикюль, затем и солдату ридикюль. А еще писатель! Всю жизнь меня угнетает неисчерпаемость того, что должен уметь писатель, знать писатель, видеть писатель. Проклятая профессия! И все равно где-нибудь тебе воткнут: а еще писатель!

...Но больше всего в этой туристской Шотландии было Марии Стюарт.

Трудно представить себе, сколько эта женщина успела создать памятных мест. Такое впечатление, что она специально работала по заказу туристских компаний, торопясь из замка в замок, чтобы посидеть в заточении, устроить заговор, убийство, взрыв, покушение, побег. Не просто нагромождение событий, не просто жизнь, а сюжет, построенный по лучшим правилам детектива или по образцу лучших детективов. Как угодно.

Вот шкатулка с уличающими письмами, вот любимые вышивки. Здесь жили ее кошки, отсюда выволокли секретаря королевы Риччио, здесь его убили, тут было пятно крови, там его похоронили.

Девушка-гид, стройная, как ранняя готика, до сих пор, то есть четыреста лет, взволнована до слез судьбой Риччио. Ее волнение передается нам. Бедный Риччио! Подумать только, мы-то о нем и знать не знали. Мы охотно расстроились, мы ахали и вздыхали, чтобы наверстать упущенное, мы принялись записывать драгоценные подробности, задавать вопросы, уточнять, переживали, толпились, разглядывая кресло, за которым прятался Риччио, четырехсотлетние несмываемые пятна крови на деревянном полу. Пятьдесят шесть ударов кинжалом нанесли ему. Кто-то подсчитывал. Опечаленные глаза наши устремляются к портрету Риччио, — впрочем, выясняется, что это не Риччио, а Дарнлей — муж Марии, который убил бедного Риччио, а его, в свою очередь, убила бедная Мария.

Долго еще этот Риччио преследовал нас, как призрак появляясь среди улочек Эдинбурга, где-то в горах, в часовнях. Но наконец и он отстал, уступив место новым мужьям Марии и ее сопернице Елизавете. Католики резали протестантов, протестанты казнили католиков. А вот баня, где Мария купалась в молоке, и еще замок, где кто-то и что-то с этой Марией...

Поколения гидов кормятся похождениями королевы, поколения туристов увозят торопливо исписанные блокноты. Без этой изукрашенной романистами, драматургами истории Марии Стюарт замки смотрелись бы хуже, и турист не стал бы карабкаться в гору и по крутым лестничкам: турист хочет переживаний.

Лично я переживал вовсю. Мне приятно было верить в эти рассказы. Я люблю быть обманутым, когда обман ничего не преследует, кроме удовольствия. Какое мне дело, справедливы ли эти предания, анекдоты о великих людях, подлинны ли ветхие кресла и гусиные перья? Если спектакль хорошо

поставлен, то стоит ли портить себе впечатление? Можно, конечно, усомниться, скепсис — вещь полезная, только не здесь; ведь как оно было на самом деле, мы все равно не узнаем. Хуже другое: никак не удастся попасть на экскурсию, которую будут водить через четыреста лет. О чем там будет рассказывать такая же девушка-гид, какие анекдоты и легенды, какой сюжет она выстроит из событий нашего времени?

Юбочка на ней была — последний крик: четыре пальца выше колен. Сразу видно, что эта девушка знала все, о чем я лишь мог догадываться.

— Четыреста лет, подумаешь! — сказала она. — Я уверена, что наша фирма уже подготовилась.

Мы улыбнулись друг другу, но я подумал: кто знает, а что, если в сейфах этой предусмотрительной фирмы уже лежат инструкции, методички, отпечатанные тексты и путеводители по Шотландии шестидесятых—семидесятых годов, по историческим местам нашей жизни?

Замки Шотландии прекрасны и сами по себе. Кованый узор ворот, темный камень, зацветший зеленым мхом, а посреди двора газон с травой не просто зеленой, сотни лет ее надо было подстригать, чтобы накопилась такая нерастраченная ярость зелени.

Замки поддерживаются в идеальном порядке. Идут и идут экскурсии, замки работают на полный ход — тяжелая индустрия туристской промышленности.

С каждым замком подозрения мои насчет Марии Стюарт росли. Слишком уж аккуратно сохранилось все, любые мелочи, связанные с злоключениями королевы, кроме разве что ее любимых кошек. Как будто все было известно наперед, за четыре века приготовились к нашему приходу. Покойница слыла крупнейшим мастером по части заговоров, интриг. Несколько столетий трудились историки, пока распутали этот клубок козней. Однако крупнейший из заговоров Марии остался нераскрытым — это ее тайный сговор с туристскими фирмами.

Эта страна прелестна тем, что снабдила каждый свой городок знаменитым замком и не менее знаменитым собором, построенным, конечно, в середине века и еще раньше — шедевр ранней (поздней, периода расцвета, периода упадка...) готики (барокко, ампира, «украшенной» готики, «перпендикулярной» готики). Каждый собор имеет, конечно, замечательные образцы скульптуры. Имеются, так же обязательно, лучшие, редчайшие, единственные в своем роде, уникальные росписи, залы, картины.

Кроме того, полагается на любой городок несколько памятников и легенд. Распределялись (а вдруг и до сих пор распределяются?) они демократично, так, чтобы поровну, каждому городку по знаменитому человеку. Правда, знаменитостей на всех не хватает, приходится делить, у одних знаменитый родился, у других умер. При этом о потомках заботились, то есть о нас: памятные места раскидывались не где попало, а располагали по удобному маршруту, чтобы не сворачивать и не делать крюков, — так они выстраиваются один за другим, и все в центре — здесь родился Конан Дойл, здесь жил художник Генри Ребёрн, здесь умер Джеймс Симпсон, который применял хлороформ, затем следует дом Белла — изобретателя телефона, дом, где женился еще один корифей, и дом, где один основатель основал...

Соборы и впрямь хороши, и замки красивы. Мы проезжали мимо них с чувством облегчения и грусти. Не помню уж где, в каком-то дворцовом павильончике я увидел отличный автопортрет Рембрандта. Я увидел его случайно и разозлился. Легче было бы, если б в павильоне висели плохие картины. Я представил, сколько мы не успели увидеть прекрасных картин. Но спрашивается: какое количество картин может обозреть нормальный турист? Тысячу? Две? А скульптур? А реликвий? Замков? Соборов? Мы давно отупели. Мы вяло брели сквозь музейные залы, и однажды я заметил, что мы одурело разглядывали группу шведских туристов. Кажется, мы спутали их с роденовскими «Гражданами города Кале».

Профессиональное заболевание путешественника называется «как бы чего не упустить». Начинается оно с музейной лихорадки: взгляд мутнеет, зрачки бегают, шея вытягивается, движения делаются судорожными и безостановочными, уже некогда разглядывать картины, запоминать, любоваться, важно успеть обежать все залы, все этажи, знаешь, что в голове каша, немыслимый клубок из мрамора, дат, полотен, но останавливаться невозможно, скорость нарастает, еще галерея, еще фрески, еще шедевры. Наступает отвращение, изжога...

— Какая изжога? Где изжога?

— Почему нам не показали изжогу?

— Какого века?

— Нет, это памятник.

— Кому памятник?

— Изобретателю изжоги памятник...

Мне бы вовремя остановиться, вспомнить ужасную участь своего друга. Когда-то, приехав в Ленинград на один день, он решил зараз осмотреть Эрмитаж и Русский музей. Вернулся он под вечер, бледный, голова тряслась, воспаленные глаза опасно блестели. Он повалился на диван и с нехорошей улыбкой стал оглядывать стены моей комнаты.

— Черт возьми, вот этот зал не успел! — забормотал он. — Так я и думал, от импрессионистов надо было подняться сюда, там была лестница в египетских гробницах, где лежали бурлаки, сделанные из гобеленов, представляешь, такие голубые, и с ними Степан Разин, плывут на этих лоджиях Рафаэля. Ну, конечно, впереди блудный сын, а направо бытовые сцены из жизни камер и мумий, и особенно неравный брак этой коричневой балерины с Леонардо, которого снимают с креста во время войны двенадцатого года, а кругом знамена, знамена, сам Петр вытачивал их на станках голландской школы, во всяком случае, о них писал Александр Пушкин, про саркофаг Александра Невского, чистое серебро, хотя с Левитаном никакого сравнения, но, может, это было в последний день Помпеи? Всего не упомнишь, зато столы,

выложенные мозаикой, — как перед глазами, там выложено что-то из золотой кладовой, где голова у меня стала с малахитовую вазу, на великом полотне этого симпатичного испанца с фамилией, как у мальчика, вынимающего занозу у этого старика, что ухмыляется...

Больше года ему пришлось приводить себя в порядок. Я сочувствовал, веселился и думал, что уж я-то буду умнее.

Восковые фигуры

В зале было темно, скрытый свет падал откуда-то сбоку на овальный стол, за которым сидело семь джентльменов. Лица их были хорошо освещены, они смотрели на меня осуждающе, почти недовольно, очевидно, я прервал их разговор. Вильсона я сразу узнал по портретам и осторожно кивнул ему. Он не ответил. Справа от него сидел министр внутренних дел, и остальные господа были тоже министры. Передо мной находился английский кабинет министров.

Я поздоровался. Они не ответили.

Никакого опыта по общению с министрами у меня не было. И никаких полномочий я не имел. Но и упускать случай тоже не следовало.

— Ну что, — осведомленно сказал я, — не сходятся концы с концами, а? — Тут я бил наверняка. — Недовольство-то растет? — И это тоже было безошибочно.

Министры сокрушенно молчали.

— То-то же. — Я воодушевился, но в это время подошел служитель в сизой униформе с золотыми пуговицами и подал мне каталог Музея восковых фигур мадам Тюссо.

Я неохотно вернулся к действительности, испытав при этом разочарование, печаль, изумление и восхищение мастерством изготовления этих восковых министров. Жизнь улетучилась от них, осталась искусная работа имитаторов. Даже

пушок на щеках имелся, костюмы были помяты, как поношенные, глаза блестели по-разному, отлично сделаны были эти министры. Можно было обратиться к ним с любым запросом, уличить, разнести в пух и прах, высказать им прямо в глаза — и все это за шесть шиллингов.

Следующие фигуры не производили уже такого впечатления. Привыкая, я различал подкрашенный воск лиц, приклеенные парики.

«Музей мадам Тюссо позволяет увидеть ваших героев — Черчилля или Кеннеди, Иоанна XXIII или Ганди, Чаплина или Брэдмена...»

«Мы воссоздали исторические сцены: смерть Нельсона, маленькие принцы в Тауэре...»

Пройдя несколько шагов, я очутился в кругу королевской семьи. Принцессы и герцоги стояли передо мной. Наконец-то я увиделся с королем Норвегии, и королевой Голландии, и королевой Дании, их супругами. Они улыбались мне, я — им. Ах, какое общество окружало меня, какие породистые старушки и старички, увешанные орденами, лентами, последние короли Европы! Даже грустно становилось при мысли, что может наступить время, когда ни одного короля не останется на земле.

Сэр Уинстон Черчилль сидел отдельно от этой аристократической компании, с палитрой в руках, соломенная шляпа сдвинута набекрень. Он писал маслом картину. Перед ним стоял мольберт, на полотне пестрело несколько мазков, замысел картины был неясен. Физиономия его излучала благодушие человека, ушедшего от дел. Я обрадовался, встретив его. Обнаруживая тут кого-либо из знакомых, испытываешь особое чувство, даже если это Макдональд или Эттли. Из памяти выплывали черты, известные по карикатурам, по чучелам, которые несли на демонстрациях. Ответ Чемберлену! Что-то про Керзона. Тут все было сделано с полной достоверностью: точный рост, размер обуви, точный костюм тех лет, более того — из гардероба покойного. Фирма мадам Тюссо сохранит

все особенности вашего облика, цвет глаз, форму рук, осанку, брови, только постарайтесь добиться славы. Становитесь полководцем, кинозвездой, папой римским, убийцей, лишь бы достаточно знаменитым.

А вот и Ллойд Джордж. И все же почему-то больше помнилось первомайское чучело, плывущее мимо трибун Дворцовой площади.

Нельсон мирно стоял рядом с Наполеоном. Кальвин и Лютер. Герберт Уэллс и Шоу. Софи Лорен и Элизабет Тэйлор. Маршал Тито, Фидель Кастро, Хо Ши Мин. Группа артистов. Группа кардиналов. Чемпионы мира — прославленные спортсмены Джо Дэвис, Кассиус Клей, Сонни Листон. Космонавты. «Битлз». Американские президенты. Писатели. И опять короли. Больше всего было королей и королев: Георги, Эдуарды, Ричарды, Генрихи, Екатерины, Вильямы, Чарльзы. Третьи, Четвертые, Седьмые... Величественные осанки, позы и лица. Какие лица! Ни украшения, ни костюмы не могли скрыть этой «смеси глупости, невежества, похоти, сплина и злобы». Так выразился о них отсутствующий здесь (может, за то и отсутствующий) Джонатан Свифт.

Среди английского королевского дома у меня было несколько знакомых по хроникам Шекспира.

Разумеется, никто из них — ни Ричарды, ни Генрихи — не представляли себе, что они могут уцелеть благодаря пьесам какого-то актера, стать всего лишь сюжетом, поводом для представления и разных поучительных историй.

«Те свергнуты с престола, те убиты на войне, других посещали души убитых ими, другие отравлены женами, а эти зарезаны во сне. Все умерщвлены. В короне живет смерть. Старая шутиха, она позволяет на минуту разыгрывать короткую сцену царствования, вселять страх, наполнять взор самоуверенностью, будто это тело, служащее опытом жизни, — металл непроницаемый, и наконец, обольстив, приходит, прокалывает крошечной булавкой стены его крепости — и прощай, король!..»

Короли слабоумные, короли — распутники, эпилептики, профессиональные палачи, садисты, прелюбодеи — кого только тут не было! Номер 299 смотрел на меня тупыми, оловянными глазами. Я сверился с каталогом. Это был Георг III. Кое-что я знал о нем. Главным образом то, что, будучи сумасшедшим, он ухитрился процарствовать пятьдесят с лишним лет. Иногда бывали перерывы: на короля надевали смирительную рубашку. Но под мантией она выглядела незаметно. Легче всего скрывать сумасшедшего на троне.

— Вы писатель? — спросил меня Георг. — Я любил вашу братию. Вообще всякое искусство. Поддерживал. Поощрял. Специальный орден учредил — Минервы. Вот, например, наградил Бити.

— Кого?

— Бити. Поэт. Неужели не слышали? Странно. Я ж его больше всех награждал. А Уэст? Видели его полотна?

— Нет, — сказал я. — Первый раз слышу.

Король задумался.

— Непонятно. Я же объявил его первым художником Англии. А кого ж вы видели из моего периода?

— Простите, ваше величество, вы когда... в некотором роде отдали душу?

— Ежели полностью, то в тысяча восемьсот двадцатом году, — обиженно сказал король. — А в тысяча восемьсот одиннадцатом я окончательно того... Может, и не заметили бы, да я к тому же ослеп, ну и отстранили.

— Ага, ясно. Но в те годы работали замечательные художники. Мне известны такие, как Блейк, Ребёрн, Констебль, ну и, конечно, Тёрнер.

— Какие ж они замечательные, — сказал король. — Среди них ведь ни одного кавалера ордена.

— А что касается поэтов, так ведь вы жили во времена великих поэтов — Вордсворт, Кольридж, Китс...

— Что значит — я жил! — язвительно поправил меня король. — Это они жили в мое царствование.

И он отпустил меня довольно холодно.

Королева Виктория восседала в кресле, рыхлая, одутловатая, совсем домашняя, вылепленная такой, какой до сих пор ее почитают в Англии. По-видимому, англичанам она больше всего нравится за то, что первая по-настоящему перестала ими управлять. Культ ее стал складываться, когда она отстранилась от всяких дел. Благодарные подданные принялись связывать ее имя с любыми вещами: армия королевы, почта королевы, погода королевы, флот королевы...

И так и этак приглядывался я к ней, ища черты прославленной мудрости. Что-то ведь должно было быть! Но видел я лишь любящую поест, хитроватую, хлопотливую, довольную собой мамашу многочисленного семейства.

— Я и есть та самая «добрая старая Англия», — заявляла она. — И формула «царствует, но не управляет» — это тоже мое. Мое открытие, во всяком случае, я внедрила.

Кто знает, может, в этой обыденности и заключался весь секрет, думал я, подданные иногда мечтают о заурядных правителях, надоедают им «яркие личности» — вожди, тираны и завоеватели.

Многое зависело, конечно, и от мастеров фирмы. У них тоже была своя задача — вылепить так, чтобы посетителям нравилось. А для этого облики королей и прочих исторических деятелей не должны были расходиться со школьной историей, с картинами, памятными с детства, с фильмами, телепередачами.

Приятно, когда происходит узнавание, даже не совпадение, а именно узнавание.

Короли и королевы стояли на выбор, для любых сказок — с печальным или веселым концом.

Во всех путевых записках принято бранить Музей мадам Тюссо. Каждый автор доказывает, что восковые фигуры отвратительны, не имеют никакого отношения к искусству, полумертвецы, натурализм, посещение музея — напрасная потеря времени... Поскольку авторы единодушны, то приходится подчиняться. Мы привыкли, что все решается большинством голосов. Поэтому я тоже на всякий случай возмущался. Мно-

гие специально ходят во всякие заведения, чтобы повозмущаться. Например, ходят на стриптиз, чтобы возмущаться. И в подозрительные кабаре. И я понимаю их. Пока сам не увидишь, и возмущение какое-то не такое получается, нет того запала.

Однако время от времени я забывал про свое возмущение, потому что сама по себе коллекция этих восковых знаменитостей являла любопытную картину вкусов английского, да и не только английского, обывателя. Передо мной была биржа уличной славы. Курс чьих-то акций падал — и фигура удалялась. Звезды экрана гасли, премьеры уходили в отставку, кабинеты сменялись — изготавливали новых министров, паноптикум обновлялся.

По-настоящему я возмутился своим собственным возмущением, лишь обнаружив, что среди примерно четырехсот с лишним фигур не было ни одного ученого: ни Ньютона и Максвелла, ни Роберта Оуэна и Бертрана Рассела. Но тут же я спросил себя: так ли уж мне необходимо видеть воскового, раскрашенного Максвелла?..

Поглощенный мыслями о причудах славы, я вышел на светлую лестничную площадку и... остолбенел.

Перед нашим приездом в Лондоне произошло нашумевшее преступление: были убиты трое полицейских. Двоих убийц поймали, фотографии третьего, некоего Робертса, главаря банды, были расклеены повсюду с описанием примет. За розыск его обещалась награда в тысячу фунтов. Фотография Робертса примелькалась нам в метро, на стенах домов.

На лестничной скамейке, подняв воротник плаща, сидел Робертс и читал газету.

«Тысяча фунтов в кармане!» — вот что подумал я, прежде чем что-либо заподозрить. Аршинные заголовки на первых страницах: «Советский гражданин обставил Скотленд-Ярд!», «Бдительность Москвы — Робертс схвачен!», «Схватка в Музее мадам Тюссо», «Удача или метод?», «Английское правительство награждает...» Мои фотографии, фотографии Робертса и английской королевы. Моя фигура в музее...

Слава была так близка. Если б она не оказалась восковой... Счастье еще, что я не схватил этого Робертса за руку и не повредил доходную шутку Музея мадам Тюссо.

Обескураженный, я робко обошел «камеры ужасов», где изображались величайшие преступления и преступники — всевозможные убийцы, отравители, грабители. Там был и Людовик XVI на гильотине, Мария Антуанетта, Человек в железной маске, Мервуд на виселице, Марат в кровавой ванне. Убийцы уныло сидели на электрических стульях и в газовых камерах. Было темно, холодно и скучно. В соседнем зале щелкали автоматы. Механические крикеты, скачки, стрельбы. Десятки автоматов, развлекающих, играющих. Они тоже казались знаменитостями какого-то автовека, продолжением Музея мадам Тюссо, так сказать, в будущем. Знаменитые роботы и киберы.

Недавно на одном совещании я встретил знакомого. Он поздоровался медлительно и величаво. Некоторое время я приглядывался к нему, пытаюсь сообразить, почему он так переменялся. И вдруг понял. Когда-то известный физик, он давно исчез, осталась лишь копия, предназначенная для обозрения и славы. Я вспомнил музей мадам Тюссо и начал замечать и другие такие же восковые персоны. Они сидели на этом совещании совсем как живые, но было в них нечто общее, тайная печать воскового величия, отделяющая их от живых людей. Костюм, ботинки, волосы — все было подлинное, точно по размеру. Фигуры двигались, произносили слова, некоторые даже здоровались, и узнать, что это копии, было не так-то просто.

Тринадцать ступенек

Побывав в Лондоне, лучше понимаешь Диккенса. Можно было бы начать наоборот: прочитав Диккенса, лучше понимаешь Лондон.

Собственно, так оно и было.

Вот он, Блекфрайерс, где работал на складе Дэвид Копперфильд, а тут была долговая тюрьма Маршалси, а здесь Флит-стрит, Сити, суд, юридические конторы, стряпчие, дело «Бардл против Пиквика»...

Радость узнавания, странный, поразительный процесс соединения запечатленных с детства образов с этими непроницаемыми господами в котелках, в полосатых брюках, входящими в старые дома. «Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Холодный дом», «Лавка древностей» — все ожило, задвигалось. Как будто я знал многое про этих людей и знал, что происходит там, в этих офисах, знал этих желчных крючкотворов, этих усталых, бледных женщин. Где-то в толпе, в вагоне подземки слышишь смех Тэпли, идет чопорный господин, похожий на Домби, можно уличающе подмигнуть болтливому Джинглю, увидеть Урию Хипа. Существует целый диккенсовский Лондон, населенный сотнями его героев, с трущобами, торговыми фирмами, судейскими стряпчими, чиновниками, точными адресами, по этому городу устраиваются экскурсии, он живет внутри Лондона, не смешиваясь с Лондоном Голсуорси или Конан Дойла, так же как Петербург Достоевского существует рядом с пушкинским, блоковским.

Диккенс описывает Лондон с точностью справочника. Ничего придуманного или вымышленного. Он не стесняется точно назвать улицы. В его книгах окраины, пристани, тюрьмы, богатые кварталы имеют не только адрес, они изображены со всеми деталями, они списаны.

После Лондона стоит перечитать Диккенса. Появляется множество деталей, тонкостей, до этого неуловимых. Впрочем, это относится ко всей английской литературе. Я взял роман Айрис Мердок «Под сетью» и на первых же страницах заулыбался:

«Кто мог вдохновить ее на такие туалеты? Я медленно обошел вокруг нее, внимательно приглядываясь.

— По-твоему, я что, памятник Альберту? — сказала Магдален.

— Ну что ты, с такими-то глазами!»

Раньше такая фраза ничего у меня не могла бы вызвать. Вместо «Альберту» могло бы стоять «Нельсону», «Джеймсу Куку» — все равно. Теперь же, насмотревшись на памятники принцу-консорту, я невольно улыбнулся.

Все это вещи известные, тривиальные: побывав на Кавказе, лучше понимаешь многое у Лермонтова, побывав на Украине, иначе читаешь Шевченко, и так далее. Однако есть тут один секрет. Общеизвестные истины и есть наиболее любопытные истины, и часто они вовсе не истины, а бывшие сложности, от которых отступились.

Лучше всего я это почувствовал на примере Достоевского.

Однажды вместе с внуком Достоевского, Андреем Федоровичем Достоевским, мы обошли места, связанные с романом «Преступление и наказание». С нами был мой товарищ, чешский писатель, литературовед, специалист по Достоевскому, — Франтишек К. Поход фактически был затеян ради него. Я коренной ленинградец, я люблю Достоевского, я, разумеется, считал, что мне-то все известно, а если какого адреса я и не знаю, то особого значения это не имеет, такие подробности нужны разве что для исследователя литературы. Итак, отправились мы, руководимые Андреем Федоровичем, человеком самым по себе весьма примечательным. Инженер, фронтовик, он, выйдя на пенсию, целиком посвятил себя делам своего великого деда. Впервые я столкнулся с ним в хлопотах по созданию в Ленинграде памятной квартиры-музея Достоевского и с тех пор не раз убеждался в его доскональном знании малейших обстоятельств, связанных с петербургской жизнью Достоевского. И вот сейчас, когда мы вышли на проспект Майорова, Андрей Федорович начал рассказывать, где и что было в те годы, то есть сто лет назад, — увеселительные заведения, трактиры, распивочные — здесь и на соседних улицах. Он видел район глазами современников

Достоевского, в подробностях зная историю почти каждого дома. Слушать его было весьма интересно, как и всякого историка-специалиста, до той минуты, когда он вдруг, показав на дом, сказал: «Тут были ворота, а во дворе находился камень, под которым Раскольников спрятал драгоценности, взятые у старухи». Сказал он это с полной убежденностью, и, поймав наше недоумение, открыл заложенную страницу романа «Преступление и наказание» и прочел нам:

«...Выходя с В-го проспекта на площадь, он вдруг увидел налево вход во двор, обставленный совершенно глухими стенами. Справа, тотчас же по входе в ворота, далеко во двор тянулась глухая небеленая стена соседнего четырехэтажного дома...»

И далее подробное описание уединенного места, где лежал большой неотесанный камень...

Дом был перестроен, но Андрей Федорович поднял в архивах старые чертежи, по ним все сходилось, все точно соответствовало. И все же, признаюсь, я не поверил, я решил, что это — совпадение, какая-то случайность, не больше.

Мы свернули вправо от улицы Пржевальского, и Андрей Федорович привел нас к дому № 19, заявив, что здесь жил Раскольников. И дом, и двор имели, как нарочно, ужасный вид, во дворе была грязь, валялись мусорные баки, тряпье, какие-то старые ломаные стулья. По стоптанным каменным ступеням мы поднялись на узкую темную лестницу с полукруглыми проемами и по ней наверх, до каморки Раскольникова.

«Каморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома... Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку... помещалась одною лестницей ниже... и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу».

Была каморка, туда вели тринадцать ступенек, как и было сказано в романе, и была лестница мимо квартиры с кухней, именно кухня окном выходила прямо на площадку.

Но, может, другие лестницы в доме так же были расположены? Нет, из всех лестниц она наиболее соответствовала описанию, и нигде не было кухни с окном. Ну хорошо, допустим даже, что так, но играет ли это какую-то роль в романе, стоит ли этому придавать значение? В том-то и штука, что расположение имело важное значение, и прежде всего для Раскольникова. Действия его были связаны с этой кухней, там он высмотрел топор, нужный ему для убийства. Однако, сойдя с лестницы, увидел, что Настасья на кухне и, следовательно, топора взять нельзя. Вдруг начали действовать те мелочи, которыми он пренебрегал, считал их ничтожными перед силою воли и главных идей своих, а вот они-то и ожили, и он был поражен.

Андрей Федорович читал, и мы повторяли все движения Раскольникова, спускались вниз, во двор, под ворота, где Раскольников стоял бесцельно, униженный и раздавленный, пока вдруг не увидел в каморке дворницкой топор. И дворницкая была с двумя ступеньками вниз (двумя! — точно так и было), мы заглянули туда, в сырую темноту, там помещалась заброшенная кладовка. Затем мы вышли и направились к дому старухи-процентщицы.

«Идти ему было немного: он даже знал, сколько шагов от ворот его дома — ровно семьсот тридцать».

Постепенно проникаясь ощущениями Раскольникова, мы тоже считали шаги, с некоторым замиранием сердца подошли к «преогромнейшему дому, выходящему одною стеной на канаву, а другою в В-ю улицу». Дом, на счастье, сохранился в том же виде, окрашенный какой-то безобразной грязно-розовой краской. «Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома». Во дворе множество одинаковых окон со всех сторон неприятно следило за нами. По узкой темной лестнице, где сохранились на перилах обтертые шары желтой меди, мы поднялись на четвертый этаж до квартиры старухи-процентщицы и остановились перед дверью. Как раз на лестнице мы никого не встретили.

Чувство перевоплощения было полное, до нервной дрожи в руках. Больше я не сомневался. И дальше, когда Андрей Федорович повел нас к полицейской конторе, расположение которой он так же точно установил по архивам, и оно убедительно совмещалось с описанием в романе: новый дом, ворота, направо лестница, узенькая, крутая. И неподалеку дом, где жили Мармеладовы, — «дом Козеля, немца». И лавку галантерейную, и трактир...

На улице с развороченным булыжником тихо прогуливалась сухонькая старушонка, держа собачку. Старушка была в черной кружевной пелеринке, собачка в нейлоновом жилетке. На углу старики на ящике играли в шахматы. К ним подошли двое подвыпивших. Сняв соломенные шляпы, они спросили: «Как вы относитесь к тем, кто вышел из тюрьмы?»

Вода в канале Грибоедова стояла зеленоватая, грязная. На Сенной, то есть на площади Мира, возле бывшей гауптвахты, где сидел Достоевский, шла ярко раскрашенная женщина. Она посмотрела на нас глазами Сонечки... Чушь, сказал я себе, ерунда собачья, просто мы в таком настроении и видим соответственно такому настроению.

Но другое, другое мучило меня, куда более серьезное: зачем нужна была Достоевскому подобная точность? Ведь не было же никакого Раскольникова. А его каморка, а тринадцать ступенек, ведущие в нее? Они-то есть. Выходит, Достоевский бывал здесь, во всех этих местах, выбрал именно эту лестницу и эту каморку для своего героя, затем выбрал дом и квартиру старухи. Высмотрел, проделал весь путь Раскольникова, и не раз, так что отсчитал шаги и ступени. Следовательно, он полностью на месте разыграл для себя всю сцену и остальные сцены с точностью полицейского протокола, он действовал как следователь. Нет, даже не так, потому что следователь идет по следам состоявшегося преступления, а Достоевский сперва совершил его в обличье Раскольникова, более того, он перед этим должен был определить всю

топографию, поселить своих героев. Но зачем, спрашивается, ему необходима была такая точность, все эти адреса, разве не мог он сочинить, придумать, представить каморку с вымышленной лестницей, сочинить подробности, сочинить дом и квартиру старухи? Вроде бы легче и быстрее. Однако ни Андрей Федорович, ни Франтишек не могли ответить мне. И кажется, никто из литературоведов, которые занимались Достоевским, а их немало, не отвечал на это, а может, они обходили эту удивительную особенность Достоевского, а может, и другое, может, Андрей Федорович впервые подробно показал реальность описаний в романе — то, на что другие не обращали особого внимания. Во всяком случае, для нас с Франтишеком это было открытием.

Нечто похожее чувствуется у Диккенса. Подспудная точность описаний, доходящая до фактических адресов. Разумеется, я не мог этого проверить, может, на сей счет имеются английские исследования. Но суть даже не в этом. «Чтобы понять поэта, надо побывать на его родине», — говорил Гёте. Разве мог бы чех Франтишек К. ощутить в полной мере Достоевского, если бы не исходил он с нами все эти лестницы и дворы, и сам я, вроде бы коренной ленинградец, проникшись Достоевским, вдруг увидел то, чего раньше не замечал, то, что как-то заслонялось новым, привычным Ленинградом, с его автомашинами, новыми домами, витринами, асфальтом. Так было и в Лондоне: Диккенс помогал мне узнавать Лондон, и Лондон помогал мне понять Диккенса.

И все же не до конца. Обязательно существуют какие-то подробности, непостижимые для иностранца. Сколько бы я ни изучал Англию и Диккенса, всегда остается некий неделимый остаток, оттенки, недоступные пониманию, и не только оттенки, а может, и нечто более серьезное.

В те минуты, когда мы стояли в подворотне перед дворницкой, откуда из-под лавки блеснул топор, и читали, как Раскольников, до этого раздавленный, униженный неудачей,

воспрянул, бросился на топор, вытащил его из-под лавки, сунул под пальто, прикрепив к петле, я заметил, что случай этот, увиденный и пережитый нами, так сказать, на месте происшествия, произвел особо сильное впечатление на Франтишека. Случайность показалась ему странной, несколько многозначительной. Я не сразу понял, откуда происходит разница наших восприятий, лишь в Лондоне мне вдруг прояснилось. Топор не принимался Франтишеком как предмет обыденный, распространенный, необходимейший в городской жизни тех лет. Да и не только тех лет. Для меня то, что топор стоял в дворницкой, — дело естественное. Печное отопление существовало до последних лет в большинстве ленинградских домов. Во дворах виселись поленницы. С детства я привык пилить дрова, колоть, таскать их вязанками домой. Топор имелся в каждой квартире и, само собой, у дворников. В Праге же всегда топили углем, брикетами, как и в Лондоне и в других городах. Для Франтишека топор в дворницкой — случайность, может, роковое стечение обстоятельств, в каком-то роде игра судьбы. И хотя Франтишек жил в Москве, учился, знает нашу жизнь, невозможно требовать от него, чтобы он понимал топор, как понимает его русский человек. Конечно, стоит вдуматься — и разность пониманий исчезает, ничего тут мудреного нет, но вся хитрость в том, чтобы обнаружить подобный «топор». Часто и представить себе трудно, какая вещь может не дойти до чужеземца. Согласен, что пример мой не столь уж существен, наверное, имеются и более серьезные. Выявить их можно лишь нечаянно. Ни в каких комментариях такие вещи не предусмотреть. Все это ко мне пришло позже, а тогда, в подворотне, другая невероятная мысль томила меня: достоверность адресов, расположения, до каких пор простиралась она у Достоевского, что, как и топор, он увидел здесь, в дворницкой, под лавкой; не Раскольникову, а ему он блеснул, ему, когда он шел здесь, представляя Раскольникова... Но тут, я чувствую, начинается столь зыбкое,

таинственное, тайное тайных, область недозволенного, чего не следует касаться... Только теперь я начинал постигать, как много скрывается за такими вроде бы очевидными ходовыми понятиями, как Петербург Достоевского или Лондон Диккенса.

Два моста

1

Витиевато кружили улочки, стиснутые грубо тесанным камнем домов, мелькали частые белые переплеты окон, вывески с гербами и коронами, старинные, сплюсненные с боков, узенькие дома, кованые фонари, медные молотки на дубовых дверях, и вдруг на каком-то повороте машина вырвалась в распахнутый низкий речной простор, где лежали зеленые поймы, было много солнца, неба, ленивая ширь воды, и через всю эту поблескивающую даль висели два огромных моста. Они тянулись параллельно довольно близко друг от друга. Их разделяло всего восемьдесят лет. Старый железнодорожный мост был совсем не старый: восемьдесят лет — ерундовый возраст для такой махины. И старым-то его стали называть совсем недавно, когда рядом построили новый мост. Без этого соседства несколько лет назад и в голову не могло прийти, что он устарел. Мы вышли из машины. Два моста — два разных века, с их разными понятиями красоты, технического могущества, с различием их возможностей.

Я попробовал представить, как тут было, когда старый мост стоял один. Я повернулся к новому мосту спиной. Из воды поднимались высокие и мощные, как башни, каменные быки. На них лежали тысячетонные стальные фермы. Вишнево окрашенные конструкции застыли железными волнами. Сплетения бесчисленных балок, раскосов, укосин протяну-

лись над водой на три километра. Я вспоминал пухлые учебники сопромата, тоску однообразных эпюр, таблицы, остервенелые пересчеты в поисках ошибок.

Когда-то это был знаменитейший мост, кажется, первый мост консольно-балочной системы; он приводился в пример во всех атласах, схема его висела в нашей лаборатории: «Фортский мост в Шотландии. Триумф техники XIX века». Да, это был прекрасный, могучий мост. До сих пор он производил впечатление своей силой.

И все же он был испорчен; как бы я ни подстегивал свое воображение, он был испорчен сравнением, я уже успел увидеть новый мост и ничего не мог поделаться, я невольно сопоставлял их.

Легкий, светлый новый мост висел на тонких трубах, которые казались нитями, он был паутинно натянут над блеском воды, вместо мощности в нем была невесомость; он поражал не сложностью, а простотой. Инженерная мысль, расчеты, формулы — все было спрятано, сведено в минимум линий, и те казались лишь рисунком.

Не могло быть моста проще, изящней, чем новый мост. Плавный выгиб его выглядел законченным совершенством. Мост красовался, как абсолют. Он доказывал всем, что он абсолют, идеальное решение. Никак я не мог представить себе лучшего сооружения.

— Нет, так не бывает, — упрямо сказал я. — Знаем мы эти штучки! Пройдет несколько лет, и этот мост тоже станет неуклюжим.

— В чем именно? Что устареет? Конкретно: какие узлы вам не нравятся? Что вы могли бы предложить взамен?

Я честно пытался найти будущие изъяны, я пытался придумать нечто лучшее и не мог.

По старому мосту шел поезд. Старый мост гулко смеялся.

И с ним некогда было то же самое. И он когда-то казался совершенством.

Восемьдесят лет назад Шотландия не имела автомобилей, радио, кино, электровозов. В те годы появился первый телефон. Я видел его в музее в Глазго. Телефон Белла в большом деревянном футляре с рупором. Рядом стоял фонограф 1878 года с валиком и иглой. Стояли модели первых колесных пароходов 1840 года. Приятность была в том, что это не вообще первые, а первые, какие появились в Глазго. Они составляли историю города вместе с архитектурой, памятниками, картинами. По ним было видно, с какой скоростью поспевал Глазго за передовой техникой.

Мне вспомнились наши первые «эмки» и первые ЗИСы. Тогда формы их восхищали нас. А теперь рядом с новым «москвичом» они выглядят нелепо. По новому мосту мчался низкий белый «ягуар» последнего выпуска. Очертания его останутся такими же и через двадцать лет, и тем не менее он превратится в допотопное чудовище. Но суть в том, что сейчас я бессилён представить его некрасивым и смешным. Вещи живут по своим законам эволюции. Их вид изменяется внезапно, скачком, происходит нечто похожее на мутации. Радиоприемник превращается в маленький транзистор. Старые радиоприемники оказываются беспомощными и наивными, как вымершие ящерицы. Вместо керосинки появляется газовая плита. Аэроплан превращается в реактивный самолет. А потом, с годами, происходит еще одно превращение. Пренебрежение и усмешки наши исчезают, и рождается трогательное чувство. Я помню, как в Берлине видел гонки старинных автомобилей. На высоких лакированных экипажах клокотали, тряслись первые моторы с медными радиаторами. Шоферы в котелках и крагах нажимали резиновые груши клаксонов. Это было и смешно, и красиво. Вдруг в них открылась прелесть старины. Высокие колеса со спицами, фары с керосиновыми лампами. В Стратфорде на площади стояли старинные экипажи, запряженные лошадьми. Кучера в цилиндрах сидели на высоких козлах с длинными бичами в руках. Лакированные дверцы карет были изукрашены старин-

ными гербами графства Варвик. Туристы садились в кареты и ехали по набережной Эйвона, по тихим улочкам Стратфорда, мимо шекспировских домов и старых парков.

Рядом с замками, дилижансами, каминами — со всей освоенной поэтической стариной — век техники выставляет свою старину, и она, еще недавно безобразная, оказывается трогательной. Первые граммофоны, паровозы, воздушные шары, электромоторы успели, оказывается, отдалиться от нынешнего человека, как мушкетеры и шарманки.

Старый мост помогал выявить красоту нового моста. Я смотрел на них и думал, как правильно, что старина в Англии не запрятана в музей. Что ею пользуются, она сохраняется в быту. Сохраняются старые пивные, в них дубовые бочки, высокие кружки, деревянные скамьи. Висят на магазинах старые железные вывески. В университетской столовой Оксфорда стоят древние деревянные столы, на них старинные лампы. Столетиями сохраняются названия лавочек, отелей, улиц. Я толком не могу объяснить, почему это так приятно. Как была Оксфорд-стрит при Диккенсе, так она и осталась, и так и будет. И Московская улица, и Хиргфорд-роуд. Англичане считают, что если вчера тут была кондитерская, то и завтра тут должна быть кондитерская, а не парикмахерская или бензоколонка. Любовь к старине не только мода и репутация фирмы, это уважение к своей истории. И есть еще что-то, кроме этого. Я все время сравнивал, испытывал зависть и грусть. Мне вспоминается Новгород моего детства, яблочный Спас, глиняные свистульки, которыми торговали на базарах, веселая суeta ярмарок, карусели, сооруженные на площадях, старые новгородские чайные... Наверное, тогда уже настоящих чайных не было, и я знал их больше по описаниям и по фильмам. Но в старой лондонской пивной близ Квинсвей мне захотелось, чтобы у нас в Ленинграде были тоже русские трактиры; чтобы в углу стояла фисгармония, и официанты ходили в русских рубашках, и можно было бы петь песни,

пить чай из самовара; и чтобы на стенах висели русские лубки; и чтобы все это было без кокетства, с уважением и любовью к старине; чтобы можно было проехаться на извозчике; и чтобы квас продавали не из железных цистерн. Ведь звучит столетиями полуденный выстрел с кронверка Петропавловской крепости. Это традиция Ленинграда, его отличие, его история.

Кроме старой, существует и новая история. Мне захотелось увидеть на наших улицах (или хотя бы в городских музеях, в автоклубах) первые советские автомобили, чтобы иногда они проезжали, пыхтя и грохоча, и на них сидели шоферы в кожанках, перчатки с раструбами, а Седьмого ноября чтобы стояли в карауле не солдаты, а красноармейцы в буденовских шлемах, балтийские матросы в бушлатах...

На родине Бёрнса, рядом с домом, где он жил, по саду ходил шотландец в старинном костюме и играл на волынке. Разумеется, делалось это ради туристов, но все равно это было красиво, приятно и для туристов, и для англичан, и для жителей города Эр. Старина необходима современному человеку не только ради украшения жизни. Она возбуждает особую любовь к родине, она противоядие от всеобщей стандартизации, в ней есть еще какой-то необходимый нравственный витамин.

Дубовые панели оксфордской столовой увешаны портретами всех знаменитых выпускников университета. В часовнях колледжей хранятся длинные списки студентов, погибших в Первой и Второй мировых войнах. Такие списки повсюду. Лежат толстые тома, где страница за страницей, сотни страниц заполнены именами павших в боях — дата смерти, фронт.

В Эдинбургском замке висит мраморная доска с именами всех комендантов замка начиная с 1177 года по нынешний. Любопытства ради я подсчитал, сколько их сменилось, — шестьдесят. Почти за восемьсот лет. Вполне удовлетворительная текучесть кадров.

В маленьком уличном баре Глазго висел портрет усатого господина. Я спросил, кто это. Бармен с укором посмотрел на меня: да это же мистер Стенгон! Я решил идти напролом: а кто такой мистер Стенгон? Господи, да это же основатель нашего бара, он основал его в 1897 году! Никогда еще я не чувствовал себя таким невеждой. Тесная, заплеванная комнатка бара выглядела после этого иначе. Жизнь мистера Стенгона не прошла даром. Поколения любителей виски и пива имеют возможность каждый вечер поминать добром предприимчивого мистера Стенгона. Кто вспомнит о нас через каких-нибудь пятьдесят лет, меланхолично размышлял я, а этот мистер Стенгон будет все так же славен в своем квартале, если, конечно, санитарный врач не прикроет эту забегаловку.

На Принцесс-стрит в Эдинбурге стоят деревянные скамейки с памятными дощечками на спинках — поставлена в честь такого-то учителя, в память такого-то врача или на средства мисс такой-то. Вдоль улицы памятники, а у памятников — скамейки, тоже памятник, самый полезный из всех видов памятников.

Традиции — национальное богатство Англии. Поскольку экспортировать их нельзя, то запас их не то что золотой запас — запас традиций не тает. Правда, от кое-чего англичане стараются отделаться, — от ярдов, миль, футов, галлонов, пинт перейти на метрическую систему, перейти на правостороннее движение, на новую денежную систему, однако практики отмены традиций пока нет, и кажется, ее не очень-то хотят приобретать.

К традициям приспособляются. В Оксфорде правило: в девять часов вечера студенты должны быть в колледже. Ворота запираются во всех тридцати одном колледже. Если студент приходит после двенадцати часов ночи, его штрафуют. Но тут же в студенческих газетах печатаются советы и инструкции, как проникать в колледжи после полуночи.

В мае университеты на неделю отдаются во власть студентам. Карнавалы, песни, розыгрыши; полиция не вмешивается,

каждый колледж изощряется в выдумках. Ночью разобрали машину профессора, перетащили части на площадку башни и там собрали ее. Похитили Бертрана Рассела. Сорок девушек втиснулись в будку телефонного автомата, установив мировой рекорд! Переоделись полицейскими...

Мне вспомнилось, как мы ходили из колледжа в колледж и наш гид, хрупкая, засушенная до прозрачности старушка, сообщала про большой университетский колокол, который единственный раз в истории не отзвонил вечером свой сто один удар — во время войны, когда Англия ожидала гитлеровского вторжения; рассказывала про Льюиса Кэрролла, который учился здесь, и про картину Эль Греко, которую подарил кто-то из бывших учеников, — всяческие забавные правила и обычаи, которые отличают каждый колледж: там нельзя носить бороду, там длина мантии столько-то сантиметров — масса вроде бы нелепых традиций, и ими гордятся, их поддерживают.

— Безобразие, — возмутилась Зоя Семеновна, — всей этой чепухой только отвлекают внимание!

— Но ведь они несерьезно относятся к этому, — сказал я. — Игра. Так веселее учиться.

— Не выгораживайте! — строго сказала Зоя Семеновна. — И эта старушка, слышите, как она замазывает социальную сторону!

Зоя Семеновна жаждала политических схваток. По дороге в Англию она волновалась, готовясь к провокациям, каверзным вопросам; она была убеждена, что придется отстаивать, раскрывать подноготную, давать отпор. Но проходили дни, противник почему-то не обращал на нее внимания, уклонялся. Зоя Семеновна изнывала от неистраченной активности. Высокая, с сильным голосом, она могла бы заткнуть за пояс всех ораторов Гайд-парка. Однако трудность состояла в том, что здесь, на «месте происхождения», капитализм выглядел куда сложнее, чем дома, разоблачить его было труднее, все запуталось, сплелось: кроме капитализма, существовал еще народ с

национальным своеобразным укладом жизни, в котором было много прелести, существовал характер англичанина — честный, независимый, прямой, существовали традиции, украшающие жизнь.

...Трава, упругая, зеленая до оскомины, делала все, чтобы успокоить нас; толстые черные дрозды гуляли рядом с нами, веря в наше дружелюбие.

Над рекой Ферт-оф-Форд висели два моста. Каждый из них был по-своему красив. Но как бы они ни были красивы, они были всего лишь мосты, а под ними блестела река, расстилались зеленые луга Шотландии, легкие синеватые холмы, и изменчивая, непрочная красота их казалась более вечной, чем железо и бетон...

2

На Трафальгарской площади по сторонам от колонны Нельсона стояли четыре памятника, вернее, установлены три, постамент же четвертого был еще никем не занят. Днем, как всегда, сквер полон народа, дети забирались на лежащих бронзовых львов, туристы щелкали и жужжали своими камерами.

Улучив удобную минуту, я влез на пустой пьедестал. Никто не обратил на это внимания. Полицейский, который прогуливался вокруг, несколько раз покосился из-под своей каски, но поскольку я не нарушал правила, не укладывался спать, а стоял себе совершенно смирненько, он успокоился.

Проходили часы. Руки на моей груди скрестились, правая нога чуть подалась вперед, и постепенно я перестал чем-либо отличаться от других памятников. Очень легко и просто стать типичным, рядовым английским памятником. Все они удивительно похожи друг на друга, как будто делались одним скульптором, с одного и того же натурщика. Стоит спустить

их на землю, всунуть им в руку зонтик, и они станут неотличимы, подобно толпам лондонских клерков. Можно и наоборот: считать их клерками, взобравшимися на пьедесталы. Нигде еще я не видел столько памятников, как в Англии. Весь остров уставлен памятниками. Каждый из них в отдельности был бы вполне приемлем, но все вместе они угнетали количеством и однообразием. Империя щедро награждала памятниками своих полководцев, адмиралов, героев бесчисленных сражений, каждое из которых выглядело историческим и решающим. Отливали в бронзу фигуры тех, кто завоевывал Британии новые колонии, открывал земли, усмирал восстания, тех, кто свергал королей. Блистательные министры, мудрейшие дипломаты, любимые короли и любимцы королей — диву даешься, как много, оказывается, было их, этих вершителей судеб народов, спасителей, избавителей, защитников, благодетелей!

Королева Виктория устала города металлом и мрамором, изображающим ее обожаемого супруга Альберта. Города, в свою очередь, воздвигали памятники обожаемой королеве.

Ночью, когда прохожие исчезают, появляются памятники. Бронзово-мраморная знать толпится на площадях, на перекрестках, вдоль бульваров, все свободные места заняты ими. Конные статуи, колонны,obelisks, памятники писателям, королевским гвардейцам, знаменитым пожарам, морской пехоте, верным собачкам, изобретателям, врачам, подводникам, торговым морякам. Шотландцы, те, например, по любому поводу ставили памятники Вальтеру Скотту. По количеству памятников это, наверное, самый монументальный писатель.

Первыми ко мне привыкли голуби. Они стали пачкать меня так же, как и фельдмаршала Эблока и генерала Непира. Внизу папы и мамы покупали детям баночки с жареным зерном, дети кормили с рук голубей. Поклевав, голуби садились на нас. Поскольку адмирал Нельсон стоял выше всех на своей колонне, он был и чище всех, зато он чувствовал себя там, наверху, одиноко.

Вскоре подле меня начали фотографироваться туристы. Группе дотошных немцев почему-то надо было выяснить, кого я изображаю. Они листали путеводители, бегали к Непиру, к Генриху IV, сличали нас с фотографиями, — очевидно, там было указано, что четвертый пьедестал пустой, но который из них пустой, теперь определить было непросто. Одни решили, что путеводитель устарел, другие доказывали, что я генерал Непир, а Непир — Эвлок, пока они окончательно не запутались. Они попробовали обратиться к старенькой леди, которая с внуками кормила голубей. Леди надела очки и принялась обозревать нас. Короткое любопытство оживило ее потухшие глаза. Особенно ей понравился Генрих IV, меня она оглядела без интереса. Даже на пьедестале я ничего собой не представлял. Взор ее, вероятно, за всю жизнь не поднимался выше бронзовых львов Трафальгар-сквера. Она, конечно, знала, что кто-то там стоит наверху, но кто именно — это ее не интересовало: слишком много памятников. Сам генерал Эвлок не очень-то знал, за что его сюда поставили, то есть когда-то он знал — за поход против афганцев, поход в Персию, усмирение сипаев, однако нынче признаваться в этом было неловко, и генерал стыдливо пожимал своими металлическими плечами. Я тоже не мог ему объяснить, кому я памятник. Жизнь моя, разумеется, не заслуживала никаких долговременных сооружений. Правда, генерал утешил меня: биография — дело историков, они ее выправят, подгонят, оснастят изречениями, анекдотами, примечаниями, и жизнь моя станет красивой, поучительной, прекрасной легендой, очищенной от неудобных фактов. Когда-то, во времена Возрождения, все было еще проще: кондотьер Коллеоне поставил себе памятник за собственные денежки, любой богатый человек мог заказать себе памятник — на коне, без коня... В те времена требовалось лишь, чтобы памятник был произведением искусства. Важно было, не кто изображен, а кто изобразил. Имя ваятеля, его талант — вот что ценилось; фактически оставался памятник скульптору.

О подобных вещах, о превратностях славы и размышлял я с тех пор, как стал памятником. Торопиться было некуда, торопились люди. Лондонская толпа деловая. С деловым видом мамыши катят свои мальпосты, ведут на вожжах малышей, деловито мисс и миссис выводят на прогулки всевозможных пород собак, озабоченно бегут причудливо остриженные шпицы. Собак тьма. Они, впрочем, единственные, кто удостоивает вниманием все памятники. Люди спешат, и тем не менее даже в часы пик лондонская толпа отличается учтивостью, спокойствием. Улица в Лондоне существует не для гуляния. Хотя... Неподалеку от меня однажды остановилась парочка. Они остановились посреди площади, вдруг застыли, обнявшись, глаза их закрылись, губы слились, и все остановилось. То есть ничего не остановилось: поток людей огибал их, люди шли, договаривались, спорили, покупали, прощались, но все это происходило совсем в ином времени и измерении. Не время течет, а мы идем в нем, — они же никуда не шли, они были счастливы, и время для них не существовало, оно кончилось; это была та вечность, по сравнению с которой мое медленное бронзовое время стало мигом. Ждать конца этого поцелуя было бессмысленно. Я тихо сошел с пьедестала. И опять-таки никто не обратил на это внимания. Четвертый пьедестал снова остался вакантным.

3

Пылал камин. Я сидел вытянув ноги, смотрел в огонь, курил сигарету и потягивал виски. Я отдыхал и воображал себя англичанином. Виски называлось «Георг IV». На этикетке был нарисован румяный красавец Георг.

Я взял бутылку и стал рассматривать порочное лицо короля.

— Ну как виски? — спросил старший Маклистер.

— Прекрасно, — сказал я. — Крепкая штука.

Зоя Семеновна незаметно толкнула меня в бок.

— Неудобно, — прошептала она. — Подумают, что мы дикари, первый раз видим виски.

— Но я действительно никогда не пил такого виски.

— Все равно не надо этого показывать.

— Послушайте, Гарри, — сказал я громко, — вы пили когда-нибудь хлебный квас? Эва, переведите, пожалуйста, — хлебный квас.

— Нет, — сказал Маклистер. — Что это за штука?

— А брагу вы пили? А самогон? Вот видите, дорогая Зоя Семеновна, и тем не менее он культурный человек. Почему я должен знать про это виски, если он не знает про квас?

— Роджер, — сказал Маклистер сыну, — сыграй что-нибудь гостям.

Роджер обрадовался, принес флейту. Его приятель вытащил скрипку. Я думал, что они хоть для виду поломаются, им все же было по семнадцать лет; по всем правилам они с ходу принялись играть всякие пьесы и песни, и все гости стали петь, и конечно, «Подмосковные вечера», «Стеньку Разина», «Широка страна моя родная». Они знали слова наших песен, мы же, как водится, давно позабыли. В перерывах говорили о музыке, о детях, о рыбной ловле, о Фолкнере, о телевидении, о Джоне Бернале, об автомашинах, обо всем, о чем могут говорить в гостях в Москве, в Ленинграде, в Новгороде. Поразительно, сколько, оказывается, существовало таких общих тем. Мы одинаково ругали телевизионные программы. Наши дети были, конечно, легкомысленней нас, совсем другое поколение. Джон Бернал был великий ученый, он предвидел социологию науки; Фолкнера читать трудно, а старинная музыка хороша.

— Вы заметьте, как они нас принимают, — сказала мне Зоя Семеновна, — кофе, напитки, печенье, бутерброды — и все. Не то что у нас. Обязательно наставят полный стол еды.

— И хорошо, что полный стол, — сказал я. — У каждого свои порядки, так и должно быть.

Она посмотрела на меня с глубокой жалостью. Я чувствовал, что она стыдится перед нашими хозяевами за меня и всячески доказывает за нас обоих, что все эти виски и сэндвичи нам не в диковинку, никакого кваса у нас нет, а если и есть, то от наших предков, которых мы тоже осуждаем за квасной патриотизм, и вообще мы — это вовсе не мы, потому что не могут англичане уважать самовар, валенки, моченую бруснику, они могут уважать только спутники и лазеры. В то же время она восторгалась и дымным английским камином, и крохотным жалким садиком и не смела поморщиться от непривычного невкусного английского чая с молоком и от жесткой системы умывальников без смесителей, где мыться можно либо кипятком, либо ледяной водой. Не то чтобы она убежденно преклонялась перед английским — все это происходило, разумеется, бессознательно, и самоотрицание ее было бессознательным, и какое-либо преклонение она, разумеется, не признавала. Когда же мы оставались без англичан, она исполнялась высокомерия и всячески отвергала уклад их жизни, опять же не в силу убеждения, не потому, что ей и впрямь не нравилось, а скорее из жажды самоутверждения.

Когда мы возвращались от Маклистеров, она расспрашивала меня, что особенного я успел заметить, так сказать, характерного для быта и нравов английской семьи. Она полагала, что я как писатель обязан быть проницательным, наблюдательным и прочее. Однако, к стыду моему, никаких наблюдений у меня не оказалось. Весь вечер я проболтал с Маклистером-старшим. «О чем же?» — спросила Зоя Семеновна. Тут я окончательно сконфузился. Маклистер работал мастером на радиозаводе, и обсуждали мы с ним будущее транзисторов и радиоприемников.

— Это вы могли обсудить и в Ленинграде, стоило ли для этого ехать в Англию, — сказала Зоя Семеновна.

Она была права, но я утешался тем, что Маклистер еще показал мне звонок, который он сам сделал: молоточек бил не по чашке, а по длинным бронзовым трубкам — звук полу-

чался мелодичный, протяжный. Маклистер объяснил мне, как подобрать трубки и как их подвешивать. Кроме звонка, он сделал кухонный стол, переоборудовал мойку. До этого я был у Олдриджа, и Джеймс тоже с гордостью показывал мне мебель, которую он смастерил. Многие англичане вместо пресловутого хобби увлекаются ремеслами — красят, клеят, плотничают внутри своих крепостей.

По мере того как дом Маклистеров отдалялся, мне приходили на ум всевозможные вопросы, которые следовало бы задать в тот вечер, выяснить взгляды, отношения, понимание, множество разных вопросов, которые бы я мог осветить, привести, и у меня получилась бы полная картина жизни простой английской семьи. Вместо этого я сидел перед камином и пил виски. Но, странное дело, удовольствие от этого вечера не проходило. И было сильнее всяких сожалений. Осталось чувство душевного равноправия, никакого потока информации я не получил, а просто подружился с Маклистером. До сих пор вспоминается мое блаженное состояние покоя и полной свободы от всяких обязанностей. Скромная, тесная крепость Маклистеров, которую мы взяли с такой легкостью, гарнизон этой крепости, соседи из ближних крепостей, которые пришли повидаться с советскими людьми, тощие мальчишеские койки, любовно приготовленные крохотные сэндвичи... Мы познакомились с Маклистерами случайно, на каком-то приеме, и он пригласил нас в гости, приехал за нами. Чего ради? Зачем ему этот прием, расходы, хлопоты? Сколько бы я ни встречался с подобным гостеприимством на чужбине, я не могу привыкнуть к этому и воспринимать как должное. Я не знаю, как англичане принимают незнакомых французов, итальянцев, датчан. Мне кажется, что мы были для Маклистеров не просто чужеземцы, мы были советские. Что вкладывают они в это понятие? Наверно, там есть и любопытство, и опасение, и несогласие, но если все это сложить или вычесть, в итоге остается некое чувство, особое, не то чтобы любовь,

я боюсь быть самоуверенным, мы нужны — вот что я ощутил, чем-то нужны, без нас уже нельзя, земля не может снова стать плоской.

Перед отъездом из Глазго к нам пришел журналист местной газеты. Он был любезен и недоверчив. Он спросил, как мне понравился Глазго. Я сказал, что не понравился: черный, унылый, некрасивый. Журналист вдруг обрадовался. Ему тоже не нравился Глазго. Мы заказали кофе и долго с удовольствием поносили Глазго и хвалили Эдинбург.

Журналист снял темные очки, усталые глаза его смотрели умно и весело.

— А вы знаете, это хорошо, что вы увидели грязные дома, тесноту, копоть.

Сперва я не понял, почему это хорошо. И лишь потом, сидя в самолете, я вспомнил, как мы ходили по Ленинграду с одним писателем из Западной Германии. Это был хороший, честный писатель. Он хотел увидеть все как есть, мы заходили с ним в убогие старые дворы-колодцы, в коммунальные квартиры, мы пили пиво, плохое наше пиво в уличных ларьках. Он побывал в шикарных ресторанах и в скверных столовых. Он ездил в нашем отличном метро и в переполненных утренних трамваях. Не очень-то приятно было показывать ему все как есть. Кое-кто упрекал нас за это. И мы сами видели, что уехал он огорченным. Спустя год он приехал второй раз, потом третий. Он сказал мне, что полюбил нашу страну, потому что видел не только хорошее, но и плохое. Видел движение жизни, ее меняющийся облик, со всеми невзгодами, трудностями, преодолениями.

Любовь к стране возникает путано, загадочно, как всякая любовь. Неожиданно прорастают какие-то странные мелочи. Я шел по Лондону и вдруг развеселился, поняв, как англичане разрешили проблему зонтика. Сумеете ли вы назвать другую проблему, которая ежедневно возникала бы перед каждым горожанином с такой неразрешимой гамлетовской неотступ-

ностью? Брать или не брать? И утром, и вечером человек задумывается над зонтиком. Развитие метеослужбы только осложняет положение. Мало взглянуть на небо, надо еще прослушать сводку и вывести распределение вероятностей. Англичане первые нашли выход — простой, как все великое. Они превратили зонты в постоянную принадлежность туалета. Такую же обязательную и бесполезную, как галстук или усы. Небо может оставаться ясным, без единого облачка, может наступить засуха — все равно англичанин берет зонтик, ничто уже не заставит англичанина оказаться без зонтика. Зонтик не зависит от погоды. Он независим от небес, он сам по себе — тросточка, палка, стек, завернутые в материю, — считайте как хотите; оказаться без зонтика невозможно — все равно что выйти без рубашки.

Первое, что заявила наша переводчица, знакомясь, — что она не англичанка, а шотландка. При всей своей мягкости и доброте, в этом она была непреклонна. Шотландцы считают, что Англия — это часть Шотландии, и не самая лучшая, а парни в ночном лондонском метро рассказывали мне, что в Ла-Манше непогода, суда во Францию не ходят и бедный материк отрезан от Англии. Может, сутки, может, несколько суток Европа останется на произвол судьбы, как-то она проживет. Они бренчали на гитаре. Вагоны мчались под Лондоном, грязные старенькие вагоны старой скверной подземки с лифтами вместо эскалаторов, медленными лифтами, куда приходится стоять в долгой очереди, бежать по темным узким переходам. Я пересмеивался с этими незнакомыми бородатыми парнями, я давно проехал свою станцию и чувствовал, что ни черта я не понимаю в этих англичанах, которые из небольшого острова сделали большое государство, где Англия — часть Лондона, окраина Лондона, как они сказали, а Европа — часть Англии, и не самая лучшая...

— Что вам все же больше всего понравилось в нашей стране? — допытывался журналист.

Я признавал, что он должен что-то написать. Я хотел помочь ему и не мог. И в Лондоне мне задавали тот же вопрос, и в Ленинграде, и всякий раз я беспомощно мялся. Вместо того чтобы вспомнить, что же мне понравилось, я думал о том, как много я не успел увидеть, особенно в Лондоне. Я хотел побродить рано утром по улочкам Сити, постоять у Биржи, у Парламента, потолкаться на рынке, пойти в Музей наук, проехаться по Темзе. Теперь-то я понимаю, что, в сущности, Лондона я по-настоящему не видел, не знаю. Мне хотелось снова приехать сюда и пожить хотя бы несколько дней, не торопясь, иногда скучать, и чтобы быть не туристом, а иметь дело. Наверное, и тогда я не смогу ответить журналисту: Лондон снова останется слишком большим, неуловимым, но, может быть, это и значит, что он понравился.

1967



Ленинградский фронт. 1941



С комбатом Захаром Коминаровым. Ленинградский фронт. 1942



Ленинградский фронт. Отдельный ремонтно-восстановительный батальон. 1942



За работой. 1955



Слева направо: Даниил Гранин, Лидия Делекторская, Константин Паустовский, Елена Катерли, Леонид Рахманов. Париж, 1956



В научной лаборатории. ГДР, конец 1950-х – начало 1960-х



Встреча с читателями. Начало 1960-х

что велит совесть. Во имя этого «светлого дня» Минаев «поддакивал тупым невеждам», «голосовал за, когда совесть его требовала голосовать против», «говорил слова, которым не верил», «хвалил то, что надо было ругать», травил новаторов — сколько их уже осталось позади! — и в конце концов так врос в свое гаденькое состояние, что уже поступать иначе, чем «применительно к подлости», не мог.

Допустим, что подобный человек, как поганный гриб, и вырос на нашей земле. Но дело в том, что у Д. Гранина Минаев — не аномалия, а некая закономерность. Так, оказывается, поступают все персонажи рассказа. Чего, например, стоит вот такой абзац:

«Все, что предлагал Локтев (Локтев — инструктор горкома партии. — П. С.), было подло, насквозь подло, но Минаева поразило другое — Локтев, по крайней мере, говорил то, что хотел... Все остальные люди, связанные с этим делом, — все они думали одно, а говорили другое. Все, начиная с самого Минаева и кончая его референтом. Каждый из них по-своему лицемерил, лгал, и, вероятно, поэтому Локтеву можно было уже не лгать».

Как видно, автор ни одного исключения не делает: весь коллектив лжет и кривит душой.

А в этом коллективе много молодых инженеров. Но и они двоедушничают, притворяются. Референт Минаева, молодой инженер, вопреки своему личному мнению, составил письмо, в котором о предложении новатора Ольховского отзывается недоброжелательно.

«... — Почему же вы готовите мне такие ответы, — быстро спросил Минаев, — ведь это расходится с вашим мнением? Почему вы поступаете, как Молчалин?»

Референт медленно, с силой пригладил растрепанные волосы.

— Я пишу так, как вы хотите, чтобы когда-нибудь писать так, как я считаю нужным. — И он твердо посмотрел в глаза Минаеву.

— Ого! И вы надеетесь, что это когда-нибудь случится? — задумчиво усмехнулся Минаев».

По меньшей мере странный философия. Конечно, в нашей среде есть уродливые типы, и их нужно быстрее выводить на чистую воду, лечить от пороков, а иногда и выжигать каленым железом. Но когда автор пытается убедить в том, что целый коллектив, большой коллектив интеллигентов, сплошь состоит из испорченных людей, что пороки передаются из поколения в поколение, это вызывает чувство протеста.

Почему Д. Гранин, так умно и наблюдательно изобразивший разные типы советских людей в «Искателях» со своими достоинствами и пороками, теперь решил представить подлость не только как распространенное явление, но и как нечто обыденное, привычное, живущее в нашей среде само по себе, — подлость, с которой никто не борется и не думает бороться?

В рассказе присутствуют две фигуры, которым по всем законам нашего общества надлежало бы бороться против подлости, взять под защиту новатора Ольховского, разрушить атмосферу подхалимства и лжи. Один из них — инструктор горкома партии Локтев. Наши партийные органы ведут настойчивую борьбу с бюрократизмом, бездушным отношением к делу, формализмом, они развивают активность советских людей, оказывают действительную помощь тем, кто разоблачает несправедливость, чуждые нашему обществу нравы. В рассказе картина обратная. Автор совершенно не показывает Локтева в действии, устами Минаева осыпает его такими эпитетами: «бездарный», «серый недоучка», «туповатый чиновник», «подлец», «зловонное ничтожество».

Кто же тогда стоит за правду? Может быть, заместитель министра Петрищев? Он в рассказе показан как единственный порядочный человек, да и тот... Нет, автор не следует примеру Собакевича и не говорит прямо о том, что и Петрищев не лучше других. Он делает это вежливо.

С. - тоже был инструктором
Решает не бороться.

Минаев - это не Минаев

А он ставит знак - борется не борется

Борется не борется, и тогда не борется

Решает не бороться

Решает не бороться

Журнал «Партийная жизнь» (1956. №17). Фрагмент «Письма читателя», озаглавленного «Рассказ, вызывающий недоумение». Подписано неким полковником П. Стародубцевым. «Письмо» содержало жесткую партийную критику на «вредное произведение» Д. Гранина — рассказ «Собственное мнение» (Новый мир. 1956. № 8). На полях публикации — комментарии Ольги Берггольц

У Б. Пастернака есть строчки:
Но старость — это Рим,
в который
взамен турусов и колес
не жутки истребуют с актера
а полной гибели всерьез

У нас привыкли к жутке, к турусам и
колесам, а жизнь, партия, стр[оительст]во нового общества
сплошь и рядом требуют жертв, самоотречения и — честности,
честности, честности.
Прямоты.

Давайте, будем откровенны: за последствия
культ личности, еще ^{коренящиеся в нашем} ~~вырастающие над нашим~~
сознанием, прежде всего ^(сорняк) будет цепляться Минаев, чтоб укорениться на этих горьких обломках и прорасти
из них со всей пышностью истинного сорняка.

Фрагменты из подготовительных материалов для статьи в защиту рассказа Д. Гранина «Собственное мнение». Ольга Берггольц: «У Б. Пастернака есть строчки: „Но старость – это Рим, который, / взамен турусов и колес, / не читки требует с актера, / а полной гибели всерьез“. У нас привыкли к читке, к турусам и колесам, а жизнь, партия, стр[оительст]во нового общества сплошь и рядом требуют жертв, самоотречения и – честности, честности, честности. Прямоты. <...> ...Давайте будем откровенны: за последствия культа личности, еще коренящиеся в нашем сознании, прежде всего будет цепляться Минаев, чтоб укорениться на этих горьких обломках и прорасти из них со всей пышностью истинного сорняка...»

Материалы из личного архива Д. Гранина



В Бухенвальде. 1967

На местах сражений. Здесь в 1941–1942 годах
воевал Даниил Гранин. Мемориал «Ополченцы»
под Ленинградом, 1980-е



Алесь АДАМОВИЧ
Даниил ГРАНИН

★

ГЛАВЫ ИЗ БЛОКАДНОЙ КНИГИ

У этой правды есть адреса, номера телефонов, фамилии, имена. Она живет в ленинградских квартирах, часто с множеством дверных звонков — надо только нажать нужную кнопку, возле которой значится фамилия, записанная и в вашем блокноте. Ожидавшая или не ждавшая вашего посещения, вашего неожиданного интереса, она изгибается на вас женскими или не женскими, но обязательно немолодыми и обязательно взволнованно-оценивающими глазами («Кто?.. Почему?.. Зачем им это?»). Проведет мимо соседей к себе и скажет тоже почти обязательное: «Сколько лет прошло... Забывается все...»

Ленинградские дома, квартиры блокадников...

Вообразите себе солдата, который живет сегодняшним мирным бытом, но окружен теми же стенами, предметами, как бы все в той же землянке, в том же окопе. Следы осколков от снаряда на потолке (старинном, ленином), осколков стекла на лаке пианино. Пятно-ожог от буржуйки на блестящем паркете... Тут его, ленинградца, обстреливали, обрушивали на него смерть — снаряды, бомбы. Тут его истребляли голодом. Он потерял здесь столько близких, соседей, здоровье потерял. А сейчас (здесь же!) живет, как все. Как все, только со всех сторон окружен памятью.

И в нем самом она, та память, ~~(о правде)~~ о блокаде, о всем выстраданном, пройденном, пережитом вместе с миллионами других ленинградцев, которых уже нет, за которых тоже надо помнить, а если спрашивают — рассказать...

«Сколько лет прошло, забывается все...»

Но ничто не забыто — эти родившиеся в Ленинграде же слова звучат и как уверенность и как надежда, просьба. Да, не забыто — разве может человек такое забыть, даже если бы и хотел, имел право? Да, все это помнят еще живущие блокадники. Они блокаду выдержали, они переносили ее из дня в день с поразительным человеческим достоинством. С тем же достоинством они долгие годы удерживали, сохраняли в себе обжигающую правду о пережитом, жалея, щадя нас. Но мы, мы — не пережившие этого или сегодняшние молодые, — имеем ли мы право не знать? Не хотеть знать? Не стараться узнать обо всем, что вынесли, пережили, перестрадали, сделали и ради нас они, ленинградцы?!

И вот сегодня мы пришли к нему, к ней — именно к этому человеку, чтобы «все записать», потому что ~~(пришло время)~~, «люди хотят знать», «людям надо».

Откровенно говоря, мы даже не подозревали, какая жестокая правда стоит за привычными словами «ленинградская блокада». Да, свирепая, ужасная, так кто знал, кто был, кто видел...

Журнал «Новый мир». Фрагмент верстки первых глав «Блокадной книги» с цензурными правками и изъятиями. Дважды убрано слово «правда». Фразы «пришло время», «люди хотят знать», «людям надо» также заменены по указанию цензора. Номер вышел в декабре 1977 года. ЦГАЛИ

~~ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ПОДЪЕЗДЕ СО СЛУЖБЫ СТАРШИЙ ПОДПОЛИТНАЛД-АНДРИ
АДУТ / АДУТ. В. - ИСТОРИЧЕСКОЕ ВЕЩАНИЕ - ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОКЛАМАТО ВОЗВРАЩАЮЩЕ~~

¹ Незнание населения создало ложившуюся движущую линию обороны.

С таким «научным» хладнокровием старались люди удушить, истерзать, стереть с лица земли Ленинград! Не получилось. Теперь приходится «научно» (с учетом ленинградского опыта) спасать собственную столицу. Да только ни там, ни здесь не ленинградская «наука», их самые предусмотрительные приказы не могли решить беду, привести их к победе. Нужно было что-то большее, чем блаженный страх перед распадом, за жизнь свою страх. Нужно было что-то такое, что сильнее любых приказов, всех мук голода. Что сильнее в страхе и смерти. Именно то, чем держались ленинградцы, что питало волю и героизм советских людей под Москвой, и в Севастополе, и в Сталинграде, и в партизанских краях и республиках, — великая, высокая человеческая правда и оправданность борьбы до последнего дыхания.

Мария Ивановна, бессмертная, вечная Мария Ивановна не капитулировала. Капитулировали те, что старались убить ее бомбами, снарядами, похоронить под стенами обрушившихся домов, уморить голодом, холодом, усталостью, безнадежностью. Победил она и тот безымянный мальчик, который родился, казалось бы, в самом царстве смерти.

ЖИЗНЬ ПОБЕДИЛА

* > Укоротил маховик и
подшипник.
Ленинград извоз
как извоз поварен
масла, обороты 2000.

Фрагмент верстки. Внизу идеологические «пожелания» цензора: «Усилить публицистику. Л[енингра]д был не брошенный город. В эти дни вся страна думала, заботилась о Л[енингра]де...» ЦГАЛИ



Алесь Адамович и Даниил Гранин. Продолжается работа над «Блокадной книгой». 1982

26 января 1984 года, накануне сороковой годовщины полного снятия блокады. Даниил Гранин и Алесь Адамович в гостях у блокадницы Александры Михайловны Арсеньевой





Академик Дмитрий Лихачев и Даниил Гранин в Комарово. 1980-е



С академиками Андреем Сахаровым и Виталием Гольданским и писателем Алесем Адамовичем. 1987



С дочерью Мариной Данииловной Граниной. Комарово, 2007.
Фотография А. Фалдина



Даниил Гранин. 1 октября 2016 года. «Открытая библиотека. Диалоги». Эрмитаж, лекторий Главного штаба. Фотография А. Глуза / Кп-СПб

Прекрасная Ута

Ночью в замке

ОДНАЖДЫ ТЕМНОЙ ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ...
Давным-давно я мечтал начать с такой фразы. Однажды темной зимней ночью во дворе замка...

И однажды, и замок — все это не придумано, а действительно было со мною, когда я жил в старом-престаром замке, над воротами которого был высечен каменный герб и год — 1326-й!

Замок стоял на лесистой горе, настоящий замок с башнями, переходами, толстыми стенами. Он мог вполне сниматься в кино или быть музеем. Но это был скромный замок, он был доволен уже тем, что сохранился и пережил многих своих сверстников.

Итак, однажды ночью я проснулся от какого-то длинного шелестящего звука. Потом наступила тишина. Я лежал с открытыми глазами, прислушиваясь. На стене, обшитой досками, висел старинный портрет молодой женщины. Ее называли Вдовой. Она была одной из владелиц замка лет триста назад. Судя по глазам и улыбке, это была довольно заводная бабенка. У нас с ней установились неплохие отношения. Но

Печатается по: *Гранин Д.* Собрание сочинений: В 8 т. СПб.: Вита Нова, 2009. Т. 3. С. 72–126.

сейчас ее улыбка показалась мне подозрительной. И звук, который повторился, непонятный шелестящий звук посреди ночи. Он донесся со двора. Я подошел к окну. Маленький двор замка был пуст. Граненый фонарь с угловой башни высвечивал темные плиты и глухие корявые стены с узенькими окошками. Я без особой надежды смотрел на чистенький двор — право, такой старый замок мог бы порадовать каким-нибудь привидением или приключением. Мне стало немного грустно оттого, что я ни черта не боялся, даже ночью в таком замке.

Когда я приехал сюда и с трудом отворил кованые, тяжелые ворота и мне стали показывать каменные эскарпы и гласисы, я почувствовал в своей вежливой улыбке привкус военной снисходительности — я-то знал, как дырявились такие стены от стопятидесятимиллиметрового.

Я оделся и вышел во двор. Чистенькое немецкое небо было аккуратно прибито обойными шляпками звезд. Все обитатели замка спали, и птицы еще спали, был тот час в конце ночи, когда все всюду спят. Я чувствовал себя единственным бодрствующим. Я ждал, зачем-то подстерегая тот звук. И вдруг я перестал понимать, зачем я здесь. Зачем я один, ночью, посреди Германии стою безоружный, вроде бы свободный, не в плену? Я в Германии и не на танке? Что скажут в полку? Что скажут мои ребята, мой экипаж? Если бы они увидели меня сейчас, они меня бы заподозрили и стали бы допрашивать. А как бы я мог объяснить им? Почему я не стреляю? Чего я тут ищу? Спокойно сплю, сижу в пивных, здороваюсь, смеюсь...

Я вдруг удивился своей жизни, своей судьбе. Давно уже во мне не просыпался тот, который умел видеть меня со стороны и безмерно удивляться тому, что творится со мной. Я очень любил его, потому что с его появлением жизнь становилась чудом. И то, что я уцелел на войне, и после войны, и до сих пор живу, и кое-как здоров и могу видеть звезды, — все, все это было чудом. Плохо было то, что являлся он ко мне редко, все реже...

Больше всего мы размышляли о будущем — на фронте. Мы всячески рассматривали будущее. Мы рассуждали о том, какими храбрыми мы станем после войны, какие мы наведем порядки, как нам будет все нипочем, как мы придем в Германию. То, что мы сюда придем, мы точно знали, еще сидя под Пушкином, в мелких, каменно замороженных окопах. Часть, которую мы сменили, закопалась кое-как, так что местами ползать в окопе надо было на карачках, чтобы не подстрелили. А углубиться мы не могли — земля промерзла. Мы материли их крест в крест, штык не брал эту землю. В землянке ходить можно было, только согнувшись в три погибели. Несколько месяцев ходили лишь согнувшись. Мы разучились стоять в полный рост. Нам негде было выпрямиться, кроме как на нарах. Мы не знали, удастся ли отстоять Ленинград, мы знали лишь, что мы придем в Германию.

А про то, как мы будем дальше жить с немцами, не думали. И наверное, не только мы. Лишь сейчас человечество начинает учиться размышлять о будущем. Осваивать это искусство или науку — не знаю, как следует это называть. Наверное, все же науку. Прогнозы погоды — наука? История — наука? Будущее станут изучать, рассчитывать «с точностью до...». Институты футурологии. Лаборатории, где будущее разглядывают в телескопы и микроскопы, опускают его в пробирку, капают на него кислотой, нюхают. Нет, не годится, попробуем иначе. «Доктор футурологических наук, посмотрите мою руку, что меня ждет здесь, найду ли я...»

Снова тот же звук, уже рядом, я быстро обернулся на него и поймал — это соскальзывал талый снег с крыши. Пласты снега скользили по аспидно-черному шиферу, что-то пришептывая, вздыхая. Я подумал, что так же скользил снег по этим черепицам и двести, и триста лет назад, и тот же шелестящий звук будил гостей замка в такие же теплые мартовские ночи, и были те же звезды, и двор этот был тот, та же башня, тот же слоистый черный камень. Может быть, и я тот же, во всяком случае я сейчас видел и чувствовал так же, как тот, кто стоял здесь триста и четыреста лет назад. Чем я сейчас

отличался от него? Знаниями? Да, я знал не о восковых свечах, не о масляных лампах, а об электричестве, вместо меча я знал автомат, просто у меня были другие знания, а в остальном мы в эту минуту были схожи.

Две с лишним тысячи лет назад уже жил Архимед, а затем Платон, а тысячу лет назад жил Авиценна, а триста лет назад — Ньютон. Неподалеку от этого замка был Наумбургский собор и в нем статуи, сделанные неизвестным мастером в XIII веке. Имя мастера не сохранилось, а имя женщины, которую он лепил, сохранилось. Ее звали Ута. Она придерживает сползающий плащ, рука ее закрывает воротником часть лица знакомым жестом, как это делала одна женщина, которую я знал. Только плащ у нее был нейлоновый, и стояла она у стоянки такси. Мы прощались, и поэтому она казалась мне такой прекрасной, и такой осталась в памяти. И лицо Уты было той же красоты и нежности, которую может выразить либо поэзия, либо фотография, ничем другим, даже музыкой, не рассказать про ее лицо. И я, знающий про электротехнику, и про кибернетику, и про то, что Вселенная наша расширяется, я стоял в холодном соборе, замирая от восторга, чувствуя себя счастливым и ничтожным перед этой красотой, точно так же, как четыреста или пятьсот лет назад.

И картины Дюрера тоже были для меня гениальными, как и для его современников, и его иллюстрации к поэме Себастьяна Бранта «Корабль дураков», и сама поэма:

Душеспасительные книжки
Пекут у нас теперь в излишке,
Но, несмотря на их число,
Не уменьшилось в людях зло...

«Корабль дураков» все еще плывет, какая разница, паруса на нем или газовые турбины...

Прекрасная Ута сидела у прятки в яблочном зале замка, ожидая своего Эккехарда, а может, и не ожидая, просто смотрела на лесистые горы, и проезжие рыцари и паломники любовались ее удивительной красотой. В зале горел камин.

Туман скрывал маленькие городки, лежащие внизу, только острия соборов поднимались над молочным разливом тумана. Какой сейчас век? Как мне узнать, какой век? Это было не так-то просто, мы с этим замком словно заблудились в столетиях. Мы перемещались по оси времени вверх-вниз, скользили, как на лифте, по этажам истории — XV, XVII, XIX... и ничего не менялось ни в замке, ни в горах, и даже в маленьком, лежащем внизу Лойтенберге. И все время на меня смотрело прекрасное лицо Уты и улыбалась скуластая, озорная ее сестра Реглинда, но сердце мое сжималось от страха, я боялся, что кто-нибудь из моих ребят или я сам бабахнем по этому собору и Ута разлетится в пыль. Потому что тогда, в сорок четвертом, никакая Ута на меня бы не подействовала. Я видел, как они разрушали дворцы Пушкина, обстреливали Эрмитаж.

Школьные уроки

С трудом отворив тяжелые ворота, я вышел из замка. Светало. По каменной старой дороге я начал спускаться вниз, время от времени оглядываясь на замок, который становился все неприступнее, похожим на плохую декорацию. Я шел вдоль классического немецкого ручья, мимо классических гор, по которым ходили немецкие студенты, Шуберт, Тиль Уленшпигель, мейстерзингеры, мимо лесов, в которых невозможно заблудиться, где стоят кормушки для птиц, где в самых глухих местах висят стрелки с надписями и стоят беседки.

..... светлеет,
Недалеко до утра,
Громче шум ручьев и елей,
Просыпается гора.

Это из Гейне. И вообще весь этот пейзаж — и туман, и лес, и ели, и замок — все описано уже у Гейне, в его «Путевых картинах», так описано, что нет смысла что-либо еще писать на эту тему.

«Путевые картины» мне кажутся идеалом прозы — в них свобода, о которой всегда мечтаешь, — свобода от сюжета, от хронологии, от географии. Эта проза свободней, чем стихи. О чем она? В том-то и секрет ее, что она ускользает от подобного вопроса. Обо всем, но не пресловутый поток сознания, а скорее поток жизни, поэзии, размышлений, фантазии; поступки и воспоминания, описания и исповедь.

Если бы я сумел написать такую свободную прозу — не втиснутую ни в какие рамки сюжета, и композиции, и темы, но в том-то и беда моя, и не только моя, что мы всегда слишком хорошо знаем, заранее знаем, о чем мы пишем.

Гейне открылся мне, как это ни странно, на школьных уроках немецкого языка. Обычно школьный немецкий прочно отвращает от языка; и без того немецкий, с его путаницей глаголов — они сплетаются в немыслимый клубок, — с его кошмарной грамматикой, внушает ужас любому здоровому человеку. Но у Марии Генриховны был свой метод: она заставляла нас учить стихи. Когда я читал стихи, язык преображался, в нем появлялась музыка, я не искал ударений, слова выговаривались сами. Больше всего мы любили слушать, как читала Мария Генриховна. Рыхлая старушка с маленьким красным, переходящим в лиловое носиком, она менялась, читая Гейне. Мудрая добрая улыбка выявляла из ее морщин ту, молоденькую девушку... Это бывает редко, чаще встречаются лица молодых, по которым можно представить, какими они станут в старости.

Мария Генриховна была первым немцем, которого я знал. А следующим был пленный унтер. Шофер. Мы взяли его в конце июля сорок первого года. Меня позвали, чтобы я помог переводить. Он был молодой, высокий, белокурый, из-под расстегнутого мундира у него выглядывала белоснежная рубашка, сапоги у него сверкали, и раструбы кожаных перчаток торчали из-под ремня. Мы были с ним одноклассники. Он стоял передо мной, расставив ноги, чуть покачиваясь, глядя куда-то поверх наших голов, на верхушки деревьев. Я стал спрашивать его, он медленно, сощурился, опустил взгляд на меня,

усмехнулся и оглядел меня сверху донизу так, что мне стало стыдно — я почувствовал свои обмотки, драные ботинки БУ с веревочными шнурками, мою грязную гимнастерку, а главное, мои бутылки с горючей жидкостью, и старую винтовку, и гранаты РГ — чепуховые гранаты, от которых не было никакого толку, мой брезентовый подсумок, а проще — торбу с патронами. Я до сих пор помню возникшее под его взглядом ощущение тяжести этой торбы и своей неуклюжести, каким я был несолдатом и каким он был солдатом.

Да, любому была видна разница, он был солдат, а мы ополченцы в неумело свернутых скатках, мы все выглядели какой-то толпой.

Это был июль, шел первый месяц войны. Мы еще не успели как следует прийти в себя, ненависть наша еще была смутной, невыношенной. Я разглядывал этого парня скорее с любопытством, чем со злобой. И когда я начал складывать по-немецки фразу, я сразу вспомнил свой класс, Вадима, который всегда подсказывал мне, Марию Генриховну.

Он был шофер, то есть рабочий класс, пролетарий. Я немедленно сказал ему хорошо выученную по-немецки фразу: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Со всех сторон мне подсказывали про социализм, классовую солидарность, ребята по слогам втолковывали немцу: Маркс, Энгельс, Тельман, Клара Цеткин, Либкнехт, даже Бетховена называли. От этих имен мы смягчились и были готовы к прощению, к братанию. Мы недавно видели сцены братания в звуковом фильме «Снайпер». Согласно фильму и учебникам обществоведения, и нынешний немец, наверное, должен бы покраснеть, опустить свои светлые ресницы и сказать с чувством примерно следующее: «Буржуазия, то есть гитлеровская клика, направила меня на моих братьев по классу. Надо повернуть штык, то есть автомат, против собственных эксплуататоров» — что-то в этом роде.

Нас этому учили. Мы верили, что пролетариат Германии не станет воевать со Страной Советов. Мы честно пытались пробудить классовое сознание этого первого нашего немца.

Но он не опускал своих светлых ресниц и не краснел, он недоуменно похлопал своими светлыми ресницами и наконец, поняв, о чем идет речь, рассмеялся и сказал:

- Вы будете уничтожены.
- То есть как это?
- Все. Все, кто не подчинится.

На него закричали. Кто-то сунул ему под нос кукиш. Но он и глазом не повел.

- Таков приказ фюрера, — сказал он.

Он нисколько не испугался, он смотрел на нас без интереса, как на покойников. Потом он замолчал, вынул сигареты, закурил и, когда я стал задавать ему еще какие-то вопросы, молча выпустил дым мне в лицо.

Я тогда еще не курил, я закашлялся, он засмеялся, может быть, со стороны это и было смешно, так же как смешны были наши слова к нему.

Очень хотелось ударить его. Мы все были заводские, и по воскресеньям где-нибудь за Красненьким или в Шереметьевском парке у нас бывали драки, тут же все стояли, и никто не мог его ударить. Мы еще на что-то надеялись. Может быть, мы плохие агитаторы, не нашли путь к его сердцу. А может быть, он социально темный, одураченный нацистской пропагандой. Главным нашим чувством в те дни было чувство обиды, оскорбления. Мы не соединяли немцев с фашистами и с теми солдатами, которые вторглись в нашу страну.

Разная война

А через полгода я лежал под Пушкином и смотрел в оптику за немецким дотом, утром оттуда выходили солдаты, и я надеялся подстрелить хотя бы одного-двух, прежде чем меня засекут. Единственное тогда, что мы могли, — это охотиться, терпеливо ждать, пока в ложбине покажется сизая шинель.

Убей его! Нужно было неподвижно лежать целый день, лишь с вечерней темнотой я мог уползти к своим. Весь день, коченея и обмораживаясь, я прятался в снежной траншее ради того, чтобы убить немца. Где была тогда прекрасная Ута?

Мы шли по Марсову полю с Клеммом Кристенсом и его приятелем. Я познакомился с Клеммом в Мельбурне, а теперь он приехал в Ленинград. На Марсовом поле росла картошка, то есть сейчас там росли цветы, а я рассказываю им про картошку. Как в Летнем саду росла картошка. А вокруг Медного всадника — капуста. Тогда, летом сорок второго года, повсюду в Ленинграде, в парках, в скверах, росли картошка, лук и капуста. Австралийцы ахали, качали головами, и тогда приятель Кристенса сказал:

— Не понимаю, почему вы не сдались, зачем было обречь жителей на голодную смерть? Столько людей погибло. И город разрушили. Какой в этом смысл?

Я впервые слышал такое. Наверное, слишком явно перекосилось мое лицо, потому что приятель Кристенса отступил. Клемм крепко взял меня под руку.

— Он не воевал, — сказал Клемм.

Его приятель был смущен, простодушие его было вполне искренне, он недоумевал, с чего это я так рассвирепел. И даже Клемм, человек умный, тоже не все понимал, и я подумал, что оттуда, из Австралии, им до сих пор трудно постигнуть дух нашей войны с немцами. Им не объяснить, что уже к октябрю сорок первого года мы понимали, что если немцы возьмут Ленинград, то город будет уничтожен. И все жители будут уничтожены. Тогда мы еще не знали приказа Гитлера о разрушении Ленинграда, от города не должно было остаться ни одного дома — поле, покрытое щебнем и золой, которое зарастет лесом. Приказ штаба фюрера от 7 октября 1941 года, подписанный Йодлем: капитуляции Ленинграда не принимать, беженцев из города гнать обратно огнем, бомбардировками и артиллерийским обстрелом сровнять город с землей.

Документ этот нам не был известен, но мы уже чувствовали, что такое фашизм.

А беженцев из города не было.

Наша дивизия отступала, оставляя деревни, названия их не отмечены в сводках Информбюро — Танина Гора, Самокражи, Уторгошь. И справа и слева заливало немецкой солдатчиной — Кингисепп, Луга, Псков. А в газетных сводках появлялись города моего детства — Новгород, Старая Русса, а между ними были тоже мои деревни и полустанки — Кневицы, Замошье. Помню, как я вздрогнул, услышав по радио: Лычково, — значит, и оно тоже. Ничего не оставалось. Никакой России, моей России, которую я знал, в которой я жил. Только Ленинград, один Ленинград, и еще Москва, где я был несколько раз. И вокруг Ленинграда уже не было ни Петергофа, ни Гатчины, ни Павловска.

Ленинград был мой дом, и дальше я никуда не хотел уходить, даже если бы мог, — вот в чем дело, приятель Клемма.

Австралийцы, с которыми я встречался в Австралии, — славные ребята. Там в каждом городе есть военные музеи и мемориалы. Красивые торжественные здания, очень хорошо сделанные, с памятниками, с именами погибших солдат, с приспущенными знаменами. Такое впечатление, что Австралия весьма воинственная держава, как будто история ее полна войн.

Белл Дэвидсон воевал в эту войну, кажется с японцами. Мы сидели с ним у Алана Маршалла и толковали о войне.

Белл Дэвидсон сказал:

— Война — скучное занятие. Нигде мне не было так скучно, как на войне. Мы дошли от безделья и скуки.

Я удивлялся. Может, то была другая война?

Если бы Дэвидсон понимал по-русски, я бы просто выматюгался. Бывают случаи, когда самое милое дело — выругаться.

— Нет, нам не было скучно, — терпеливо сказал я, — видите ли, дорогой Белл, мы воевали с фашистами, и на своей земле. Они заняли наши города, нашу землю.

Прошло каких-то двадцать лет после войны, и приходилось рассказывать про такие вещи.

Алан Маршалл, тот выругался. Алан совсем не воевал, но зато он был в Советском Союзе и в Германии, и для него понятие «скучная война» звучало кощунством.

Зачем спустя двадцать лет где-то в Австралии мы, писатели, — ни один из нас не пишет о войне, — говорили об этой старой войне, спорили, ссорились? Я не хотел о ней вспоминать, меня куда больше интересовала Австралия, интересовал Белл Дэвидсон — превосходный писатель и наш друг, один из любимых моих писателей Алан Маршалл, его дом, хозяйки его дома — две яростно добрые женщины, — сестры Алана, его сад, поразительная судьба Алана, детские рисунки, развешанные в его кабинете, да мало ли что. А в Пакистане на кой черт мне нужны были разговоры о немцах, о гитлеровцах, в этом таинственном для меня городе Карачи, где по улицам между роскошными машинами бредут верблюды, запряженные в телегу, где мчатся авторикши с колясками, разукрашенными мишурой, стеклярусом, как некогда наши карусели. В зеленом саду отеля бесшумно скользили стройные сарацинки в белых и розовых сари, официанты несли большие блюда — бхуджи и медные кувшины — лота, так звучно называли их. Мне хотелось узнать о кастах, о нищих, о Упанишадах, о борьбе с чумой. Вместо этого мы говорили о войне с Германией.

Я не начинал этого разговора, я избегал его, но всякий раз он возникал сам по себе.

Однажды мне показалось, что этих разговоров скопилось слишком много, лучший способ отделаться от них — написать что-либо, например очерк. Но почему-то очерк не получился. После войны я четыре раза приезжал в ГДР и всякий раз, возвращаясь, хотел написать о своей поездке. Не путевые картины, а о том, как бывший солдат приехал в Германию. Не бог весть как оригинально, и чем дальше, тем более избитой становилась эта тема. Я начинал и бросал где-то на половине. А казалось бы, чего проще — советский солдат среди

тех, кто стрелял в него и в кого стрелял он и промахнулся. Встречи промахнувшихся.

Мне было бы легче, если б я мог считать приятеля Клемма Кристенса сукиным сыном. И если б я мог в чем-то заподозрить Белла Дэвидсона. И того редактора газеты в Карачи, который на приеме стал доказывать, что мы не имеем права запрещать фашистскую литературу у себя. Если мы свободная страна, чего мы боимся издать «Майн кампф» Гитлера и всякие записки фашистов?

Они знали про нашу войну главным образом из книг Александра Верта, которые переведены на многие языки. Я читал Верта, это честные книги, он провел все годы войны у нас, английским корреспондентом, он знает многое из того, что я, например, не знал, но он и не знает многое из того, что мы все знали, вернее — чувствовали. Верт хорошо поработал, и книги его хорошо работают. Но неужели мы сами не могли написать о своей войне? Историю ее — не академическую многотомную, которую пишут военные специалисты и историки. А историю душевной нашей жизни в годы войны — как мы жили, как мы воевали, что думали, что чувствовали, как менялись мы и наши чувства. Наше чувство к Родине, наше понимание ответственности за судьбу мира, как менялось наше отношение к немцам. Ведь оно было разным в первый месяц, потом осенью, потом зимой сорок первого, и другим после Сталинграда, и другим после Курска. И когда мы вошли в Германию.

В 1966 году одна знакомая двадцатилетняя девушка, случайно прочитав военные статьи Эренбурга, была возмущена — как так можно писать о немцах:

«Немцы не люди... отныне слово „немец“ для нас самое страшное проклятие... Нельзя стерпеть немцев. Нельзя стерпеть этих олухов с рыбьими глазами, которые презрительно фыркают на все русское...»

— Как не стыдно!

— Кому не стыдно?

— Как ему не стыдно! Как не стыдно перед немцами. Так обзывать народ, нацию.

Она говорила это в 1966 году. А Эренбург писал в 1942 году, в августе, когда немцы шли на Сталинград, наступали на Северном Кавказе. Я помню, как нужны нам были статьи Эренбурга, ненависть была нашим подспорьем, а иначе чем было еще выстоять. Мы не могли позволить себе роскошь разделить немцев на фашистов и просто мобилизованных солдат, шинели на них были одинаковые и автоматы. Это потом, в сорок четвертом, сорок пятом, стали подправлять, корректировать, разъяснять, и то мы не очень-то хотели вникать. А тогда было так. Были стихи Симонова «Убей его!» и стихи Суркова, статьи Толстого, Шолохова, Гроссмана — никогда литература так не действовала на меня ни до, ни после. Самые великие произведения классиков не помогли мне так, как эти не бог весть какие стихи и очерки. Сейчас это могут еще подтвердить бывшие солдаты и солдатки, с годами это смогут объяснить лишь литературоведы.

Ах, неужели сегодня кому-то наши чувства могут показаться заблуждением? Да, представьте себе, дорогой папаша. Неужели эта девушка, толковая, искренняя, выслушав все, скажет:

— И все же так нельзя было...

У нас было много ошибок в ходе войны, больших и малых, генералы пишут воспоминания и пересматривают ход операций. Под Харьковом, под Берлином. Но есть вещи, которые не следует пересматривать. Бессмысленно. Ненависть не может выбирать выражения, быть предусмотрительной, дальновидной и политической.

Томас Манн пишет в одном из писем, что сделка с дьяволом, легенда о Фаусте, — легенда, типичная для немецкого народа; типично желание вступить в такую сделку, и тут не может идти речь об обмане: дьявол обманул — на то он и дьявол. Фауст знал, что он имеет дело с рогатым, а не с ряженым, Фауст шел на все.

Ах, какой это был прекрасный, чистый лес. На повороте дороги между старыми елями открылся румяный Лойтенберг, весь сразу, с его площадью, где блестел тощий фонтан, с узенькими улочками, кузницей, старым-престарым разрисованным домом семнадцатого века, знаменитым тем, что он единственный спасся от старого-престарого пожара; с прекрасными его кондитерскими и одиннадцатью его пивными, которые мне предстояло обойти. Больше всего меня восхищало, что на две с половиной тысячи жителей есть одиннадцать пивных. Может быть, в одной из них я найду его... Ровный слой пены лежал на пиве, живописней и аккуратней, чем снег на рыжей листве дубов. Я спускался с горы легкий, и если бы у меня не было памяти, я был бы сейчас полностью счастлив. Иногда я досажую оттого, что забываю свои ощущения, чьи-то слова и даже целые события из своей драгоценной жизни. Больше же частью память мешает мне, многого я не хочу помнить, воспоминания мешают видеть мне вещи такими, какие они есть. Тени, которые отбрасывают вещи, стали слишком длинные. Память надо чистить, как ящики письменного стола. Вместо того чтобы, подпрыгивая и напевая, спускаясь вниз, любясь этим ухоженным, воински одновозрастным лесом, я вдруг остановился и стал вспоминать другой лес, совсем непохожий польский лес, там, где была ставка Гитлера — «Волчье логово».

Кнопка

Бункера были взорваны и за двадцать лет заросли березняками и лозой. Подальше был старый лес, мрачноватый, глухой, с густым подлеском, таким, наверное, он был и во времена рейха — маскировал главную ставку.

Когда советские войска вступили в Восточную Пруссию и стали приближаться к Чернику, тогда ставка была взорвана.

Чудовищные нагромождения серых железобетонных глыб — вот что осталось от главной ставки тысячелетнего рейха, от всей его ставки. Обломки взорванных сооружений, обломки с трех-, пятиэтажные дома, это всего лишь обломки, силой взрыва их раскидало, нашвыряло, вывернуло из земли, создав пейзаж фантастический, угрюмый, напоминающий следы какого-то мирового катаклизма, какой-то нездешней катастрофы. Никогда я не видел подобных развалин, развалины Берлина и Дрездена не производили такого впечатления. Там были остатки человеческих жилищ, каких-то зданий, оставались понятные каркасы с оконными проемами, с перекрытиями, лестничными маршами. Тут же ничего человекообразного — рваные массивы сплошного бетона, перекореженные прутья арматуры и опять треснувшие скалы железобетона. Вершины их уходили ввысь — отвесные стены, на которых видна геометрия швов и кое-где узкие проемы входов, ведущих вниз. Сами помещения ставки находились глубоко внизу, уходили в землю на несколько этажей, может на пять, может на шесть, сейчас это неизвестно. Это был целый подземный город, сложная система бункеров, с лифтами, кабинетами, залами заседаний, кухнями, спальнями — бункер Геринга, бункер Гитлера, бункер штаба, бункер Кейтеля, еще чьи-то бункеры. До сих пор с историей главной ставки связано множество легенд, тайн. Имеющиеся сведения скудны и часто противоречивы. Судя по некоторым данным, проектные работы начались чуть ли не с 1934 года, а в 1936-м здесь «Организация Тодт» приступила к строительству. Знаменитые «работники Фрица Тодта», «команды Тодта», строители Атлантического вала. Нам рассказали, что проектировали сооружения ставки итальянские инженеры, они же создали рецепт этого, особой прочности, бетона, рецепт, до сих пор неизвестный. Итальянцев наградили и отправили самолетом в Рим, но в Альпах самолет разбился, и ни одного из тех, кто проектировал и первоначально руководил строительством, в живых не осталось. Все как в худших детективах. Озера,

окружающие ставку, были использованы для системы затопления. В случае необходимости взрыв должен был уничтожить входы в бункеры и затопить нижние этажи всех без исключения сооружений. Это и было сделано. Пока попытки как-то проникнуть в бункеры, спуститься вниз не увенчались успехом. Ни с помощью аквалангистов, ни подрывников, ни саперов. Самое для меня примечательное было не в этом. А заключалось оно в том, что, значит, уже в тридцатых годах, пусть в конце тридцатых, ставка располагалась с расчетом на Восток, то есть на войну с Польшей и СССР:

Тейяр де Шарден пишет по поводу эволюции: «Ничто в мире не может вдруг объявиться в конце, после ряда совершаемых эволюцией переходов, если оно незаметно не присутствовало в начале».

Еще в генах фашизма была запрограммирована война с нами. Это существовало в том наборе хромосом, из которого развивался фашизм. Предопределено заранее его природой.

И тут я услышал факт, пожалуй, еще более знаменательный. Историк, который показывал нам место, где было совершено покушение на Гитлера 21 июля 1944 года, — как Гитлер вышел из своего бункера и прошел в летний домик, как фон Штауффенберг пронес свой портфель с миной, — вдруг случайно обмолвился про дежурного офицера и пульт. Оказывается, с самого начала, с момента постройки «Волчьего логова», существовали дистанционный пульт и дежурный офицер, обязанный по приказу нажать кнопку, чтобы взорвать ставку. Представляете, с конца тридцатых годов он сидел у кнопки, этот офицер. Немецкие армии занимали Польшу, Чехословакию, Европу, перешли советскую границу, заняли Украину, подошли к Москве, а офицер сидел у кнопки. Под всеми этими бункерами, под всеми помещениями штабов, под планом «Барбаросса», под Герингом, Кейтелем, Гиммлером, Гитлером была заложена взрывчатка. И они знали, что есть кнопка и перед ней дежурный офицер. Снаряды падали на Невском, дымили печи Освенцима, Гитлер прогуливался

под Винницей, в Крыму проектировался новый курорт для воинов рейха, а дежурство офицера у кнопки не прекращалось.

Обычно изучают, исследуют психологию Фауста, его трагедию, психологию Вагнера, Маргариты, но редко кого занимает психология Мефистофеля.

Дежурный офицер дождался, он нажал свою кнопку, заряды сработали, и вот я брожу среди железобетонных скал — развалин тысячелетнего рейха. Он, этот рейх, был рассчитан на тысячу лет, и тем не менее была кнопка. Ген кнопки, ген страха, неуверенности тоже входил в набор хромосом. Впрочем, понятие гена было крамольным. Врожденные качества не признавались. Возможно, надеялись на «влияние среды».

Бетон растрескался, из трещин растут березки, кусты, за двадцать лет природа славно поработала, корни делают свое дело, лучший бетон «Тодткоманд» не может устоять перед вульгарной травой. Неподалеку от бункеров ресторанчик, сюда приезжают автобусы экскурсантов, велосипедисты парочками, посмотрев, потрогав, поахав, разбредаются и гуляют, лазают по развалинам, больше не вспоминая о прошлом.

Обстоятельства сложились так, что я приехал сюда прямо из Германии, из Бухенвальда. Наверное, поэтому меня так обрадовала эта польская парочка, гуляющая среди бункеров Гитлера и Гиммлера. Девушка в голубеньких шортах прыгала по-козьи через расщелины железобетонных хребтов, хохотала. Историк выгонял мальчишек из развалин. «Безобразие, — говорил он, — чем вы занимаетесь, это вам не уборная!» Конечно, он был прав, но я бы тоже с удовольствием помочился на ставку тысячелетнего рейха. Не мешало бы иметь такое местечко на нашей планете, кроме всех музеев типа Майданека, Бухенвальда и прочих, где люди могли бы не только проклинать фашизм, но и помочиться на него.

Борьба с фашизмом была, может быть, первой в истории человечества всемирной заботой — заботой, объединившей

народы обоих полушарий. С тех пор планета наша стала куда меньше и продолжает уменьшаться, и всемирных общих забот становится все больше.

Бруно Апитц поднялся на ступени памятника, начал произносить речь и заплакал. Он не хотел плакать, он готовился сказать какие-то очень важные слова, потому что стояли писатели из разных стран — Пабло Неруда, Сароян, Джанни Родари, Астуриас.

Триста, а может быть, четыреста писателей. Они впервые были в Бухенвальде. А Бруно Апитц был узником Бухенвальда. Он написал роман — «Голый среди волков». Ему ничего не надо было сочинять. Он сам прятал мальчика от капо. Иссеченное морщинами, сухое лицо Бруно Апитца мало чем отличалось от бронзовых лиц узников на памятнике.

Мы ехали из Веймара. Вдоль всей дороги цвели яблони. Никогда еще я не видел Германию такой нарядно-белой. Рядом со мной сидел американский писатель. Мы говорили с ним о книгах, которые нравились нам обоим. В автобусе были американские, английские и итальянские писатели. Они шутили и веселились, это были славные люди, и погода была отличная, и за окнами было красиво. У них было хорошее настроение потому, что они не представляли, что их ждет впереди. А я был в Бухенвальде пять лет назад. Когда по телевизору вечером показывают спортивные новости, какой-нибудь футбольный матч и я про результат уже слышал, его уже передали, то странно смотреть, как на трибунах кричат, комментатор нервничает, строит прогнозы, а ты сидишь, как Господь Бог, которому все известно, и смотришь на эту людскую суету.

Приехали в Бухенвальд, выгрузились из автобуса, и я наблюдал, как постепенно, толчками, менялись выражения лиц.

Как и пять лет назад, на пустом плацу лагеря было ветрено. Ходили группы экскурсантов, было много школьников. У печей, холодных печей, где лежала холодная зола, я встретил писателя Иржи Гаека. Он с силой приглаживал свои короткие волосы, такая у него привычка.

— Я все думаю, — сказал он мне. — Сплю и думаю, бедная моя голова. — Он, морщась, следил за школьниками. — Скажи, нужно ли это показывать детям?

Откуда я знал. Может, нужно. А как иначе внушить им ужас, и отвращение, и ненависть?

— А может, такая доза слишком велика? — сказал Иржи.

К нам подошли югославы. Они все воевали партизанами, они пережили всякое, и сейчас они вели себя как солдаты, спокойно, запоминаясь оглядывая лагерь.

— Мы тоже могли попасть сюда, — сказал кто-то из них.

Так и я тоже мог попасть в Бухенвальд. Это никогда мне и в голову не приходило. Мне стало жарко — вспомнился бой под Таниной Горой, когда наскочил на немцев, и потом — как мы шли из окружения.

За эти годы ничего не выросло на плацу. Голый, пустынный, может, его специально сохраняли таким. Но в Освенциме тоже почти ничего не росло, и под Пулковом, где мы сидели в окопах, там до сих пор плохо росли кусты. Слишком много металла там было в земле. Накануне отъезда я ходил по тем местам со своим комбатом. Мы разыскивали старые, заросшие землянки. Я сказал, что еду в Германию. Комбат пожал плечами.

— Я бы не мог с ними... — сказал он. — Я все понимаю, но я не могу...

Вечером мы праздновали День Победы, то был совсем особенный праздник двадцатилетия Победы, после 1945 года еще не было такого. На набережной молодежь качала ветеранов. Все были хмельные, а пьяных не было, солдаты надели ордена, и на солдат смотрели с восхищением, так же как двадцать лет назад. Я снова чувствовал себя победителем, а главное, я опять был солдатом. И я узнавал солдат среди этих постаревших мужчин в пиджаках и пальто. Именно солдат, мне не нужны были интенданты, и журналисты, и прочие вполне заслуженные деятели. Солдат можно было узнать по орденам Славы, по гвардейским значкам, иногда по ранениям и еще по тому солдатскому, что остается до конца дней. В первые

годы после войны это было проще — мы донашивали фронтовые шинели, мы еще носили нашивки за ранения.

Мы вспоминали, как год назад, Девятого мая, в ресторане к нам подошел седой человек со стаканом вина.

— Солдаты? — спросил он. — Вы меня, конечно, извините, но такой день. Стал я сегодня надевать ордена, дочь говорит: папа, зачем ты это делаешь, это не модно, теперь не принято. И я снял. И вы тоже, я вижу, сидите без орденов. Не надели? А чего нам стыдиться? За кого мы стыдимся? Вы меня, конечно, извините. — Он отошел, не чокнувшись.

А через год восьмого мая я поехал в магазин Военторга купить новые ленточки к своим орденам. На Невском стояла длинная очередь. Продвигалась она медленно. У прилавка мужчины писали на бумажках списки медалей и орденов. Перечни городов России и столиц Европы.

Через несколько дней я уезжал в ГДР, и на душе у меня была путаница.

По каменным ступеням мы спускались с горы Бухенвальда на Аллею Наций. В каменных чашах горел огонь. Черный дым стлался над гранитными обелисками. Олесь Гончар и я несли венок. Делегации всех стран растянулись в длинную процессию. Каждая делегация возлагала венок к обелиску своей страны, в память соотечественников — жертв фашизма. Мы шли мимо камней с надписями: Венгрия, Голландия, Польша, Франция, Чехословакия. Тут была почти вся Европа. Одна за другой из общей колонны отделялись делегации. Смоляное факельное пламя плескалось на холодном ветру. Горький копотный дым напоминал о печах Освенцима. Мы положили венок на каменную плиту. Я подумал о моем школьном друге — Вадиме. Он пропал без вести в первые месяцы войны. Я подумал о нем мельком, потому что я не люблю думать о нем как о мертвом. До сих пор Вадим не может стать мертвецом.

Мимо прошли австралийские писатели — они несли цветы. Они не знали, куда положить их. Австралия не имела

на Аллее своего обелиска. Шли чехи, румыны, итальянцы, австрийцы, американцы, канадцы, японцы... Здесь были писатели многих стран, многие из них сидели в тюрьмах, книги их запрещали, сжигали, были писатели, знающие фашистов по фильмам, — о чем они думали, что вспоминали они в эти минуты?

Первая история про венок. Снаружи здание отеля не имело окон. Стены представляли собой сплошной орнамент, сквозное каменное кружево. Отель возвышался огромный и легкий. «Удачное сочетание современного стиля с национальными традициями» — так писали в путеводителе. Отель был одним из тех, которые изображают на буклетах, а на карте городских достопримечательностей помечают кружком с цифрой. Его называли «американский» отель. Нищих сюда не подпускали. Они кружили у нашего отеля. Я уже знал их в лицо. Кроме них, у нашего подъезда постоянно вертелись менялы, сутенеры, липкие молодчики, которые предлагали опиум, мальчиков, адреса игорных домов.

У американского отеля было пусто. К длинному подъезду подкатывали длинные машины. Навстречу выходили швейцары. Их было всего два, не больше, они брали багаж и исчезали.

Здания без окон всегда таинственны. Кто знал, что через несколько часов нам придется побывать внутри. В случайности и была прелесть нашей здешней жизни. И в эту страну мы попали случайно. Судьба одарила нас приключением, чистым приключением — редчайшей вещью в наше время — жестких программ и точных расписаний. Я впервые видел Восток. У меня не было никаких заданий, целей, и я не пытался ничего выбрать, ни во что не вмешивался, стараясь не помешать неожиданностям. С утра мы бродили по базарам. Мастера в крохотных, ярко освещенных лавочках ткали шелка, чеканили серебряные блюда. На низких скамеечках сидели женщины, перед ними разворачивали рулоны огненных шелков, золотое шитье. Глаза женщин сверкали в прорезях

чадры. Невеста протягивала руку с алыми ногтями. Продавец делал неуловимое движение, и тугой браслет плотно охватывал тонкое запястье. Дешевенький транзистор наигрывал хали-гали. Старинные медные кувшины дребезжали. По тротуарам ползали прокаженные. Дымились жаровни уличных кондитеров. У ограды дворца стояла кровать, на ней лежал больной старик, его осматривал знахарь, мы перешагивали через спящих, они лежали на тротуарах, целые семьи жили на улицах, с ребятишками, с кострами домашних очагов. По мостовой мчались длинные блестящие «мерседесы», они останавливались перед красным огнем светофора рядом с верблюдом, запряженным в телегу. Мы жевали бетель и сплевывали красную слюну. Дымя и бренча, шли по рельсам дизельные трамваи. Город поражал запахами, яркостью, фантастическими сочетаниями.

Контрасты были слишком обнажены. Нищету не прятали, роскошь не маскировалась. Это был Восток, безнадежно для меня непонятный, иной мир. Недоступный моим социальным страстям и познаниям. Здесь действовала другая система измерения, я не знал ее и мог лишь наблюдать, без обобщений и выводов. Окружающее смотрелось как видовой фильм, отличный фильм, объемный, цветной, панорамный фильм о загадочной стране.

Медленно двигаться сквозь этот плотный желтый зной, смотреть и записывать все, что попадалось на глаза. Больше я ничего не мог и не хотел. Тщательно и точно описывать краски, запахи, выражения лиц, собственные чувства, так, как это умел делать Бунин. Десятки страниц можно было заполнить описанием базаров, уличной толпы, нищих, мечетей с минаретами, оборудованными громкоговорителями. Писать про это было бы интересно и, наверное, читать тоже. Потому что интерес писателя всегда передается. Там были бы одни факты и еще впечатления. Только материал, все остальное пусть домысливает читатель.

Под вечер к нам пришел мистер Д. Мы сидели у меня в номере и болтали. Мистер Д. курил тонкую сигару. Гибкий стебель дыма тянулся к вентилятору. И сам мистер Д. был как этот стебель, с ловкостью фокусника он уклонялся от какой-либо политики, экономики, статистики, истории. Стоило коснуться чего-либо серьезного — и он сворачивал на шутку, из всего нашего разговора нельзя было запомнить ни слова. Единственное, что я запомнил, это его улыбку. Улыбка мистера Д. не имела никакого отношения к разговору, она занималась своим делом — она изображала радость по поводу нашего приезда, демонстрировала гостеприимство, устанавливала отношения коллег, особые отношения писательской братии — еретиков, скептиков, бунтовщиков, понимающих друг друга в любой стране.

Когда мы вышли на улицу, никто из нищих и этих липких молодчиков не подошел к нам. А между тем я бы не отличил мистера Д. от европейца. В темном дакроновом костюме, змейка-галстук, смуглый, с блестящими крылышками пробора он вполне походил на итальянца, грека, испанца. И тем не менее впервые мы свободно прошли к стоянке машин, и все наши знакомые старухи, калеки, слепая раскрашенная девица и шагу не сделали в нашу сторону. Непонятно, как удалось это мистеру Д., он не позволил себе ни одного предупреждающего жеста, ни одного взгляда, он разговаривал с нами и улыбался.

Сперва мы поехали с ним в клуб, а оттуда — в американский отель. Внутри отеля было прохладно. Свежий кондиционированный воздух продувал все это огромное здание. Мы прошли в бар, заказали виски. Мы бросали в стаканы лед, подливали содовую, и мистер Д., улыбаясь, увлеченно говорил ни о чем. Он и сам ни о чем не расспрашивал, ни разу он не спросил о нашей стране, о нас, — казалось, его ничто не интересует. Обольстительная улыбка его без устали порхала меж нами. Мне вдруг захотелось поймать ее, спрятать,

чтобы увидеть его самого. Может, подействовало виски, но я плюнул на все правила этикета. «Нет, вы мне ответьте», — резко сказал я. В конце концов, я должен был что-то узнать про эту страну. Или хотя бы про мистера Д. Какие-то его симпатии, антипатии, что-то подлинное, ну в чем-то, не знаю — дети, женщины, поэзия, американцы, пьянство, — все, что угодно, так чтобы вспыхнули его ласково-скользкие глаза, чтобы стукнуть по столу, разругаться или хлопнуть друг друга по рукам, обняться.

Казалось, я загнал его в угол, но в последнюю минуту он выскользнул. Он лениво играл со мной, оставляя все более любезные улыбки, — не человек, а само олицетворение радушия и дружбы, которой не существовало. Всякий раз я словно проскакивал по касательной к миру его интересов. Чем дальше, тем сильнее я ощущал свою непричастность к происходящему. Как будто я и впрямь был всего лишь зрителем, и меня окружал стереоэкран, и мистер Д. двигался на экране, а я сидел в зале, а мог и не сидеть, неизвестно вообще, существовал я или же меня не было.

— Восток есть Восток, — со злостью сказал я.

Мистер Д. учтиво засмеялся.

— Вам надо поехать в Лахор, — сказал он. — Там вы увидите настоящий Восток.

И он стал расписывать Лахор, соблазняя нас примерно так же, как мы соблазняем наших иностранных гостей стариной Новгорода или красотами Ленинграда. Я сказал об этом, и тут вдруг мистер Д. спросил, не из Ленинграда ли я.

Впервые он задал мне вопрос.

— Я был там, — сказал он и перестал улыбаться. Без улыбки он выглядел усталым.

— Вам понра... — машинально начал я и запнулся. В последний момент я успел тормознуть. Меня остановило его лицо. Я не подозревал, что у него может быть такое лицо — хмурое, подсушенное лицо моторикши. «О да, — ответил бы

он, — мне понравился Ленинград», и я бы спросил его про Эрмитаж и про набережные, и он восторгался бы и хвалил и потом предложил выпить за Ленинград и исчез бы за своей улыбкой.

Но я удержался. Мистер Д. ждал. Что-то подсказало мне не торопиться. Мы молча допили виски. Мистер Д. пригласил осмотреть отель.

В холле, у фонтана, прохлаждались жилистые англичанки. Было много разных кафе, ресторанчиков, играла музыка, бродили пьяные американцы. Мы поднялись в лифте, обитом тисненой красной кожей, на самый верх, в ресторан «Луна». Там горели ароматные свечи, посетители сидели на подушках, молоденькие официанты кланялись мистеру Д. Мы вышли на балкон, в душную ночь. Внизу горел, переливался цветными огнями город. По-прежнему шел какой-то незначащий разговор, но мистер Д. стал рассеян, что-то беспокоило его. А я как ни в чем не бывало любовался ночной панорамой. Темнота скрыла лачуги, навесы базаров, крытые ржавой жестью уличные мастерские, нищету, лохмотья, грязь, груды отбросов, оставив лишь огни фонарей, свет окон, извивы реклам, подсветку дворцов; в этой лживой тьме все огни выглядели прекрасными: и тусклое пламя уличных жаровен, и ночники бездомных поселенцев, и фары моторикш, и неоны казино. Этим городом можно было восхищаться только ночью, мистер Д. удачно выбрал момент.

Он ответил мне вежливо-безразличным смешком, я ни о чем не спрашивал, но он ждал, я ощутил напряжение вдруг возникшего поединка. Теперь я существовал для него. В чем тут дело, я еще не понимал. Темнота скрывала его лицо.

— Эти официанты, они студенты нашего университета. Прирабатывают, — сказал он.

— Да? — вежливо удивился я.

Мы помолчали.

— Ваш город для меня тоже загадка, — неожиданно сказал он. — Хотя я немало изъездил.

В Ленинграде на него наибольшее впечатление произвело Пискаревское кладбище, где лежат жертвы блокады. Свыше шестисот тысяч ленинградцев, погибших от голода и обстрелов, дневник школьницы, выставленный там, фотографии заснеженного города, девятьсот дней блокады — как мог город перенести подобное, какие силы помогли ему выстоять? Разумеется, мистер Д. и до поездки читал и знал о героизме ленинградцев, но когда он увидел своими глазами, он перестал понимать. Вернувшись домой, он ничего не сумел объяснить друзьям.

— У вас ведь не было религии, которая делала людей фанатиками? — спрашивал он. — Фанатики, они способны на любые страдания, мы на Востоке это хорошо знаем. Горожан не собирали на молитвы, не укрепляли их дух никакими религиозными обрядами. Как же они могли продержаться?

Ночь помогала ему, да и мне: если б он заметил мою усмешку, мы снова бы стали чужеземцами, живущими в разных, бесконечно далеких мирах. Да и вправе ли я был усмехаться? Сейчас меня занимало не столько его незнание, сколько то, что имелось, оказывается, в этой жизни событие, соединяющее нас. Наверное, было не только Пискаревское кладбище, но именно оно помогло нам.

— Шестьсот тысяч, ведь это целый народ, — сказал мистер Д. — Древние Афины имели население всего двести пятьдесят тысяч. Для меня ленинградцы — это государство, добровольно избравшее смерть.

— Почему? — сказал я. — Мы не были самоубийцами. Я попробовал ему объяснить, как это было.

— Представляю себе, как вы должны ненавидеть немцев, — сказал он.

Мне хотелось ответить ему совершенно честно, и я понял, как это сложно.

«Нельзя отождествлять немцев с фашистами. Мы ненавидим фашизм. Народ не может быть плохим, немецкий народ дал миру...» — и далее в том же роде. Но тут же я раньше его

задавал вопрос: «Но кто же, если не народ, отвечает за фашизм?» И тогда начинался старый, безвыходный спор.

Ненавижу я до сих пор?

Не могу простить?

Не могу забыть?

«Простим, но не забудем» — так написано было на одном из французских памятников.

Я задумался и пропустил начало его рассказа. Мистер Д. рассказывал, как с какой-то делегацией он приехал на Пискаревское кладбище. Ему выпала честь возложить венок к подножию памятника. В группе были немцы, один из них обратился к мистеру Д. с просьбой дать им венок, они хотят возложить венок на этом кладбище.

— Не сразу я решился на это, — рассказывал мистер Д. — Но я подумал, что немцам это нужнее, чем нам. Я передал венок немцу. Вы знаете, там надо пройти всю главную аллею до памятника. Немец, очевидно, понимал, что это будет нелегкий путь. Мы шли мимо насыпей — могил. Мы смотрели на могилы и на него. Он сам подставил себя под наши мысли. Это был мужественный человек.

— Не знаю, — сказал я.

— Войдите в его положение, как еще он мог выразить свое отношение?

— Позвольте, я расскажу вам другую историю.

Вторая история. Услыхал я ее в Берлине, от моего друга Отто Г. Он тоже в составе какой-то немецкой делегации приехал в Ленинград, и они тоже посетили Пискаревское кладбище и взяли с собой цветы. Все происходило так же, с одной лишь разницей — Отто Г. не пошел на кладбище. Он остался у входа ждать своих спутников. А между тем он имел, наверное, большее право, чем все остальные, идти по этому кладбищу и возложить цветы у памятника. Он старый коммунист, в годы фашизма сидел в концлагере, он один из тельмановской гвардии. Почему он не пошел? Не мог, сказал он мне. Не мог, хотя, казалось бы, лично его совесть была чиста. Он не мог — вы это понимаете?

— Да, — подумав, сказал мистер Д. — Может, следует предпочесть вашего немца.

Я смотрел на ночной город и ничего не видел.

— Черт возьми, мы все испортили, — довольно грубо сказал я, но мистер Д. не обиделся.

Не было смысла дальше стоять здесь. Мы спустились в бар и еще выпили. Кажется, мистер Д. больше не улыбался, но теперь это меня не занимало. Меня вообще больше ничего не занимало ни в этом отеле, ни в этом городе. Я отказался поехать в Лахор. Войдя к себе в номер, я включил вентилятор и включил эр-кондишен. Постель была влажной. Я лежал и думал о том, что вряд ли мне когда-либо еще выпадет случай увидеть Лахор, его сказочные мавзолеи, караван-сарай, пагоды, дворец Великого Могола, через некоторое время я, наверное, пожалею и не смогу объяснить, почему я отказался туда поехать.

И мистер Д. тоже больше не настаивал, не уговаривал. Когда мы прощались, он вдруг похлопал меня по плечу, я похлопал его, это была хорошая минута, одна из тех минут, когда люди становятся совершенно близкими.

...*И третья.* Утром Девятого мая я поехал на Пискаревское кладбище. Мне хотелось побродить там в одиночестве. Никак я не ожидал, что там окажется столько народу. Непрерывно подъезжали переполненные автобусы, такси, инвалидные коляски. Огромное поле было полно людей. Происходило какое-то стихийное, никем не организованное шествие. Собственно, и шествия-то не было. Присмотревшись, я заметил, что люди шли к памятнику, шли, поглядывая на низкие широкие могильные насыпи, еще не обсохшие от растаявшего снега, доходили до памятника, возвращались и уезжали. Каждый был сам по себе, и не было никакого ритуала, ни березок, какие завивают на Троицу, ни кутьи, и цветов еще в городе не было, редко у кого в руках были сниклые букетики подснежников. Дул холодный ветер, и многие торопились,

нельзя понять, что заставило их добираться сюда со всех концов города. Инвалиды, пожилые люди, старушки, но много и молодежи. Некоторые клали на пожухлую старую траву могил конфеты. Почему конфеты — может, потому, что не было цветов?

Я почувствовал, что мне тоже хочется как-то выразить свои чувства погибшим. Может быть, в этом было что-то языческое — не знаю. Я пошарил в карманах, ничего у меня не оказалось, кроме пачки сигарет, я положил ее на дерновый откос, у каменной плиты «1942». Сигареты «Кронштадтские», неважные сигареты, но я вспомнил, что мы курили тогда, зимой сорок второго.

И эта карамель, если б они могли иметь эту карамель... Меня окликнули. Я с трудом узнал Максимова. Мы служили с ним несколько месяцев в одной дивизии. Он шел вместе с женой, она держала срезанную герань. Мы свернули в сторону, к одной из крайних насыпей. Они положили цветок, и мы постояли все трое. Максимов сказал, что в блокаду у них умерла девочка, единственный их ребенок, жена повезла ее на санках хоронить и не довезла, свалилась. Жену подобрали, отправили в стационар, а где похоронили девочку, они не знают, может быть, на Пискаревском. С тех пор они приходят сюда, они выбрали себе эту насыпь, эту братскую могилу.

Спустя несколько месяцев в Доме дружбы был какой-то вечер встречи с зарубежными гостями. В фойе я увидел Максимова. Он беседовал с немцами; когда я подошел, он обрадовался, познакомил меня с ними — однополчанин — и подмигнул им добродушно, без всякого подвоха, он угощал их сигаретами, рассказывал про свой цех — он работал на «Скороходе», немцы показывали свои ботинки, а он свои, все смеялись, Максимов громче всех. Потом пошли в зал слушать концерт.

— Интересно, что делает с нами время, — сказал я, — глупее оно нас делает или мудрее — или всего-навсего делает другими?..

— Послушай, — сказал мне Максимов. — А чем они виноваты? Что ж нам, опять душить друг друга? — Он вытянул свои огромные руки, и я вспомнил, как он тащил застрявшую в грязи пушку.

В маленьком садовом домике Гёте у конторки стояла специальная подставка, обитая белой кожей, нечто вроде седла. Гёте писал стоя — очевидно, он уставал подолгу стоять и сделал себе это сооружение, он закидывал на него ногу и так, полусидя-полустоя, продолжал работать.

— Попробуйте, — предложил мне директор музея.

Я попробовал, получилось удобно. И конторка была мне по росту. Можно было начать писать. Например, «Фауста».

Вы снова здесь, изменчивые тени,
Меня тревожившие с давних пор,
Найдется ль наконец вам воплощенье...

И дальше, удивительные и странные строки:

Я слезы лью, и тает лед во мне,
Насущное отходит вдаль, а давность,
Приблизившись, приобретает явность.

Какое мне дело, что «Фауст» уже написан. Я бы начал его снова, теми же словами, просто переписывал бы, и мне казалось бы, что я тоже причастен к сочинению, это я сочинил, не полностью я, но и я тоже, это про меня, про мою давность, которая ожила, зашевелилась, тревожа меня.

За окном блестел зеленый сад. Тепло исходило от солнечного навощенного паркета.

Старые доски купальни

Человек, которого я искал, бомбил Ленинград. Рассказывали, что он командовал авиаполком или авиадивизией. Почему-то мне казалось, этого достаточно, чтобы я узнал его

сам, прежде чем нас познакомят. Встречу на улице и узнаю. Определю. Городишко-то был крохотный, игрушечный, вырванный из старых немецких сказок, из рекламных проспектов, за два часа его можно было обойти от окраинной кузницы до туристского пансионата. В таком городке трудно было не встретиться. К полудню многие прохожие уже приметились. Я мысленно проверял каждого встречного. Должна была остаться выправка кадрового военного, следы былой власти, положения, конечно, виноватость, раскаяние или затаенность. Какая-то печать «бывшего». Правда, я знал только наших бывших. Я привык узнавать их среди стариков, что заполняли скамеечки Михайловского сада. Старики сидели компаниями, листали газеты, играли в шашки, некоторые дремали на солнышке. Старики были разные, ухоженные и одинокие, крепкие и больные. Следы перенесенных инфарктов сквозили в их замедленных движениях. Инсультные руки с глянцевиной кожей сведенных пальцев, багровые лица, вздутые вены — в старости люди становятся куда более разными. Они как проявленные, закрепленные, высушенные снимки, где уже ничего нельзя подретушировать. Былые заслуги, стройки, обиды, увлечения, война, привычка стоять у станка или сидеть за столом — все было видно. Их биографии проступали неудержимо, как вечерние краски заката. Особенно меня занимали бывшие — бывшие шефы, зубры, эти брыластые львы, которых когда-то шепотом звали «наш», «сам», «хозяин». Что-то в них почти всегда оставалось — важность, осторожность, задержанность бессонных ночей, непроницаемость, покровительственная грубоватость. Они умели значительно молчать. Морщины их привычно складывались в жесткую недоверчивость. Другие же, наоборот, сделались говорливы, беспечны, лица их разгладились в неожиданной приветливости.

...Кузнец подковывал тяжелого немецкого першерона. Лошадь понятливо косилась на своего возчика, который сидел на скамеечке, попыхивая короткой трубкой. Мальчик вышел

из булочной с корзинкой, полной рогаликов, и зачарованно остановился перед наковальней. От рогаликов курился ароматный пар. Лошадь деликатно повела ноздрями. Кузнец что-то сказал, и мальчик и возчик засмеялись. Это была милая сценка, умилительная, и добрая, и приятно старинная, и было нехорошо с моей стороны, когда я вдруг подумал: а чем занимались этот кузнец и этот возчик во время войны? Я ничего не мог поделаться с собой — всякий раз, встречаясь с немцем старшего возраста, я мысленно спрашивал: а что он делал тогда, в те годы?

Кем он был тогда, этот лойтенбергский возчик, которому сейчас за пятьдесят? И этот хромой кузнец? Кто подстрелил ему ногу? И чей сын этот мальчик?

Яд этих вопросов отравлял меня. Какое мне дело до биографии отца этого мальчика! При чем тут мальчик? Он сам по себе. Мало ли что делал мой прадед. Понятия не имею, кем был мой прадед — может, бандит, палач. Где кончается прошлое — вчера? отец? дед?

После того митинга в Бухенвальде мы гуляли с Вернером фон Т. по Веймару. Вернер приехал из Западной Германии. Он читал нам свои стихи. Он скорее походил на боксера, чем на поэта, но стихи были интересные, веселые, он вскрикивал, присвистывал по-птичьи, круглая курносая физиономия его покраснелась. Ни с того ни с сего я вдруг спросил, кто был его отец. Еще не утихший смех плескался в глазах Вернера, когда он отчетливо перечислял: нацист, лейтенант СС-ваффен, погиб под Сталинградом.

Симпатичность его сразу исчезла, то есть для меня она исчезла, я увидел его арийскую белокурость, крепкий подбородок и этот неуместный смешок. Он почувствовал, как во мне все ошетинилось. Пересилив себя, я сказал, снимая возникшую неловкость, что, конечно, сын не отвечает за отца.

Он медленно повел головой:

— Нет, отвечает.

Он рассказал мне про группу «Искушение». Дети бывших нацистов, эсэсовцев создали в Западном Берлине такую группу, члены ее уезжали в Норвегию, Югославию, в страны, разрушенные, разоренные фашистами, и бесплатно год-полтора работали на стройках. Их было всего несколько сот — юношей и девушек, но они были, и они-то и считали себя настоящими детьми.

Я заставил себя подумать о том, что фашизм и немцы — вещи разные. Фашизм нельзя считать чисто немецким явлением. Фашизм — явление не национальное, а социальное. Мысль давно известная, об этом писали у нас еще во время войны, но понадобились годы, чтобы я сам подумал об этом, и затем годы, наверное, еще нужны, чтобы она стала моим убеждением.

Есть люди, для которых она вовсе не так уж очевидна. Люди и местности. Мне вспомнились всякие местечки в Польше и в Чехословакии и город моего детства Старая Русса. Такой же старинный, маленький городок, с такими же тихими улочками, прохожими, знающими друг друга. С той лишь разницей, что почти ничего не осталось в нем от довоенного города. Все было сожжено и разрушено, кажется, лишь четыре дома уцелело. Я приехал туда через двадцать лет после войны, мы ходили со старым моим знакомцем — учителем истории, и он показывал мне то, чего уже не было. Место, где стоял гостинный двор, пропахший сыромятной кожей, рыбой, мелкими яблоками «чулановкой». Порубленный немцами курортный парк, разрушенные церкви. Из моего детства сохранилась лишь купальня на соленом озере. Темно-зеленая вода и скрипучие старые доски. Вновь отстроенный город казался чужим. Мы шли по улице Володарского, учитель рассказывал, как здесь вдоль улицы немцы повесили семьдесят человек.

— А ты защищаешь немцев, — сказал он. — Нигде фашизм не принимал такие чудовищные формы, как в Германии. Думаешь, это случайно? Вспомни прусскую военщину восемнадцатого века.

Я не мог вспомнить прусскую военщину восемнадцатого века, и тогда он мне цитировал кого-то: «Отсутствие нравственных идеалов делает их готовыми орудиями для исполнения любых приказаний. Они никогда не размышляют, насколько справедливы эти приказания». Так писали о пруссаках в 1756 году.

— Откуда ты все это поднабрал? — спрашивал я.

— Из немецких книг. Это же писали сами немцы про свою немецкую реакцию.

— Подожди, при чем здесь немецкий характер и немецкий народ? Если писать историю нашей, русской реакции, тоже можно подобрать будь здоров.

— Ничего подобного, поверь, что нигде, например, не было такого произвола и невежества цензуры, как в Германии. Я специально занимался...

Мы вошли в щербатый, разоренный курортный парк. Сохранился большой фонтан. Он шумел под стеклянным колпаком. Стояли незнакомые светлые корпуса санатория. По аллеям гуляли больные, на головах у них были сложенные из газет шапочки. Плеск воды покрывал голоса, пахло железом, солью, сероводородом, поначалу неприятно, а потом что-то очнулось во мне, и по этому запаху, как по следу, я стал искать свое детство.

— Подожди, — сказал я учителю, — не показывай мне дороги, я сам найду.

— Хорошо... Так вот, еще в начале девятнадцатого века прусская цензура, представляешь, превратила Моора в шиллеровских «Разбойниках» в дядю...

Я знал, что надо миновать площадку и музыкальную раковину, где раньше играл духовой оркестр и на скамьях сидели горожане. В бостоновых костюмах с широкими галстуками и значками Осоавиахима и МОПРа. Еще были значки ОДН — общества «Долой неграмотность», ОДР — общества «Друг радио» и старомодные значки — «Смычки города с деревней».

Ни раковины, ни оркестра, ни площадки — ничего не осталось. Пересохлые колеи ободранной земли цеплялись за ноги. Я свернул направо, где-то там должны были быть купальни на тех зеленых озерах.

— ...Если в романе цензор встречал выражение: «У нее была белая пышная грудь», то он заменял: «Спереди она была хорошо сложена». Представляешь? Были запрещены сочинения лучших историков Европы — Тьера, Макиавелли, Гиббона. Даже у латинских и греческих классиков вычеркивали все, где упоминалась республика...

Путаясь, но самую малость, я нашел купальни. Направо — женская, налево — мужская, так и осталось. Я сразу узнал огороженный квадрат купальни, с трех сторон навесы, а с четвертой надводный забор, выходящий в озеро. На солнечной стороне мы разделись и сели на пружинистые теплые доски настила, спустив ноги в воду. Пятки мои ощущали скользкую мохнатость свай, крепкая соленость воды впивалась в кожу. Прошрое просыпалось толчками. Я узнал эти доски. И дранку навеса — тот же памятный с детства особый темно-серый блеск, какой бывает у старого серебра. Где-то тут мы взбирались на крышу навеса и ныряли в соседнюю женскую купальню под вскрики девчонок. Под водой выплывали в озеро...

— ...Немецкий народ был разделен на шпионов и обвиняемых. То же происходило у них и в литературе. Положение в литературе, оно весьма показательно. Вся литература разделялась на надзирателей и надзираемых. Сыщики, доносчики. Сикофанты. Честный журналист, писатель нигде не мог выступить против сикофантов. Даже защищаться от их клеветы не мог...

Я закрыл глаза, и мне вспомнилось, как отец учил меня плавать в этой купальне. Как мы сидели с ним здесь последний раз, когда мне было уже семнадцать лет. Белое сухонькое тело отца, коричневая загорелая шея, до кистей коричневые руки, точно в перчатках. При его лесничьей работе курортная

эта купальня была для него роскошью, да и Старая Русса после лесных бараков, смолокурен, делянок с бело-желтыми штабелями баланса, какого-то пропса, лесосплавных барж с плотами, гонками, — этот город был для него праздником, и он нахваливал мне эту купальню, плотную зеленую воду, на которой можно было лежать, красоту и знаменитость здешних мест. Я слушал его вполуха, так же как сейчас учителя. Мне было скучно и непонятно, чего тут хорошего. Восторги отца казались мне наивными.

И вот сейчас отца моего давно уже нет в живых, а я сижу здесь и так же щурюсь на этот хвойный блеск воды, теперь уже зная цену неторопливости и этих пристальных минут. Мне показалось, что отец чувствовал или знал, что когда-нибудь это случится со мной, я приеду сюда. Как будто он забросил то наше прощальное купание в мое будущее и теперь я нашел... Кто знает, может, и он думал тогда о своем отце, о том, как он не понимал его, о своей жестокой отчужденности. Мне представилась цепь, уходящая в прошлое и в будущее, дети, которые возвращаются к отцам слишком поздно, так происходит всегда, и бесполезно предупреждать детей, и торопить их, и требовать, я тоже был в этой цепи и сыном, и отцом, и прадедом, может, и меня коснется это позднее постижение моего правнука, так же как и я сейчас коснулся своего деда, которого я никогда не видал.

— ...А реакция подкупала, развращала, кастрировала лучшие таланты Германии. И они, представляешь, чтобы не оставаться узниками, становились тюремщиками, побрякивали своими ключами. Кого объявляли лучшими патриотами — тех, кто заботился лишь о себе, о своей семье, тех, кто переставал быть гражданином...

Я подумал о Вернере фон Т. и его отце, о нарушенной связи поколений. И еще полнее ощутил счастье этих минут. Пусть позднюю, но близость своего отца... Мое понимание его. Что-то сокровенное передавалось, доходило ко мне от этих теплых старых досок... Мне стало жаль Вернера. Дело,

за которое погиб его отец, оказалось позорным, преступным, нить была порвана, позади у Вернера была пустота, он не был звеном, он был обрывок.

— ...Нигде «благонамеренные» не были в таком почете, как в Германии...

— Подожди, но было и другое, — сказал я. — Была революция, Либкнехт, Тельман, юнгштурм, Рот Фронт, немецкая компартия. Разве мы не гордились немецкими коммунистами? Мы пели песни Эйслера, ты помнишь Эрнста Буша? Всегда оставалась Германия Томаса Манна и Брехта, и сегодня...

— Ну да, конечно, две Германии, так удобно и просто. А вот не получается. — Он постучал себя по заросшей седым волосом груди. — Внутри у меня никак не разделить. Логически — пожалуйста, я себе доказывал: фашисты виноваты, немцы ни при чем. Поскольку фашизм уничтожен, то все претензии списаны. Ан нет, что-то такое осталось. Я по своей учительской привычке и так и этак выяснял — что именно. Почему осталось. Думаю, ведь не зря осталось. По-моему, полезно полное отпущение грехов? Должны немцы чувствовать себя виноватыми? Да, да, народ. Некоторые ведь как считают — народ ни в чем не может быть виноват, народ, мол, всегда прав. Извините. Виноваты, перед другими народами виноваты. И пусть отвечают. Чтобы впредь не допускали. Другие народы должны тоже знать — есть ответственность. Существует. Вот именно ответственность каждого народа перед всеми остальными народами...

Но тут мне пришли на ум мои разговоры с молодыми немцами о том, до каких пор нужно напоминать о фашизме, сколько можно виноватить, от постоянных попреков появляется чувство неполноценности, оно мешает душевному оздоровлению народа, я вспомнил их споры и рассуждения о гарантиях и опасностях.

— Ага, им не нравится, — обрадовался учитель. — Страдают, и очень прекрасно. Страдание — исцеляющее чувство.

Да, да, через страдание к добру... — Он вдруг удивленно замолчал, хлопнул себя по голому колену. — Надо же, Федор Михайлович Достоевский это же самое писал, и где, здесь же, в Старой Руссе, может, вот здесь, в купальне, сидел и про это думал...

Меня заразило это удивление. Прошло почти сто лет. То же солнце, такие же поросшие зеленью ступеньки под той же водой, и опять те же мысли и чувства способны мучить людей. И как сто лет назад, мы спорим о том же... Прекрасно, что дух человеческий не привязан ко времени, он сильнее времени, он больше, чем время, земля вращается, а мы можем обгонять ее и возвращаться назад. Не важно, что время движется только в одну сторону и нет обратного пути от смерти к рождению.

...А Лойтенберг стоял чистенький, целехонький, в красных колпаках черепичных крыш, аккуратный старичок со всеми своими ратушами, кирками, фонтанчиками, особнячками... Учитель имел право на злость, но имел ли он право на несправедливость?

Шестая по счету пивная, куда я зашел, помещалась под ратушей. Благодушный пивной хмель укачивал меня. Шестой стакан пива появился передо мной, на этот раз пиво было черное. В каждой пивной было свое фирменное пиво, свои завсегдатаи, у них были свои столики, вновь входящий стучал по столу в знак общего приветствия, хозяин приносил ему, не спрашивая, стакан его пива — подогретого, холодного, пива с водкой, пива с вином.

Я сел у окна, чтобы видеть площадь. Играла старенькая радиола. На стенах висели потемнелые гравюры и выведенные готическим шрифтом изречения местных трактирщиков.

Землю нашу украшают женщины и вино.
Мужчины знают это давно.
Поэтому они не хотят умирать,
Чтобы радости эти не покидать.

— Вы ждете кого-то? — любезно спросил кельнер. — Автобус из Зальфельда придет через полчаса.

Голова его была протерта до лысины, когда-то прямоугольные плечи обвисли. Линялые глаза смотрели на меня, словно узнавая. А почему бы нет. Может, он был среди тех пленных, что прокладывали в Ленинграде кабели. Почти год после войны я работал с ними. А может, на фронте, под Кёнигсбергом. Или в госпитале. Может, он приезжал в Ленинград после войны. Может, в Прибалтике, когда мы окружили егерский батальон. В Берлине в пятьдесят шестом году... Поразительно, сколько у нас оказалось возможностей встретиться. Неизвестные нам нити связывали наши судьбы. Мир был перемешан, взболтан. Все мы уже когда-то встречались. Чьи глаза смотрели на меня из подвала, когда танки, грохоча, ползли по затихшим немецким городкам, а мы стояли в открытых люках?..

Однорукий толстяк за соседним столиком приветливо подмигнул мне.

Не торопись, когда пьешь, —
Это тебе не игра.
Кто пьет обдуманно,
Тот выпьет много.

Мудрость веселых трактирщиков. Дубовые бочки с медными кранами. Поля с косыми шестами, обвитыми хмелем... Взболтать перед употреблением. Взболтали. А дальше?

— Здравствуйте! — по-русски уверенно.

Он застиг меня врасплох. Я поднялся, крепко держась за спинку стула. Пивная пошла в пике, воздух стал плотным. Не стоило спрашивать, как он нашел меня, и он ведь не стал бы спрашивать, если б я увидел его первый.

— Садитесь.

Ему было за пятьдесят, но он сохранил спортивную форму без лишнего жира, крепкий, приземистый, способный вполне постоять за себя. Я ощутил тяжесть своих кулаков и тяжесть

окружающих вещей — вес железного стула, пластмассовую пустоту столешницы, твердость его большой челюсти.

Он предпочитал говорить сам, не ожидая моих расспросов. Во-первых, он не был нацистом. Он был солдатом, профессиональный солдат. Кончив академию Генерального штаба, он начал летчиком. Первая его война была над Францией, затем Норвегия и затем небо России. А во-вторых, он любил, да, любил свою профессию летчика.

(Ах, ты любил, сука, — я ударил его в челюсть, прямой справа по всем правилам бокса, так что он полетел на мокрый кафель. Занес стул над головой. А ну давайте, подходите вы все...)

— Пожалуйста, еще пару пива, — сказал я.

— Вы курите? Прошу...

Он щелкнул зажигалкой. У него было хорошо управляемое лицо, привычное к тому, что за ним наблюдают, оценивают каждое движение.

В Прибалтике его впервые подбили. Он сумел кое-как посадить свою тяжелую машину. Они сняли пулемет и стали пробираться к своим. Приключения его напоминали наши военные очерки про отважных пилотов, подбитых за линией фронта. Как он вел свой экипаж через ночные леса, как отсиживался днем в придорожных кустах... Захваченная автомашина, на ней лихой проскок по шоссе... До чего же это было знакомо. Ведь и у меня были две недели в болотных лесах, когда мы выбирались к своим, и даже захваченная автомашина с мешками сахара. Мы ели сахар и чернику, мы перебегали в сумерках шоссе...

События располагались с мнимой симметричностью. Ось симметрии проткнула годы и легла между нами через этот столик, мы сидели друг против друга с одинаковыми стаканами черного пива.

В сентябре мы оставили Пушкин, а Макса Л. отправили из Прибалтики под Ленинград. Он отличился при бомбежке Таллина и Балтийского флота и получил эскадрилью. Его эскадрилья почти ежедневно бомбила Ленинград, бомбила

заводы, батареи, порт, мосты. Когда началась блокада, он бомбил водопроводную станцию.

Он рассказывал о порядке полетов, о нахождении цели, системе связи.

— Зенитная оборона у вас была слабая.

Как легко он укладывался в портрет, заготовленный мною. А может, наоборот — портрет мой сейчас подгонялся под него? Особенно профиль. Меньше всего изменяется профиль. Его профиль сохранял четкость прямых линий, можно было представить, как это эффектно выглядело в военном мундире четверть века назад, когда блестели кресты, ордена, нашивки молодого, преуспевающего, такого удачливого аса.

(Я вынул пистолет — все же ты попался, стервятник. Пристрелю я тебя без всякого суда, с наслаждением, во имя всех моих погибших ребят.)

— Мне кажется, что наши зенитчики не виноваты, — сказал я. — Они не могли организовать оборону на подходах, фронт был слишком близко к городу.

— Если бы вы имели локаторы, можно было подымать истребители заранее.

Было что-то странное в нашем спокойствии, как будто шел разбор учения. Пистолет — да, когда-то я бы не торопясь навел пистолет. Я отчетливо помнил свою фронтовую мечту...

На Ленинградском фронте Макс Л. стал командиром полка, летом сорок второго его перебросили на курское направление, и вскоре он получил дивизию. По-видимому, он действительно был боевым командиром, он добился разрешения лично участвовать в боевых вылетах. Фактически всю войну он провел в воздухе, вплоть до того дня, когда самолет его взорвался. Причина взрыва была непонятна, зенитки не стреляли, взрыв раздался неожиданно, беспричинно, машина стала разваливаться. Ему удалось выпрыгнуть, он спустился на парашюте и попал в плен.

Рассказ его, отработанный почти до обыденности, был тем не менее лишен малейших оправданий. За столько лет

Макс Л. мог бы создать систему самозащиты, найти какие-то смягчения. Но он не оправдывал себя. И не было в нем бравады. И не было осуждения. Да, существовал Макс Л., летчик, командир, имеющий столько-то боевых вылетов, активный участник бомбежек и разрушений Ленинграда, и был другой Макс Л., который, не отрекаясь от себя, работал сейчас в ГДР и тоже активно и добросовестно делал свое дело.

Какие отношения имелись между этими двумя людьми — он не рассказывал. Он добровольно выбрал из двух Германий — демократическую, сам по себе этот выбор означал отказ от прошлого. Но что значит отказ — забвение? пересмотр? Можно ли забыть свое прошлое, когда оно составляет большую часть жизни? С чем же он остался? Да и как можно отказаться от своего прошлого, как это происходит — запретить его, никогда самому не возвращаться к нему, отнести его к кому-то другому? И что взамен? Значит, то был не я, то был другой. Но «я», оно же складывается из памяти. Индивидуальность — это память. Как же ладить с тем, бывшим Максом Л.?

Но ведь и со мной творилось сейчас нечто подобное. Оказывается, давно уже я слушал Макса Л., спокойно прихлебывая пиво, улыбался, вспоминая, как мы стреляли бронебойными в их самолеты. Он пролетал над нашими окопами, и мы с Сеней стреляли по всем правилам, с упреждениями и поправками, мечтая попасть в какое-то незащищенное местечко, чтобы был черный дым, кувыркание, взрыв... Сейчас мы посмеивались вместе с Максом Л. над такой вероятностью, ничтожной и несбыточной, как чудо...

Никакой ненависти я не чувствовал к этому человеку. Куда же она девалась — выношенная, вмерзлая навечно? Проклятия, которые мы слали вслед его самолетам. Где-то там в городе были сирены, мы их не слышали, к нам доходили лишь звуки разрывов, мерзлая земля слабо вздрагивала в наших окопах.

Почему я так благодушно спокоен? Ну как я мог так измениться, ведь и сейчас разумом я отчетливо представлял себе распластанный под крылом самолета Макса Л. мой город, занесенные снегом кварталы, расчетливое кружение его над целью.

К тому времени немцы оставили попытки взять город штурмом, решено было выморить его голодом, затем разрушить, перемолоть в щебенку, превратить в пустырь, заваленный кирпичом, камнем. Развалины набережных, искореженные узоры решеток, обломки кариатид, руины мостов. Пустые острова, которым предписано снова зарости лесом. «По низким, топким берегам чернеют избы здесь и там...» Не позволено никаких изб, лишь топкие, низкие берега. А мы? А нам запланировано умереть с голода. Судьба наша была решена в ставке фюрера, штабные офицеры подсчитали сроки, составили графики, выделили необходимое количество бомб, взрывчатки, горючего, орденов.

Под утро я пришел к Феде Сазонову в боевое охранение. Рассветало, мы выползли с ним по снежному ходу поближе к немцам. На нас были белые халаты, белые каски, единственная наша снайперская винтовка тоже была выкрашена белым. Мы были как гипсовые статуи в парках. Через час я увидел в оптику, как вышел из блиндажа немец, потянулся, в руках у него блеснул термос. Я хотел передвинуть винтовку Сазонову, он прошипел: стреляй сам. Я навел перекрестие на термос, нажал крючок. И тотчас там раздался крик, немец завертелся...

Хрипела старенькая радиолоа. Эрнст Буш пел песни Ганса Эйслера. На площади школьники выпрыгивали из автобуса. В руках у них сверкали длинные цветные открытки с видами Зальфельдских пещер, и лица их еще пылали отсветами подземных сталактитовых замков.

Я сбился, потерял ход своих мыслей. Я заблудился среди воспоминаний. Зачем мне понадобился тот немец с термосом?.. И вообще... Я смотрел на Макса Л. и не мог понять,

для чего я так долго, упорно разыскивал его. История моих поисков сама по себе увлекала, как детектив. Отличный жанр, читаешь, и нельзя оторваться до самого конца. Главное было найти. Больше всего мы ненавидели летчиков, бомбивших город. Мне казалось, что, если я его найду... А между прочим, нашел-то меня он. Я ему тоже зачем-то был нужен. Как в большинстве детективов, конец разочаровывал. Мы сидели почти скучая, занятый каждый собой, я выжимал из себя вопросы: а потом, а дальше? А дальше в лагере он вскоре вступил в Союз свободной Германии, многие немецкие офицеры и генералы осуждали его — еще бы, потомственный военный, внук знаменитого немецкого генерала, он в какой-то мере символизировал кастовое офицерство. Вернувшись в Берлин, он долго разыскивал свою семью, жену, детей, они скитались на западе по разрушенной Германии...

Во мне не было злорадства, наоборот, я заметил, что я сочувствую злоключениям его семьи, я понимаю их, потому что сам пережил похожее после войны. Но ведь сравнивать было кощунством, им-то всем так и надо было, они-то заслужили, и не того еще заслужили, и, зная это, я все же жалел и сочувствовал. И тут же поражался своему превращению.

— А совсем недавно прочел я воспоминания одного из ваших партизан. — Макс Л. предвкушающее улыбнулся. — Они действовали как раз на курском направлении, они подкладывали мины на аэродромах. Оказывается, они и в мой самолет запрятали мину с часовым механизмом. — Он беззлобно, даже как-то торжествующе рассмеялся. — Выяснилось!

И я тоже засмеялся, радуясь за наших партизан. Мы смеялись с ним одинаково, с чем-то сходными чувствами. Я имел право так смеяться, но он-то...

— Знаете что, — он помолчал, — я собираюсь, то есть я хотел бы, — он опять помолчал, — приехать в Ленинград.

Мне бы возмутиться, вскочить: да как вы смеете, да как у вас совести хватает, будь вы просто рядовой солдат, но вы же

командовали, приказывали, других заставляли. Вы что ж полагаете — мы совсем беспамятные? Наглость-то какова, в Ленинград...

Вместо этого я ободряюще подхватил:

— А что, правильно, приезжайте, — и готов был доказывать, что ему необходимо приехать, и убеждать его, наперекор себе и совершенно искренне, именно потому что наперекор.

Он все еще сомневался.

— Я хотел не один... Я думал сына взять. Младшего. — Подавленная тревога была в его голосе.

— Обязательно берите.

Ось симметрии хрустнула и надломилась: я поменял нас местами. Если б они победили, смогли бы мы сидеть так и стал бы он меня приглашать в Берлин? Нет, ничего не получилось. И я не стал бы ему рассказывать о себе, ни я и никто из моих ребят, даже если б мы остались в живых.

Поздно вечером по витой песчаной дороге я поднимался к замку. Пивной дух кружил над моей головой, вовлекая в свое вращение, но я не поддавался. Огни замка подмигивали сверху, мешаясь среди созвездий. Князья, герцоги, оруженосцы обгоняли меня, но я не обижался, я знал их феодальную ограниченность, и вся их историческая обреченность была мне досконально известна. Государства и цивилизации сменялись по причинам, установленным в школьных учебниках, а вот мое личное прошлое не поддавалось никаким законам. Ни черта я не мог разобраться в нем. Все некогда, все откладываешь на потом, на когда-нибудь, хотя потом ты уже не тот, пройдет еще несколько лет, и этот вечер, пивная под ратушей, встреча с Максом Л. и мой разговор, мое поведение станут еще необъяснимей. Если бы выйти из времени. Выйти и постоять в сторонке.

Так я и сделал.

Оказалось проще простого. На замшелом камне сидел Фауст в черной судейской мантии, и Вагнер в роговых очках,

доцент Вагнер, радушный, милейший господин, готовый помочь мне, тем более что все так просто и легко выяснить.

— Зачем я его приглашал? — спросил я. — Что мне нужно? Простить его? А может, я хочу его возненавидеть.

— За что?

— Нет, ты скажи, имею я право ненавидеть его?

— Как человека, как личность — пожалуйста.

— Но почему ему не стыдно?

— Тебе нужно, чтобы он стал другим? Или тебе нужно, чтобы он все время каялся, страдал?

Вагнер растолковал мне:

— Чувство постоянной виноватости порождает, в свою очередь, неполноценность, а как известно, неполноценность народа и есть то, на чем настаивал фашизм, объявляя некоторые народы неполноценными. Таким образом, твой друг учитель невольно, я бы сказал — неосознанно, играет на руку...

— погоди, я не о том, я хочу о себе, я себя хочу понять, — сказал я. — Мне надо найти самого себя, я желаю знать, где я, а где время. Где и когда я заблуждался, что было истиной. Что было правильным в прошлом, а что нет.

— Мой друг, — сказал Фауст, — прошедшее постичь не так легко.

Его и смысл, и дух настолько не забыты —
Как в книге за семью печатями сокрыты.
То, что для нас на первый, беглый взгляд
Дух времени — увы! — не что иное,
Как отраженье века временное
В лице писателя: его лишь дух и склад...

— Это для меня слишком сложно, — сказал я, — выходит, я толком не могу узнать свое время.

— Все можно узнать, — сказал Вагнер. — Иначе бы я не мог получить свое ученое звание.

— погоди, — сказал я. — Ты придержишься текста.

— Хорошо. — Вагнер откинул руку.

А мир? А дух людей, их сердце?
Без сомнения.
Всяк хочет что-нибудь узнать на этот счет.

Фауст кивнул и сказал:

Да, но что значит знать?
Вот в чем все затрудненья!
Кто верным именем младенца наречет?..¹

Я ошеломленно повторил его последнюю фразу. Действительно, назовут ее Мотя, а она никакая не Мотя, она — Надежда.

— Да, — сказал я, с трудом собирая свои мысли, — пусть я не знаю истину, но что я могу, так это не скрывать своих чувств, ошибок, размышлений. Рассказать все, что происходило со мной, историю моих отношений... Я был такой и был другой. А как надо на самом деле — не знаю. Вот если бы вы видели ту девочку в Дрездене.

— Сейчас, — сказал Фауст.

И мы очутились в Дрездене, в том зале, куда я забрел случайно. Заброшенный, безлюдный зал, какие бывают в знаменитых галереях, зал без прославленных полотен, там, кажется, была выставлена современная живопись. На бархатном диванчике очень прямо сидела полная красивая женщина. Руки ее лежали на коленях, взгляд был устремлен к портрету на стене. У ног ее стояла новенькая синяя авиасумка с маркой голландской компании «KLM». Портрет изображал девочку — голодную, синюшную, с огромными испуганными глазами. Она очень прямо сидела на желтеньком стуле, на голове ее торчал нелепый, почти клоунский колпак, худенькие костлявые руки лежали на коленях. Я обернулся, и сходство портрета с женщиной на диванчике поразило меня. Какое-то движение света, поворот случайно выдали ее. «Портрет дочери. 1945 год» — написано было на латунной дощечке. Мимо шли посетители, обводя на ходу глазами развешенные картины,

¹ Перевод Н. Холодковского. (Примеч. ред.)

иногда задерживаясь у портрета девочки. Никто не догадывался, что это она, живая, сидит на бархатном диванчике. Разрушенный в одну ночь Дрезден, сплошные руины, зимние ночи в этих развалинах — какая жизнь разделяла портрет и эту женщину: смерть отца, эмиграция, чужбина. Спустя двадцать лет она, туристкой приехав на родину, зашла в галерею и увидела свой детский портрет.

— С чего ты взял, откуда тебе известно? — сказал Вагнер.

Я не слушал его. Я представлял: портрет попался ей на глаза случайно, она не сразу вспомнила, когда отец рисовал ее. Неужели это она? Она сидит, ища в памяти подробностей, ей слышны замечания проходящих, она вдруг понимает, что они говорят о ней, то есть об этой девочке, и после ее отъезда, изо дня в день, годами, кто-то в этом зале будет замедлять шаг, толкать спутника — посмотри на эту девочку, — они всегда будут заглядывать ей в глаза, где всегда будет война, страх, бомбежки, ужасная февральская ночь 1945 года в Дрездене.

Руины были расчищены, дворцы Цвингера восстановлены, светлые многоэтажные дома поднялись над Дрезденом... Отчего же грусть моя не проходит и образ этой женщины не дает мне покоя? Я же не виноват перед ней, несколько, наоборот, так почему же я ищу какие-то слова утешения или оправдания? Почему, черт возьми, мне, мне так тошно?.. Я-то при чем?

— Ты абсолютно ни при чем, — подтвердил Вагнер.

Фауст молчал. Надвинутая шляпа скрывала его лицо.

Нас было четверо

В начале осени Макс Л. приехал в Ленинград. Мы гуляли с ним по городу как старые знакомые. Под золотом шпилей кружились первые желтые листья. Вечерняя заря алела в конце Кировского проспекта. Когда-то улица так и называлась —

улицей Красных Зорь. Голубые минареты мечети вытянулись над серым камнем домов. Ленинград блистал во всей красе. Скупые его краски ожили, с моста открылся простор Невы, размах новых домов, отремонтированный чистый гранит набережных.

Мы пересекли пятнистые желтеющие сумерки Летнего сада с его белыми телами богинь и пошли дальше через мостики, мимо старых церквей и старых домов, где снимал квартиру Пушкин и где жил Маршак, где была моя школа, где жили Даргомыжский и Ира Галл, в которую мы все были влюблены. Любой дом здесь был для меня отмечен невидимыми мемориальными досками, легендами, датами, я знал все проходные дворы, магазинчики, трансформаторные будки. Я знал эти дома разрушенными, вернее, не эти, а те, какие стояли до войны, потом их развороченные, обнаженные внутренности. Восстановленные, заново отстроенные дома успели постареть, местами облупиться. Невозможно было представить, как выглядел город сразу после блокады. Макс Л. послушно смотрел на церковь, чистенькую, свежепокрашенную, куда в сорок третьем свозили трупы, на витрины, тогда заваленные мешками, — вздыхал, но я чувствовал: он не в силах вообразить себе все это. Мне почудилось даже, что он словно бы разочарован... Порой мне самому не хватало наглядности пережитого. Чтобы он мог увидеть развалины, оценить сделанное и понять, какой город он разрушал. Но я не хотел укорять его.

И не хотел ничего смягчать.

И не хотел, чтобы он чувствовал себя стесненно и виновато.

Не хотел прикидываться радушным, всепрощающим хозяином.

Мы шли по Суворовскому проспекту, широкому, чистому, весело веснушчатому от крапа палой листвы, и рядом шел я, среди сугробов. Горел разбитый госпиталь, из окон выкидывали матрасы, на них выбрасывали раненых, по проспекту девушки вели аэростат заграждения. Покачиваясь, он плыл,

окутанный сетями, девушки, отдыхая, висели на веревках, медленно перебирая ногами. Лица их в ранних сумерках были прозрачно-серые.

Сбоку у Макса Л. болтался фотоаппарат, а у меня противогазная сумка, и в ней сухари — мой паек, который я нес на Таврическую, в старую петербургскую квартиру с темной большой передней, уставленной высокими шкафами для гербариев, и с угловой комнаткой, где жила девушка, так похожая на прекрасную Уту.

Мы с Максом Л. шли по тротуару, но я-то, я шел по узкой тропке на мостовой, потому что панель была завалена оледенелыми кучами мусора. Навстречу мне женщина тащила сани. На них лежал человек, привязанный веревкой. Голова его ватно подрагивала. Так возили тогда трупы умерших от голода, зрелище было обычное. Я посторонился. Санки поравнялись со мной, я увидел сверкающую белую бороду и ярко-румяные щеки, немыслимые в том блокадном голоде. Глаза старичка радостно блестели из-под белых бровей. От фантастичности этого зрелища я почувствовал слабость.

— Что это?

Женщина остановилась, передохнула.

— Дед Мороз.

У нее не было сил улыбнуться. Где-то неподалеку устраивали елку для ребятишек, театральный мастер изготовил большого Деда Мороза, и она тащит его уже несколько часов. В это время взвыли сирены воздушной тревоги, захлопали зенитки, и сразу над нами все громче загудело темнеющее небо, зашарили прожекторы. Макс Л. летел бомбить водопроводную станцию, в квартале отсюда. Мы стали с женщиной и Дедом Морозом в ближнюю подворотню. Воздух завыл нарастающим воплем. Арка над нами пошатнулась. Посыпались стекла. Штукатурка упала на лицо Деду Морозу, и стеклянный глаз его звякнул и разбился.

— Вы промахнулись, — сказал я Макс Л. — Вы попали в Деда Мороза и в этот дом.

Новенький, блистающий цельными широкими окнами дом выглядел выше и стройнее, чем тот. С центральным отоплением, с лифтом. Только в подъезде не было цветных витражей с рыцарем. И на втором этаже ничего не осталось от той квартиры с гербариями. О ней никто и не помнил, кроме меня. Макс Л. сфотографировал этот дом.

— Как ее звали? — спросил он.

Я пожал плечами:

— Ута. Вы помните прекрасную Уту в Наумбургском соборе?

Макс Л. неопределенно кивнул.

— Мою мать убило в соборе, — сказал он. — Брухтвейнский собор, в Баварии. Вам не приходилось там бывать?

— Нет, — сказал я.

В клубе «Ленгорвода» шел фильм «Берегись автомобиля» с участием Смоктуновского. Сквозь кусты виднелись корпуса насосных, водоочистных и прочих сооружений. Я показал Макс Л. старую водонапорную башню, в которую он никак не мог попасть.

Где-то в Таврическом саду упал сбитый немецкий самолет, но где именно, я уже позабыл. На площадке пацаны гоняли мяч. Молодые мамы катили никелированные мальпосты, будущие мамы шептались на скамейках с будущими отцами. Макс Л. щелкал аппаратом.

— Та женщина погибла? — спросил он.

— Нет... Она сошла с ума.

Рядом с Максом Л. шел полковник-летчик в кожаной меховой куртке, под ней кресты за Францию, Норвегию, Ленинград и прочие заслуги. Впервые я увидел их совсем недавно, в лавочке, в Сан-Франциско. Полный комплект их лежал под стеклом, а на полках — генеральские фуражки, каски со свастикой, фашистские мундиры. Хозяин уговаривал нас купить — эти реликвии дорожают быстрее других.

Листья старых лип кружились над нами. Когда-то здесь стоял танцпавильон, и мы ходили с ней танцевать.

Лейтенант в полушубке, с махоркой в кармане, брезгливо разглядывал меня, нынешнего, гуляющего как ни в чем не бывало с нынешним Максом Л., обоих нас, в летних костюмчиках, в одинаковых нейлоновых рубашечках, этакие благообразные отцы семейств, любезный хозяин и его милый гость по линии «Интуриста».

...Жаль, что вы не увидите белых ночей, о, белые ночи — это чудо, у нас не бывает белых ночей, да, да, Достоевский, у вас увлекаются Достоевским, завтра фонтаны Петергофа работают, основал Петр, вода уже холодная, выпить пива, у вас мало пивных, пивная далеко, у вас много читают, обратите внимание — это Музей Суворова, русские церкви имеют прекрасную архитектуру, по воскресеньям все на лыжах, в метро читают, у нас нет зимы, у нас есть зима...

Полковник Макс Л. от этой болтовни хватался за пистолет; я, в полушубке, сжимал свой лейтенантский наган. Позор, предательство, измена открывались перед нами. Двое на двое, мы с нынешним Максом Л. против нас тогдашних. Тогдашние-то между собой смертельные враги. И нас они не признают. Я пытался образумить лейтенанта. Но я гордился им. Мы все трое ненавидели чванливого, тупого, надутого пивом и прусской спесью полковника-летчика. Каждый был против каждого. В этом четырехугольнике все перепуталось. Четырехугольник не был равносторонним, не был равноправным, черт знает, какой он получался перекошенный.

— Посмотрите отсюда на Таврический дворец.

Мне приятно было, что Макс Л. нравился Ленинград. Я хотел, чтобы он полюбил этот город, так же как я любил шумный веселый Лейпциг, и Веймар, и маленький Ильменау, затерянный в горах Тюрингии, с его студентами, рыночной площадью, домиком Гёте.

Я все еще не понимал, зачем Макс Л. так настойчиво выискивает следы войны. Чего он добивается? Воронки были давно засыпаны, пустыри застроены, надписи об обстреле закрашены, осталась лишь одна на Невском — и та воспроиз-

ведена заново. Блокада экспонировалась в музее. Макс Л. мог гулять вполне спокойно, не опасаясь напоминаний.

Что я мог ему еще показать? Кладбище? Одиноких женщин? Инвалидов? Война и блокада доживали скрыто, среди старух, оставшихся без детей. В наследственных болезнях.

И даже под землей...

До сих пор мне слышатся тревожные ночные звонки в диспетчерской. Аварийная машина мчалась к подстанции. Вылетел кабель. Его пробивало где-то под землей. Вскрывали асфальт, копали траншеи, разыскивая место пробоя. Обычно то была муфта, смонтированная еще в блокаду, после обстрелов, вставки, которыми латали поврежденные кабели. От бомб и снарядов, даже упавших поодаль, изоляция трескалась, рано или поздно эти кабели пробивались. Сквозь ничтожные волосяные трещины влага не спеша, годами ползла к жилам, и наконец разражался пробой. А то начинал оседать грунт бывших воронок. Земля тянула за собой кабели, муфты не выдерживали. Весной, когда почва оттаивала, аварии вспыхивали, подобно эпидемии. Тщетно мы пытались предусмотреть, предотвратить их. Следы блокады проступали неукоснительно. Для нас, кабельщиков, обстрел продолжался, разрывы неслышно раздавались под землей.

То же происходило и с людьми, с их артериями и сердечными мышцами. Что я мог показать Макс Л.? А именно эта бесследность войны его волновала. Как будто ему не хватало вещественных доказательств своей вины.

Он пробовал сам доискаться.

— Я знаю, что осталось. Недоверие. Вот даже вы, сознайтесь, вы не до конца верите мне?

Честно говоря, он застал меня врасплох.

— Вы разве что-нибудь чувствуете?

— Да, вы стараетесь обходить... Вы не даете волю... Вы умалчиваете... Вы щадите...

В чем-то он был прав. Верил ли я ему? Я вглядывался в себя, в самую глубь, в изначальность чувств, туда, где возникает приязнь или такая же внезапная и необъяснимая неприязнь.

Туда, где в смутных глубинах души решалось: это друг, а это просто знакомый. Грустное и нежное лицо Лотты Вассер появилось передо мной. Ее глуховатый, протяжный голос. Мюллер — похожий на развороченный муравейник, наши резкие, наотмашь, споры. Уж с ним-то я не стеснялся. А Хеди, смешливая, громкая, а ребята-биологи из Дрездена? А Лиза и ее муж и наши долгие прогулки по старому Берлину? А Лео? А Роберт?..

У меня и мысли не возникало — верю ли я им. Они не были для меня немцами. Просто друзья, которых я люблю. Такие же, как Реваз Маргиани, Кайсын Кулиев, Мустай Карим. Когда она появляется, эта самая национальность? В каких случаях?

С Анной Зегерс, с Эрнстом Бушем я мог говорить так откровенно, как не стал бы с иными моими московскими знакомыми. Однако именно через них я полюбил Германию — вот, пожалуй, в чем они были немцами. Через них я кое-что уразумел в трагедии немецкого народа. Через них, через Кёппена, Дитера Нолля. Фашизм мне был известен лишь снаружи, они же раскрывали его изнутри. Настоящий антифашизм куда серьезнее и труднее, чем просто ненависть к фашизму.

Но было и другое. Недаром Макс Л. что-то почувствовал. Была та парочка, немец со своей подружкой в Дубровнике.

Мы сидели в погребке, Женя читала свои стихи, и тогда этот парень включил транзистор. Включил не музыку, а какую-то немецкую передачу, специально, назло. Мы посмотрели на него, еще не понимая. Он закинул ногу на ногу и засмеялся. Женя замолчала.

— Читай, — сказали мы.

Немец усмехнулся и увеличил громкость. Радио орало в пустом погребке, лающий голос зазвучал вдруг как тогда, в сороковые. Он ликовал, этот парень, красивый, сочный, голубоглазый, со своей умело раскрашенной подружкой, похожей на Реглинду, ту, что стоит рядом с Утой.

Будь на их месте французы, русские, югославы, мы бы сочли это за обычное хулиганство. Поругались, выставили бы

их, но тут злость поднялась такая жгучая, непереносимая. Я почувствовал в этой выходке именно фашистское, ненавистное гитлеровское, особый умысел. Не знаю, был ли на самом деле умысел, но я воспринял как умысел, потому что передо мной был немец. И когда Иво с трудом вытащил нас из погребка и мы поднимались по узким ступенчатым улицам Дубровника, нами стали замечаться прежде всего немцы. Бодрые, краснощекие, сентиментальные западные старушки, толстозадые парни в шортах, писклявые девицы. Все в них вызывало неприязнь — их крикливость, самоуверенность, бесцеремонность. Они вели себя как хозяева, как будто ничего не было, как будто не мужья этих одуванчиков расстреливали здесь партизан и не их отцы, не их дяди, как будто они ни при чем. Как будто не их приятели, туристы из ФРГ, устроили пикник и отплясывали между могил, распевая свой шлягер.

...Удалить бы их из беломраморного Дубровника и повесить надпись: «Немцам въезд воспрещен». Но тут с крепостной стены открылось море, большое, синее. Голова моя охлаждалась.

«Господи, так ведь это же и есть расизм, — подумал я, — когда считаешь, что человек плох, потому что он немец. Какое я право имею? Оказывается, сидело во мне это самое, застряло, как осколок с войны. Парень тот — фашист, хулиган, подонок, кто угодно, но при чем тут немцы?» — твердил я себе.

— Терпеть их не могу, — сказала Женья. — Знаю, что нехорошо, гадко, и ничего не могу поделать.

Чем же мы лучше тогда каких-нибудь черносотенцев, американских расистов, думал я, так же нельзя себя распускать. И как могло то низменное, стыдное чувство быть таким сильным? И почему раскаянье не мучает меня, то есть разумом я понимаю, что нехорошо, что надо уничтожить это в себе, но ведь не мучаюсь, не страдаю.

Ох как это соблазнительно — возненавидеть другую нацию, особенно когда есть личные, такие уважительные

причины. Необязательно ненавидеть, можно презирать, брезгливо морщиться, можно не доверять, вежливо улыбаться, обходя щекотливые вопросы...

А девица того немца была похожа на Реглинду, младшую сестру Уты. И моя девушка была похожа на Уту. У меня не осталось ее фотографий, поэтому я купил в Наумбургском соборе фотографию Уты. Прекрасная Ута и ее младшая сестра Реглинда работы неизвестного мастера тринадцатого века.

Длинные руки Макса Л. помогали его скудному русскому языку, множество жестов, каждым пальцем отдельно, — ему необходимо было что-то ухватить, извлечь, отделить.

Улики... Он искал улики. Его обескураживало, что к ним отнеслись пренебрежительно. Суду не хватало улик. Странная пьеса разыгрывалась передо мной.

Мы сидели в переполненном зале. На сцене под деревянным распятием расположились присяжные и судья в парике. Подсудимый яростно запирался. Поначалу пьеса казалась похожей на другие пьесы и фильмы. Защитник доказывал, что подсудимый всего лишь солдат, который исполнял чужие приказания. Прокурор умело расправлялся с этой знаменитой формулой. Он искусно отделял солдата от командира, приказ от выбора: внутри приказа для командира всегда есть выбор. Свидетели читали документы, показывали фотографии. Непонятно, откуда взялись фотографии; судя по камзолам и шпагам, действие происходило в давние времена. Двенадцать присяжных походили на двенадцать наумбургских фигур, среди них были Ута, и ее супруг, маркграф Тюрингский Эккехард, и печальный Герман. Посредине сидел судья, узколицый, чем-то напоминающий Гёте.

Постепенно виновность подсудимого выяснялась. Преступление изобиловало подробностями столь гнусными, что кое-кто в зале не выдержал, уходил. Защитник был удручен. Подсудимый слушал речь прокурора с ужасом, так же как и весь зал. И когда судья предоставил ему последнее слово, он растерянно оглянулся, как будто речь шла о ком-то другом. Позади стояли только стражники.

— Значит, это был я, — сказал подсудимый.

С каким-то самозабвением он признался во всем, единственное, чем он оправдывался, это непониманием, он не понимал, что творил. Неподвижное костяное лицо судьи впервые дрогнуло, нарушая все правила, он спросил: понимает ли теперь подсудимый, как это было и почему он так делал? Подсудимый покачал головой: и теперь он не понимает. Все встали, суд удалился на совещание.

Прошел час, другой, суд не возвращался. Публика стала расходиться. Когда подсудимый поднял голову, в зале осталось совсем мало народу, и конвоиров уже не было. Пришел сторож и начал гасить свечи. Подсудимый спросил, где же суд. Сторож не знал. Тогда подсудимый вскочил, вышел из-за барьера, его не остановили, он двинулся к комнате, куда удалился суд, постучал, никто не ответил. Он распахнул дверь. Комната была пуста. Приговора не будет. Как же так, он оправдан? Но он знает, что оправдать его невозможно. Он ищет судью, он требует наказания. Они не имеют права нарушать закон, по закону ему положено наказание. Какое бы ни было наказание — оно расчет, оно возможность расквитаться. Но в том-то и мучение, что рассчитаться нельзя, приговора нет... Вина установлена, доказана, и нет приговора.

— Как вам понравилась пьеса? — спросил Макс Л.

— Притча. Причем сомнительная. Раз нет наказания, это, значит, безнаказанность?

— Совсем наоборот, из-за этого в глазах людей он всегда остается преступником, ему нельзя доверять, поскольку он не искупил...

— Послушайте, нам-то с вами зачем разыгрывать пьесу? — сказал я. — У меня нет права вам не доверять. Вы могли бы давно перейти на Запад, если б хотели. Нет, я вам верю хотя бы оттого, что вас это все мучает.

— При чем тут Запад? — с силой сказал Макс Л. — Разве можно все мерить переходом на Запад? Как будто там, в ФРГ, нет честных людей.

— Для вас этот переход был бы отступлением.

— Я не о том. Я про недоверие. Ведь если нам не доверяют, значит нас отталкивают. А куда, к чему отталкивают — об этом вы задумывались? И как бы вы ни уверяли меня, мне всегда будет казаться... Да и как я могу требовать, вы, если бы и захотели, не сможете простить...

Рука его на мгновение застыла, вцепившись в воздух, и что-то отозвалось во мне, словно я прикоснулся к тому, что годами тлело в душе этого человека, нечто такое наболелое, что и выразить, тем более передать другим людям не представлялось никакой возможности.

Трудно нам было; как бы мы ни старались с ним, вряд ли сумеем мы до конца преодолеть то, что стоит между нами, так это и останется при нас, с тем мы, наверное, и уйдем из жизни.

В полвосьмого, как и договорились, у пруда мы встретились с Леной и Костей, которым я с утра поручил Вилли, младшего сына Макса Л. Они показывали Вилли город. У них, пятнадцатилетних, был свой город, где блокада и война были отнесены к истории, вместе со взятием Зимнего, «Авророй», Пушкином, Ломоносовом. В их городе был Эрмитаж, «Комета» на подводных крыльях, стадион Кирова, Костина гитара, кафе «Север», зоосад, где Лена выхаживала зебру, новая линия метро, — кто его знает, что еще там было.

Мы зашли в буфет, заказали сосиски, чай с лимоном и две рюмки водки. Лена поинтересовалась, как мы проводили время.

Портрет Уты

— А что смотреть на Таврической? — удивилась она, и быстрые воробьиные глаза ее на скуластом лице округлились, совсем как у покойного ее отца. Ей было два года, когда он умер, она не помнила ни его костылей, ни военных песен, ни его обожженных рук.

— На Таврической улице... — Я медлил, соображая, как бы почестнее выйти из положения.

И тут Макс Л., черт бы побрал его искренность, сказал:

— Я бомбил этот район во время войны.

Почему-то они, все трое, посмотрели не на него, а на меня. Как будто моя физиономия могла им разъяснить услышанное, как будто я должен им подсказать, Вилли — и тот смотрел с напряженным ожиданием. А что подсказать? Не хватало еще, чтобы они меня спросили: «Как это могло произойти?» — «Что „это“?» — «Ну вообще — фашизм, и война, и Гитлер, и Освенцим». Они обожали подобные вопросы. Впрочем, когда они их не задавали, было еще хуже.

Если б я мог из своей путаной истории отношений с Максом Л. и с другими немцами, из истории, где были промахи, заблуждения, предрассудки, вывести какую-то формулу. Надежную и общую, пригодную для той жизни, в которой им предстоит жить рядом с неграми, корейцами, китайцами, американцами, в мире, перемешанном куда гуще, чем наш, где фашистское будет без свастики, коричневое прикинется голубым, Освенцим станет такой же древней историей, как Тауэр или казематы Петропавловской крепости.

В огромных залах музея Освенцима за стеклами лежали гора помазков, гора очков, гора протезов, высокая гора обуви. Меня удивил одинаково серовато-пыльный цвет обуви — этих тапочек, туфель, штиблет, сандалий. Краски исчезли. Я сообразил, что прошло почти четверть века, кожа истлевает. Гора волос тоже поблекла, волосы превращаются в тлен, скоро придется все тут заменять декорацией, фотографиями.

Если б я мог вывести формулу такую, чтобы Освенцим не превращался в музей. Чтобы все эти экспонаты, камеры, печи оставались угрозой.

Но вместо формулы мои размышления оканчивались новыми вопросами.

Макс Л. поднял рюмку. Голос его звучал сухо:

— Я полагаю, что отныне мы с вами будем бороться с фашизмом.

Я чувствовал, как ему мешает мысль о том, что ему не верят, слова его становились еще казенней.

— История не должна повториться. — Он взглянул на меня, запнулся. — И также ради Уты...

Он сказал это тихо, бесцветно. Мы чокнулись.

— Какой Уты? — спросила Лена.

Я достал из бумажника фотографию.

— Знаю, это в Наумбургском соборе, — сказал Вилли. — Нас туда возили.

Интересно, что Вилли был заодно с ними, ничто не изменилось в их отношениях, и потом, когда они шли впереди нас по улице, держась за руки, в стеганых куртках, с одинаково заросшими затылками, меня удивляло и радовало, что они никак не выделяли Вилли. Они перебивали друг друга, мешая немецкие, русские, английские слова, смеясь оговоркам, иногда чуть озабоченно оглядываясь на нас, может быть чувствуя, как мы завидуем их свободе.

Мы шли по Таврической. В сером камне домов возникали черты Уты, ее прекрасное лицо. Я подумал, что наумбургский мастер никогда не видел ни маркграфини Уты, ни ее супруга Эккехарда, ни Реглинды. Они жили задолго до него. Тогда не существовало ни фотографий, ни портретов. Какой она была на самом деле, Ута? Может быть, он изобразил женщину, которую любил. Поэтому она так похожа на мою Уту. Мы вместе с ним любили одну женщину...

Чужой дневник

Летом 1982 года дела привели меня на несколько дней в Пензу. Жил я там в гостинице на берегу Суры. Однажды, под вечер, понадобилось мне разменять деньги для телефона-автомата. Спустился я к газетному киоску. Приличия ради решил купить какой-нибудь журнал. Почему-то я выбрал «Смену», которую никогда не читаю. И выбрал именно этот номер. Повезло. Ничего не выигрываю, ни в спортлото, ни по займам. Счастливый случай меня обходит. Все достается с трудом. А тут повезло, и крупно: вечером, когда стал перелистывать журнал, нашел в нем «Европейский дневник» Паустовского. В дневнике — про меня. Старые записи о нашем давнем путешествии вокруг Европы на теплоходе. Оказывается, Паустовский всю дорогу вел записи, краткие, сжатые до предела: обозначения событий, упоминания о разговорах, почти не расшифрованные. Спустя четверть века Галина Арбузова опубликовала их. Даже сквозь эти — наспех сделанные, рабочие, чисто служебные, для себя — записи рука художника, его глаз, его стиль ощущаются. Что отделанная повесть, что черновик — оба пишутся одним и тем же почерком. Здесь почерк, может, даже проступает лучше, натуральнее:

Печатается по: *Гранин Д.* Собрание сочинений: В 8 т. СПб.: Вита Нова, 2009. Т. 8. С. 67–106.

«На улице, на парапете, где растет какое-то сочное зеленое растение с большими волнистыми лапами, как у портулака. Оранжед. Жара. Значки рабочим и мороженщику. „Иса крем!“ Полицейский выпрашивал у мороженщика значок».

«По склонам Этны бьют фонтаны дымков. Апельсиновые сады. Невероятная голубизна, отвесный берег в плюще, крепости — ноздреватые, старинные, губки в воде. Дельфины».

Много записей — односложных, малопонятных и вовсе непонятных постороннему читателю. Для меня же они как нажатые кнопки — вспыхивают, освещают полузабытые сцены, картины, краски. Что-то всплывает, не сразу, из глубины памяти, а что-то и не может уже всплыть, отзывается каким-то слабым колыханием, а всплыть не может.

Чужой дневник. В нем все чуть иначе. Краски чересчур яркие, тени гуще, свет падает слишком красиво. В Стамбуле Паустовский увидел джип с полицейскими, у меня же остались — дивной красоты турчанки. Нигде не встречал столько красивых женщин, как в Стамбуле.

Собственные воспоминания о той поездке задвигались, ожили. Они обретали новое измерение. Через Паустовского я узнавал себя, он записывал меня, что я делал, что я говорил. Я сравнивал его записи и свои воспоминания, разницу нашего видения, вкусов и влечений.

Я видел себя самого, в молочного цвета туфлях, которые мне одолжил Серега Орлов, и самого Серегу с рыжими лохмами, и Расула, черноволосого и почти стройного, изумленного... Я разглядывал свои воспоминания, как педагог рассматривает этюд ученика. Поправить надо здесь и там, я видел ошибки восторга, преувеличения, наши последующие судьбы, неоправданные надежды, которые не сбылись... Боже, как давно это было!

За окном затихала вечерняя Пенза, по ее зеленым крышам косо скользило закатное солнце. Мешанина многоэтажек и деревянных домов, укутанных в овечью зелень садов. Впервые

я попал в этот чистый старый город, знакомых у меня тут почти не было, редкое состояние покоя, полного покоя, без ожиданий и обязательств, пришло, как штиль.

В другой вечер дневники Паустовского, может, и не затронули бы души столь глубоко, проскользнули бы по касательной.

Рейс начинался с Одессы. Мы приехали в Одессу. Паустовский показал мне свою Одессу. Корабль стоял в порту, теплоход «Победа», огромный океанский лайнер, — он загружался, догружался, оформлялся, а мы бродили по городу. Дворы, завешанные бельем, лавочки, подъезды, где сидели старики и старухи и торговали длинными самодельными конфетами, пирогами, тапочками, яблоками. Дом, где когда-то помещалась газета «Моряк». Там Паустовский работал. Мальчишки-газетчики кричали: «Мрак! Газета Мрак!»

Крикливая Бессарабка, неслыханной красоты и мощи базары, одесский говор, одесский юмор, кому это, как говорится, мешало? В то лето 1956 года Паустовский еще мог показать свою Одессу, еще на рынке тощий инвалид в тельняшке мог заставить купить велосипедный звонок, на который все будут заглядываться! Через двадцать лет, когда я захотел показать эту Одессу своим друзьям, я ее не нашел. Ее уже не было. С непонятной старательностью ее выскоблили, всю одесскость, одессизм, ее говор, ее шутки, ее обычаи... Ревнителю однообразия, они терпеть не могли одесскую литературу, давшую Ильфа, Петрова, Багрицкого, Бабеля, Катаева. Причислили к ним и Паустовского. Южнорусская школа в устах этих критиков стала чем-то подозрительным, чужеземным. Паустовский любил Одессу и никогда не скрывал этого, не отрекался от нее, хотя и не был одесситом. За это ему доставалось, и немало.

Итак, летом 1976 года, вспоминая покойного Паустовского, я бродил по Одессе, и это была другая Одесса. Было жарко. Я спустился к причалу, где когда-то стояла «Победа».

Набережная и лестница смотрелись отсюда так же красиво, все стало чище, портовые краны выглядели внушительнее, цветов стало больше. Дома были свежеекрашены, играли фонтаны, в киосках открыто продавали жевательную резинку. Но прежней Одессы не стало. Имелся красивый морской город, областной центр, почему-то знаменитый, а почему — неизвестно. Люди говорили с чуть заметным южным акцентом, но примерно так же, как в Николаеве и Херсоне, и надписи всюду были правильные, никаких вольностей, и шутили так же, как всюду. Наконец-то этот город стал таким, как все другие города.

Мальчишки-газетчики Паустовского превратились в пожилых стариков, они сидели в застекленных киосках, продавали «Огонек», «Польшу» и зубную пасту.

Не помню, как я познакомился с Паустовским. Это было до поездки. Наверное, это не отпечаталось потому, что я знал его раньше, много раньше, чем увидел. В школе я зачитывался его книгами «Блистающие облака» и «Романтики». Барочная пышность языка и сладостный ритм фраз завораживали меня. Герои разговаривали так, что щемило сердце. От его описаний деревья, облака, женщины, пение птиц, шелест страниц чувствовались свежее, становились загадочнее.

«Артур Рембо любил писать при краденой свече на полях книги со скабрёзными стихами в тесной каюте. Свеча была воткнута в бутылку. Рембо мечтал о том, чтобы омыть всю землю в пузырящемся сидре. Уайльд любил сверкающие лампы и камин, золотые, как цветок подсолнечника в его петлице в туманный и весенний лондонский день». Сейчас я пожимаю плечами, а в юности что-то слышал, и откликалось.

«Земля пахнет березовой корой, перепадают скромные дожди, и вся страна стоит как чаша, налитая золотым вином, синим небом, яркостью».

Война у него была такой же нестерпимо красивой.

«От канонады сотрясались старинные костелы. В домах плакали дети, метались женщины, на вокзале тревожно кри-

чали паровозы, по белым карнизам зданий бегал красный свет факелов».

Автору было двадцать четыре года. Теперь так не пишут. Чтобы так писать, нужны чувствительность и неутомимое удивление перед таинством происходящего.

Жаль, что магия этих фраз для меня улетучилась, не действует так же, как не волнует уже шум танцплощадки, прикосновение женской руки... Красивость, пышность — слова из нынешних моих понятий. Какое право я имею считать, что вкус мой стал лучше, совершеннее? У меня нынче просто другой вкус, потому что я другой. Тому, семнадцатилетнему, нужны были Гюго, Грин, Светлов, Багрицкий, Тихонов, в них нуждалась душа. Так в детстве организм для роста требует кальция. Так больше всего хотелось мороженого и лимонада.

В «Романтиках» есть глава «Ночная встреча». Я знал ее наизусть. Я сказал об этом Паустовскому. Он хмыкнул: «Не вздумайте произносить ее вслух; это, наверно, приторно, как сахарин». Я никогда не перечитывал «Романтиков». Зачем? Зачем обесценивать те часы счастья и мечтаний, какие получил от этой книги в юности?

Паустовский совмещался со своими книгами легко, но неполно. В Одессе и потом на «Победе» открылось искусство устных его рассказов. Они были несхожи с его письменными. Два разных рассказчика. В устных начисто отсутствовала приподнятость. Когда он рассказывал хрипловатым своим, надтреснутым голосом, кругом улыбались, посмеивались. В палубных его рассказах царил юмор, которого почти не было в книгах. Десятки смешных историй об Аркадии Гайдаре, о Фраермане, Багрицком, Бабеле и Булгакове. Законченные новеллы, вроде старинных итальянских фацетий. Записать их трудно, смешное исчезает, но все равно следовало записать их, я подозревал, что сам Константин Георгиевич их не записывает. Так и оказалось. Думал, что неудобно, даже бестактно записывать рассказы писателя. Все равно что заниматься плагиатом. Бóльшая часть этих рассказов пропала. Мешало,

что, кроме меня, кругом сидели и слушали Константина Георгиевича другие писатели. Они запишут. Другие запишут — это всегда успокаивало, избавляло от необходимости самому... И так всю дорогу. Хотелось жить, не хотелось отрывать от жизни хотя бы полчаса, чтобы записать прожитое. Один рассказ я почему-то запомнил лучше других. Как Аркадий Гайдар остановился в Москве перед гербом какого-то посольства, долго рассматривал его, потом стал допытываться у дежурного милиционера, что это за страна, чей герб. Милиционеру любопытство это показалось подозрительным, и так как Гайдар настаивал, приехала машина и его забрали куда следует. Там выясняли его личность. Наконец выпустили. Но он не желал уходить, пока ему не скажут, что это за посольство.

Сам Паустовский не смеялся, а посмеивался, тихо, отстраненно, и над собою, и над Гайдаром, и отчасти над нами. Слушать его истории было захватывающе интересно, они отличались сюжетом и домашностью, уютом, рассчитанным на пять-шесть человек, не больше. В его юморе не было желчи. Это был юмор человека, умеющего видеть и отбирать смешное «из жизни». В книгах его этого мало, может, потому, что стиль открытого романтика отторгает хитрый, прищуренный смешок, это добродушное подтрунивание и откровенное веселье. Хотя обобщать не следует, рискованно обобщать, когда речь идет о настоящем писателе, он обязательно вылезет из правил. Сразу же вспомнился крохотный рассказик Паустовского «Случай с Диккенсом», «о прилипчивом писателе Диккенсе», рассказик, который весь состоит из маленьких и больших улыбок.

Сладостный озноб, лихорадка нашего отплытия, тающая вдали белая Одесса, первый наш выход в мир на огромном лайнере, первый раз в руках заграничный паспорт, первые огни чужих маяков, ветер дальних земель... Впервые для нас, но к этой первости добавлялась еще всеобщая первость: таких круизов еще не было, первый рейс советских туристов вокруг Европы.

Паустовский не уходил с палубы. Болгария, шторм, вход в Босфор, Дарданеллы, Лесбос, желтеющий нагими каменными обрывами, серая земля масличных рощ, путаница и теснота рей, бронзово-зеленые пушки среди коричневых скал — все, все волновало его, приводило в восторг и трепет. Он бывал здесь не раз, давно, рассматривая в старых книгах эти берега, читая о них в лоциях, и вот наконец все это задвигалось, поплыло за бортом теплохода: косые паруса фелюг, раскрашенные прихотливыми красками крепостные стены... Он простаивал свою вахту, прихватывал следующую, перestaивая всех нас. Мы — это поэт Сергей Орлов, писатели Леонид Николаевич Рахманов и Елена Иосифовна Катерли, критик Сергей Львович Цимбал, режиссер и художник Николай Павлович Акимов, и с нами, ленинградцами, был Расул Гамзатов. В том или ином сочетании мы стояли рядом с Паустовским. Теплоход имел несколько палуб, множество закоулков, глухих местечек между шлюпками, лебедками, но мы повсюду находили Паустовского и становились рядом. С ним больше можно было увидеть. От него исходил ненасытный интерес, от Паустовского мы заряжались. Молодой наш крепкий эгоизм ни с чем не желал считаться. Паустовский сам был виноват, он не умел отказывать в общении. Другие большие писатели, те бывают заняты своими мыслями, недоступны, погружены... Позже я бывал с Паустовским в Дубултах, в Доме творчества. Вечерами мы собирались у него в шведском домике у камина. Но и днем Паустовский принимал приглашение погулять, посидеть, поболтать. Казалось, ему нечего делать. Как-то я спросил его, почему он неплотно притворяет дверь к себе в комнату. Он виновато усмехнулся: «А может, кто зайдет?» Прекрасное настроение беспечности и незанятости окружало его... Между тем за месяц пребывания в Дубултах он написал больше, чем все мы: Юра Казаков, Эм. Миндлин, я, хотя мы сэкономили каждый час и работали в полную силу.

На теплоходе Паустовский чаще всего сидел в шезлонге, иногда дремал, не уходя с палубы. Каюта ему досталась плохая. Он пишет: «Каюта второго класса. Теснота. Койка как шкаф». Каюта его помещалась над машинным отделением, в ней все дрожало, позвякивало, гудело. Мы не знали, кто, как распределял каюты и классы. Нам-то с Сергеем Орловым было все равно, где спать, мы могли уснуть хоть на самой турбине. Вскоре мы и устроились на палубе, легли там вповалку на брезенте под зелеными звездами южного неба. А вот за Константина Георгиевича было обидно. В своей каюте он не высыпался, мы боялись, что путешествие для него будет испорчено. Сам он ничего не предпринимал. Он был из тех людей, которые могут хлопотать лишь за других. Меня отрядили пойти к начальнику круиза. Что такое круиз, я не знал, и никто не знал, и до сих пор не знает. Но начальника круиза я знал, хотя он показывался на люди редко и его мало кто видел. Он пребывал больше в разговорах, чем наяву, как всякий большой начальник. На теплоходе ехало четыреста пятьдесят туристов, мы были в открытом море, за границей, и он был всем — и властью, и законом, и судом, и высшей инстанцией. Над ним была только радиомачта. Это был красивый мужчина с презрительно-благодушной миной и пресыщенно-усталым голосом. Выслушав мою просьбу, он плавно изогнул шею, осмотрел меня сверху донизу, до моих молочных туфель: «Мне надо перевести первого замминистра в другую каюту, для жены зампреда нужен люкс, и сын ее тоже нуждается, а вы тут с Паустовским. Машинное отделение? Ничего страшного. Пусть выпьет на ночь коньячку. Писатели ведь принимают, а?» — и он лениво подмигнул мне. В тот круиз отправилось много важных людей. Например, один такой влиятельный деятель, все его знали, фамилия его постоянно упоминалась в газетах. Теперь он стал бывшим и с ним можно было постоять у борта и поговорить. Просто так. Он был без телефонов и без референтов и сам искал собеседни-

ков. Но вскоре оказалось, что говорить с ним не о чем. Он был скучный, всем недовольный. Когда я восхитился неистой синевой Эгейского моря, он хмуро заметил, что наше Черное море синее. С нами ехала известная певица, ехали Тарапунька и Штепсель, Родион Щедрин, много милых, заслуженно известных людей, так что Паустовского сперва не замечали. Он умел быть незаметным, это его устраивало. В Стамбуле нас встречали репортеры, вот тогда многие обратили внимание, что фотографируют не их, а маленького морщинистого человека. «Паустовский!» — заговорили на корабле. В Греции интерес прессы к Паустовскому продолжался, в Неаполе его встречали с цветами. Это удивляло и раздражало некоторых. Начальник круиза беспокоился. Он сказал мне укоризненно: «Что же вы не предупредили меня, что Паустовский известный писатель?» Тут же он перевел его в хорошую каюту. «Мы должны считаться с мнением иностранцев», — объяснил он. С нашим мнением он никогда не считался. Катерли, женщина крутая, резкая, прямо спросила его об этом. Он лениво изогнул брови: «Ваше мнение? Так оно же при вас и останется».

Неаполь. «Нарядность и уют улиц, которые как будто видел во сне», — записал Паустовский. А до этого: «Сказочный разворот Мессинского залива. Этна — огромный поднебесный вулкан. Синева». «Голубой небесный дым и тихое золото облаков. Древние страны человеческой мечты... Волнение до слез».

Невозможно перевести на бумагу прелесть тех картин, пряный воздух, тепло, чувства, что нахлынули на нас. «Волнение до слез» — это было внутри у каждого: и у Расула, и у Сережи Орлова, — но острее всех чувствовал Паустовский; нам не хватало выстраданности этого путешествия, долголетнего ожидания. Ныне, спустя десятилетия, я шарю в своей душе, разыскивая, что же осталось от той красоты, от того замиранья, когда чужие миры впервые распахнулись перед нами?

Вроде бы ничего не осталось. Если бы не дневник в журнале, я бы и не вспомнил то путешествие. Столько было после него поездок, столько стран, городов, что то, первовиденное, потеряло цену. Но вот дневник... Не потому ли так взволновал он, что путешествие наше нежданно-негаданно стало историей?.. Нет, ничего там не случилось, все дело в том, что читается он как документ о другой эпохе, из минувшей жизни, с малопонятными ныне чувствами.

О нашем путешествии на «Победе» я никогда не писал. Оно осталось для себя, ушло внутрь, растворилось... Растворилось — и что? Что же от него осталось? Читая дневник, я вспоминал происхождение некоторых своих привычек, уроки, воспринятые от Паустовского. Так вспомнилось то, что произошло в Афинах.

У нас выпало несколько свободных часов после осмотра Акрополя, после музея, после обеда с концертом, с послом и тостами. Свободное от программы время. Главное — свободное от толпы своих, от пояснений гида, вопросов, команд старост групп. Это были блаженные, святые, самые драгоценнейшие часы, когда мы могли чувствовать себя путешественниками. Затеряться чужестранцем в иностранной толпе. Неизвестная площадь за углом. Холодок страха — ты один, далеко на чужбине, никто не знает, куда ты пошел, куда свернул. Гангстеры, шпионы, разведка и прочая мура, которой тогда набита была моя голова. Я предложил Паустовскому проехать город на автобусе, потом вернуться пешком, сверяясь с планом. Паустовский отказался, сослался на усталость. Зной этого огромного дня истомил, с утра мы карабкались по сухому холму к Парфенону; камни, небо — все было раскалено, выжжено, залито беспощадным неподвижным солнцем.

Паустовский сказал, что лучше он посидит под зонтиком уличного кафе. Он и меня пригласил, но я, выпив с ним орانжад, оставил его в непрочной тени кафе и ринулся в мраморную духовку города, в центр, оттуда в деловые кварталы, потом в район особняков, в толпу, в бульвары. Что за той аркой? А там, в переулке? К тому же я еще фотографировал.

На автобусе до парка и обратно. Судя по плану, я обегал почти весь центр. Успел осмотреть все помеченное цифрами на карте. Я выложился в этом марафоне до отказа, как настоящий стайер.

Поздно вечером мы вернулись в Пирей, на свой теплоход. Я был вымотан и доволен. Мы лежали на шезлонгах, и я рассказывал Константину Георгиевичу про Афины. То есть о том, сколько я исходил, обегал, о том, что я отщелкал три пленки, осмотрел почти все стоящее.

— А вы что успели? Где были? — спросил я.

— О, я так и просидел в этом кафе, — сказал Паустовский.

Было жаль его и было немного стыдно, что я, молодой, здоровый, расхвастался перед пожилым человеком, у которого не хватило сил носиться по городу. Он слушал меня внимательно, но как-то без обычного живого интереса.

Отплытие задерживалось. Вдали за пирсом сверкал люминесцентными лампами портовый кабак. Оттуда доносились музыка, шум. Там танцевали. Вышла рослая девка с тремя матросами. Двое были в беретах с помпонами, один в белой фуражке. Все трое стали драться, девица курила и ждала. Голубоватый, холодный свет в темной жаркой ночи делал зрелище театральным. Завыла полицейская машина. Полицейские в желтых рубашках выскочили, схватили двоих. Третий сидел, взявшись за голову. Девка исчезла. Представление кончилось. Побольше терпения — и мы могли дожидаться следующего действия.

Пока мы шли к Италии, Паустовский время от времени рассказывал: сперва про парочку, которая сидела в афинском кафе за соседним столиком, он — китаец, она — молоденькая мулатка, потом про монахов-доминиканцев, про драку афинских мальчишек и продавца губок, про борзую и терьера, которые жили напротив кафе во дворе мраморного особняка. Конца и края не было его рассказам. Там, в кафе, к нему подсадила старушка, американская туристка, она была из Ростова-на-Дону, вдова пароходовладельца, в Америке она помогала

Михаилу Чехову, а дети ее учились у Питирима Сорокина. И официант тоже знал русский и вступил в разговор с ними, он служил когда-то в Афонском монастыре.

Спустя месяц, дома, я проявлял пленки. То, что это Афины, я узнал только по буквам на вывесках. Больше всего меня поразили один памятник. Несколько раз я его отснял, с разных точек, но я совершенно не помнил ни этого памятника, ни площади, на которой он стоял. Судя по фотографиям, он был из белого мрамора. Фотографии были как чужие, сделанные кем-то, в незнакомом месте.

Перелистывая путеводитель, я наконец нашел, что это памятник Байрону. Сам я этого памятника не видел, снимал, а не видел, все внимание ушло на выбор освещения, экспозиции. И с остальными снимками обстояло почти так же. На фотобумаге появлялись незнакомые мне места, ворота, витрины. Ничто не откликалось этим снимкам, никаких воспоминаний. Были Афины или не были? Скорее, что не были, все слилось в потную беготню. Афины у меня остались прежде всего из рассказов Паустовского. Случай этот заставил усвоить совсем непростую истину: как много можно увидеть на одном месте. Путешествие не сводится к поглощению пространства. Нам кажется, что мы больше узнаем двигаясь, но о чужой стране можно кое-что узнать, просидев несколько часов в уличном кафе.

Урок был нагляден, но применил я его не сразу. Долго еще было — побольше стран. А в стране — объездить побольше городов. Побывать там и там. Количество. Верх брало хищное крикливое количество.

Спали мы на шлюпочной палубе, застланной толстой парусиной. Приволакивали из кают свои матрацы и подушки и ложились компаниями. Однажды с нами лег Константин Георгиевич. Ночью проходили Гибралтар. Паустовский нас разбудил. Его разбудил капитан. Белье было сырое. Близко была Африка, она дышала из черноты раскаленными берегами, и ветер временами доносил тропическую влажную духоту.

«Чувствуете?!» — спрашивал Паустовский. Время от времени из рубки общую нашу постель медленно обшаривал прожектор. Паустовский показал нам огни Гибралтара, крепостные сооружения, освещенные слабым желтым светом, фигуры часовых. Сквозь темноту Гибралтар возникал как увиденный, обозначенный словами Паустовского. Глуховатый, чуть надтреснутый голос его обводил контуры, стертые туманом, сумерками, а то и невниманием нашим. И по сей день Гибралтар висит в памяти, как картина, вместе с той ночью, тихим ходом корабля мимо близких огней, что-то сигнализирующих...

В Ватикане мы встретили монаха-словака. У Паустовского в дневнике это обозначено тремя словами: «Монах, миссионер, эрудиция». А было так. Мы стояли на площади у собора Святого Петра после того, как Папа сверху благословил толпу паломников. Люди начали расходиться. Нас изумляло их благоговейное, а то и восторженное чувство к старику, который показался в окне дворца. В те годы мы не могли понять религиозного состояния западного просвещенного человека здесь, в центре Европы. Католицизм был нам неведом. «Верующий» означало, как правило, «темный, малограмотный», это были одураченные бабы, одинокие убогие старушки. Почему я говорю «мы»? Может, Паустовский, Рахманов, Катерли — люди старшего поколения — понимали религиозное чувство? Может быть, не знаю, но внешне разницы поколений здесь не чувствовалось. Епископов и кардиналов мы представляли себе главным образом из романов Стендаля, Дюма и из «Овода». Мы, во всяком случае я и Серега Орлов, да и Расул, мы были невежественны, самоуверенны и все же смущены величием соборов, их красотой, толпами молящихся, нас поражали одухотворенные лица монахов в уличной толпе, францисканцы в коричневых власяницах, подпоясанных белыми веревками, стертая от поцелуев ступня мраморного Святого Петра, которая торчала, как обломок кости. Люди уходили, на их место слетались голуби. Мы стояли втроем: Паустовский, Рахманов и я. Услышав русскую речь, к нам подошел

монах. Получилось так, что он подошел ко мне. Мы фотографировались по очереди, в это время фотографировали меня. Паустовский и Рахманов возились поодаль с аппаратом, монах обратился ко мне на хорошем русском языке: не туристы ли мы из Советского Союза, газеты писали, что в нашей группе есть несколько писателей. Не здесь ли они?

Скорее всего, это был священник какого-то крупного сана, потому что, когда ветер отдувал полу его черной сутаны, она вспыхивала алым шелком подкладки.

Русская его чистая речь насторожила меня. И совпадение насторожило. Почему он обратился именно к нам, ко мне? А он улыбнулся, слабо так улыбнулся, своей удаче, счастливому случаю, который помог найти тех, кого надо, поскольку время не терпит, тяжело больна сестра русского поэта, имя которого нам должно быть известно, Вячеслава Ива́нова, она работала в Библиотеке Ватикана. Иванов хотел передать свои архивы на родину. Об условиях нам может сообщить его сестра. Живет она тут, в Ватикане, в двух шагах, не соглашусь ли я зайти к ней?

Вот они, настигли нас те иезуиты, о которых столько предупреждали. Все, все было подозрительно, начиная с русского языка. Первое чувство, когда кто-то незнакомый заговаривал со мною на русском языке здесь, на Западе, была настороженность. Паустовский кивал мне, довольный тем, что возник такой любопытный кадр: я беседую с монахом. Они там, в десяти шагах, ни о чем не догадывались, и с моей стороны было бы бессовестно вмешивать их в эту опасную историю. Монах продолжал приглашать, не понимая, что мне мешает пойти с ним. У нас действительно оставалось еще около часа свободного времени. И что-то подкупало в открытом и печальном его лице. Я подумал: а вдруг все правда и надо бы пойти, — но тут же представил себе, как тяжелые ворота захлопнутся за нами, представил каменные подземелья Ватикана, лабиринты, стражу, темницы. Отчаянный, постыдный страх охватил меня. Кому я нужен в этом Ватикане, что с меня взять — об этом я не думал. Само собой полагалось, что каждый из нас —

желанная добыча для иезуитов. Представить только, что мне было уже за тридцать, я прошел всю войну, имел высшее образование, считался рискованым человеком... Помню отчетливо, как у меня промелькнуло: хорошо, что Паустовский фотографирует, монаха этого удастся разыскать, обнаружить.

Я залепетал о том, что если бы раньше, сейчас уже нет времени, мы должны уезжать. Монах вздохнул, извинился, предложив записать адрес сестры, может, наши представители спешутся с ней...

Этот свободный час ушел на хождение по прилегающим улочкам. В лавочках, вывернутых наружу, продавали сувенирно-ватиканскую белиберду. Вот мы ее и рассматривали. Жестяные распятия, блюдечки, висюльки, рогульки, гляделки, четки, иконки... Я чувствовал себя отвратительно. На войне, под пулями, вроде бы не трусил, даже вызывался сам несколько раз в разведку. Паустовский с Рахмановым меня утешали тем, что архивом этим никого у нас не заинтересуешь...

До этого случая я посмеивался над нашими спутниками, над их замечаниями, вкусами. Кто-то из наших туристов в Сикстинской капелле задал вопрос, от которого привычный ко всему гид пошатнулся: сколько весит Сикстинская капелла? Спросил, занеся свой карандашик над своим блокнотиком, куда аккуратно записывал квадратные метры росписи, количество фигур, сколько лет потрачено. Для полноты сведений ему нужен был и вес капеллы, ничего смешного! Мне всегда любопытно, какова судьба этих блокнотиков? Вполне возможно, что они-то и отбивали всякую охоту записывать.

По дороге на Капри к нам на пароходике пристроились два старичка-неаполитанца. Старики слабенькими голосами запели «Прощай, Неаполь», «Скажите, девушки». Пели мило, мы похлопали, одарили их папиросами и значками. Папиросы вызвали удивление, в них видели жульническое — табак набит не полностью, до половины! Все было умирительно-приятно, под стать сладостному пейзажу с профилем Капри, как бы нарисованным детской рукой, пока старички не сообщили, что все неаполитанцы — хорошие певцы и хорошие

любовники. Они сказали это «все» отчасти из скромности, отчасти же желая повеселить наших дам. За что и получили отпор. Две девицы из Свердловска, которые до того весело им подпевали, выпрямились и твердо заявили неаполитанцам, что наши любовники лучше. Это звучало всерьез, как отпор, никто не посмел спросить, откуда это им известно. Старички притихли, не понимая, за что на них прикрикнули.

На теплоходе наладился быт, веселый корабельный быт с танцами, играми, знакомствами. Мешала только жара. Мы не вылезали из бассейна. Можно сказать и так — мы вылезали из бара, чтобы влезть в бассейн. Я осваивал в бассейне купленные в Италии лазурные ласты, маску и трубку. В те времена акваланговая оснастка выглядела диковинно. Я затратил на нее половину полученной валюты. Все меня бранили, кроме Паустовского, глаза его мечтательно туманились при виде амфибийных этих доспехов. Еще несколько лет среди купальщиков Финского залива, Коктебеля мое снаряжение вызывало зависть. Поначалу, как пишет Паустовский, я чуть не утонул, приучаясь нырять. Утонуть в бассейне я не мог, но вызывал страх у сидящих вокруг. Женщины сидели в купальниках, изнемогая от жары. Жара выгоняла их из наготовленных в поездку нарядов. Втуне пропадало искусство портных, модные платья с роскошными отделками. Остались просто женщины в купальниках, старые и молодые, ничем не украшенные... Мы уходили в бар, пили коньяк. Расул Гамзатов был неистощим на тосты и на байки, он мог пить много, не пьянея. Мы все могли тогда пить, несмотря на жару. Николай Павлович Акимов пристраивался сбоку и рисовал кого-нибудь. Некоторые портреты получались сразу. Меня он повел к себе в каюту и заставил специально позировать. Мой портрет не давался. Получалось нечто перекошенное, старообразное. Акимов злился на меня. Спустя двадцать лет в Союзе художников было открытие выставки картин Н. П. Акимова. Меня просили выступить на открытии. Я сказал, что мое поколе-

ние росло среди удивительных премьер акимовского театра. Про акимовские декорации, своеобразные, неожиданные, всегда узнаваемые. Настоящему таланту присуще быть узнаваемым, не похожим на других. Театральные афиши Акимова были уличной живописью Ленинграда. Потом я пошел по выставке, вспоминая юность, старые спектакли, на которые попадал, выпрашивая лишний билетик, узнавал портреты людей, которых давно нет, которые доживали при мне последние свои годы, а я-то думал, что они будут еще долго, — Евгений Шварц, Юрий Тынянов, Николай Симонов, Ирина Зарубина, Михаил Лозинский... Среди графики я увидел свой портрет. Один из тех неудачных набросков. Я не сразу узнал себя, таким я был там красивым и счастливым. Все же Акимов что-то схватил — нетерпение, взбудораженность того путешествия, когда я открывал для себя неведомые миры, то, что автомобили могут быть золотистые, карминовые, а не только черные, открывал Парфенон и оранжад, миллионеров, шлепающих босиком в Сорренто, и проституток, медленно едущих в открытых машинах, Лазурный грот и бананы. Я разглядывал рисунок, вспоминая, как я сидел у Николая Павловича, вспоминал его самого, острое лицо, едкий его язык, холодноватую иронию, которая и притягивала к себе, и отталкивала. Можно было порезаться. Слишком остро. Внешне Паустовский и Акимов были чем-то схожи. Небольшого роста, поджарые, смуглые, с индейским профилем. Но Паустовский не соответствовал своей внешности, он был мягок и терпелив, уютен и добр. В нем привлекала открытость, беззащитность.

«...Розыгрыш Гранина, радио мне от Симонова: „Прошу телеграфировать мнение французской общественности о последних стихах Грибачева“». На радиорубке я договорился с радистом. Он написал на бланке текст от имени Симонова. К. М. Симонов был тогда редактором «Литературной газеты». Обычно перед обедом объявляли на весь теплоход, кому

есть радиограммы. Паустовский спустился в зал ресторана, размахивая зеленым бланком. Лицо его пылало от возмущения. «Что за чушь! Что они там думают, что в Париже строят баррикады? С какой стати я должен заниматься этими стихами. Смешно выяснять такие вещи. Не для этого я еду в Париж. Пусть не рассчитывают!» Он долго не мог успокоиться. «Симонов пользуется моим отношением к нему. Но это чересчур». Он хотел послать ответ Симонову. Пришлось сознаться в розыгрыше. Я сделал это не без смущения. Шути, да знай меру. Все же это был Паустовский. Надо было считаться с разницей лет и положений. Итак, я повинился. Некоторое время Паустовский разглядывал меня молча, взгляд его, колющий, металлический, был не очень-то приятным, но вдруг он расхохотался. Непроизвольно. Хотел рассердиться, но, видно, представил себя, потрясающего зеленым бланком, и расхохотался. Собственная доверчивость веселила его. Надо же быть таким болваном, таким лежководным дурнем. Тонкие морщинки смеха смяли, смягчили его лицо. Он был в полном восторге и думать не думал обижаться.

Вот тогда-то меня и озадачила его необидчивость и готовность первым смеяться над собой. От этого он нисколько не проигрывал, становился ближе и дороже. А что, если писателю, да и любому художнику, самоирония помогает? Паустовский умел смеяться над собой охотнее, чем над другими. Он относился к себе без всякого почтения, не заводил разговоров о себе, о своих книгах, рецензиях, успехах — этих пыльных клубах славы, которые иной сам же и поднимает. У нас перед глазами маячил пример в лице одного известного публициста. Все путешествие он говорил только о себе. Остальные темы были ему скучны. О чем бы ни заходила речь — о вулканах, о Бискайском заливе, о врачах, — через несколько минут все приходило к нему, к его особе. Самоумаление — он не понимал, что это такое. Но ведь было же. Мог же Чехов признаваться, что не понимает жизнь. Мог же он говорить Бунину: «Меня будут читать еще лет семь, не больше». Мог же наш

великий историк С. М. Соловьев считать свою работу лишь расчисткой пути для тех, кто следом за ним должен написать историю России лучше его. Паустовский никогда всерьез не относился к своей писательской персоне и от этого только вырастал.

Как-то, живя в Дубултах, я отпечатал на машинке письмо, в котором работницы молочного завода в Майори приглашали дорогого писателя К. Г. Паустовского на свой вечер в честь Международного женского дня. В затею были посвящены соседи по столу Эм. Миндлин и Юра Казаков. Получив это письмо, Константин Георгиевич стал уговаривать нас пойти вместе с ним. Мы согласились проводить его до клуба, где действительно должен был состояться вечер, висела афиша, из которой-то я и узнал про вечер. Мы проводили, но не ушли, остались ждать, готовясь к возвращению Паустовского. Миндлин несколько тревожился — бестактная шутка. Теперь и сам понимаю, а тогда отмахнулся — Паустовский на такие вещи не обижается. В ту весну в Дубултах мы с удовольствием разыгрывали друг друга, подшучивали, подсмеивались над собою. Что мы есть — трава среди деревьев. Это сравнение мне тогда очень нравилось. А что касается того вечера в Майори, то мы еще долго топтались под окнами освещенного клуба. Было холодно. Лужи покрывались хрустким льдом. Гремела музыка. Паустовского мы не дождались. Наутро, щуря глаза в неясной усмешке, он жалел нас: зря мы не зашли, сперва при его появлении произошло некоторое замешательство, но потом все обрадовались, и он провел чудесный вечер, а мы?..

Третий урок состоялся в Париже, в Лувре. Встречи с Парижем Паустовский ждал многие годы. Может быть, с юности. Он должен был увидеть Париж. В поезде из Гавра в Париж он сказал: «Подумать только — я мог умереть и не увидеть Парижа!» Из всех городов Запада русского человека почему-то более всего влечет Париж. Спустя три года после нашего путешествия Паустовский описал первое это свидание с Парижем в своем очерке «Мимолетный Париж». Тогда этот

очерк мне понравился. Сегодня он читается плохо. Проступили банальности, болтливость. Книги стареют, как люди, становятся многословными, повторяют вещи общеизвестные, притом многозначительным тоном. Однако некоторые страницы очерка вдруг трогают ненынешним чувством авторского восторга и умиления. Сентиментальность приторна, наивна, и все-таки она нужна человеку. Еще в первом прочтении меня удивляла память Паустовского, как много он увидел и запомнил, я был там же, смотрел на то же самое и ничего этого не приметил. Целый рассказ у него про мальчика-лифтера, подробности нашего знакомства с Лидией Николаевной Делекторской и ее сестрой, и то, как ехали к ней, в ее квартиру, и сама квартирка, увешанная картинами Матисса, и то, как мы ходили на Центральный рынок и что там было. Поразительно интересно, когда другой описывает то, что вместе видели, делали, пережили. Порою многое раздражает — и то было не так, и это. У Паустовского тоже не так, но у него не потому, что не так, а потому, что он больше увидел и домыслил. Увиденное для него лишь начало. Оно — завязка. В нашей маленькой гостинице в Париже он сделал весь ее персонал бывшими циркачами, стулья в ресторанчике расшатанными оттого, что на них делал стойки администратор — бывший акробат. Ничего подобного не было. Но могло быть, могло, потому что наша хозяйка была циркачкой. Одна она, и этого достаточно.

Про Лувр в этом очерке почти ничего нет. И в «Европейском дневнике» две короткие строчки. О самом сокровенном, личном — он избегал писать. Оставлял для себя. Нельзя все для печати. Перед поездкой в Лувр Паустовский предложил нам троим — Рахманову, Орлову и мне — ограничиться минимумом. Не бегать с толпой экскурсантов из зала в зал, не пытаться осмотреть даже лучшее. Константин Георгиевич живо представил нам в подробностях: тысячи картин, и все знаменитые — Рембрандта и Веласкеса, школы всех веков, анфи-

лады, переходы, этажи, разноязычные голоса гидов... «А мы посмотрим только Нику Самофракийскую, Венеру Милосскую и Джоконду. Проведем у каждой полчаса и уйдем».

К тому времени нас уже слегка подташнивало от музеев Греции, Италии, от мраморных скульптур, памятников, фресок, картин, гравюр, росписей. Все слиплось в сырой ком. План Паустовского понравился своей решительностью и простотой.

Ника, безголовая, безрукая, была непонятна. Фантазии моей не хватало представить ее в целости. Красота ее тела, что светилось сквозь каменные складки прозрачной туники, не действовала на меня без головы, без лица. Красоты одного тела оказалось мало. Скульптура передавала подвижность тела, воздушность ткани с искусством, непостижимым и поныне. Если древние умели такое, можно ли говорить о прогрессе в искусстве? Двигается ли искусство куда-нибудь? На галерный корабль такую фигуру ставили, на парусник — понятно, а на межпланетный она не пойдет, другую надо придумывать. Вот, примерно, куда меня завело, когда я разглядывал Нику. Чувств удивления и интереса надолго не хватило, зароились разные мысли. Мы продолжали стоять перед нею. Я украдкой взглянул на часы. Прошло пятнадцать минут. Не так-то просто истратить полчаса на одну вещь. Никогда я такого не делал. Смотреть, а чего в ней еще смотреть, все уже ясно. Изучать? Опять же — чего? Если бы я был искусствоведам... А уж переживать — тем более невозможно так долго. Непростое это оказалось дело. Куда легче двигаться, идти мимо разных полотен, гулять по музею, остановиться у какой-нибудь исторической сцены, полюбоваться красоткой, можно пейзажем. Прочитаешь подпись «Тициан», ага, значит, надо еще раз взглянуть, заметить себе, вроде и в самом деле гениально.

Постояв еще немного, ради Паустовского, мы двинулись к Венере.

Как всякий, я навидался ее изображений. Теперь я стоял перед подлинником. Я знал, что должен волноваться. Кто только не стоял на этом месте, перед этим совершенным мрамором. Великие, известные, в сущности все просвещенные люди, что жили в Париже, и те, кто приезжал в Париж, все русские интеллигенты, все художники Европы, ее поэты, ученые, ее правители, — все считали необходимым являться сюда, к этой женщине. И вот теперь и я сподобился. И я смогу сказать, что видел Венеру Милосскую. Это было как вершина для альпиниста, отметка для получения разряда. Передо мною было воплощение женственности, общепризнанная мера красоты, гармонии, проверенная столетиями. Вспомнил очерк Глеба Успенского «Выпрямила». В самом деле, если бы можно было сосчитать, скольким людям помогла эта красота устоять, скольким вернула покой, силу, чувство любви к жизни, восхищения человеком?.. С Венерой, следовательно, разобрался, вникнул. А вот Джоконда...

Не хочу рассказывать о первом чувстве разочарования перед Джокондой, не это важно. О картине я писать не собираюсь, и о своих мыслях тоже. Что-то было вначале, а потом пропало. Никаких мыслей не стало, а был уход, я не заметил, как стал уходить в картину, погружаться в нее. И она уходила в меня. Так бывает, когда долго стоишь перед морем. Или лежишь, глядя в небо. За четверть века то чувство давно стерлось, осталось от него воспоминание того, как стоял я без мыслей, забыв о времени. Через несколько лет, снова будучи в Лувре, я к Джоконде не подошел и больше не подойду. Очнулся я, увидев, что Паустовский плачет, и показалось это естественным. Мы вышли из Лувра, ни на что более не взглянув. Устали. Сели на скамейку и долго сидели молча.

Выходило, что одна картина может дать больше, чем целая галерея, если эту картину удастся пережить. Выходило, что у картины можно простоять и полчаса, и больше. Одна картина, одна книга... Пусть не одна, пусть немного.

Недавно, будучи в Хельсинки, я увидел памятник Сибелиусу. Он стоит в парке. Я сел на скамейку и просидел перед ним долго, вволю. На скальном камне, на столбах подняты были трубы, пучок труб, нечто вроде органа. Трубы были разными, каждая повреждена по-своему — пробита как бы пулеметной очередью, разворочена, треснута, разрезана. Темный неясный смысл был в этих ранах, никак было не добраться до него. Орган пел. Ветер с озера исполнял свою музыку в исковерканных трубах. Звуки шли чистые, тихие. Сбоку, на гранитном отрубе поблескивал стальной барельеф Сибелиуса. Был он отлит из той же стали, что и трубы вознесенного над нами органа. Портрет Сибелиуса показался необязательным. Не все ли равно, какая внешность была у композитора. Важна была его музыка, где есть эти озера, камни, сосны бедной северной природы, скупые ее краски, финны, сидящие в парке на тяжелых деревянных скамьях. Музыка создает внутренний образ автора.

Дул ветер, а вода озера лежала неподвижно, как стальной лист. Давно я не вспоминал Паустовского, хотя жил, пользуясь кое-чем из его уроков, — и сидел в этом парке перед памятником потому, что когда-то стоял с ним в Лувре.

Читая скупые фразы «Европейского дневника», слишком скупые, так что теперь многого не раскрыть, не понять, я убеждался, что эта скупость уберегла дневник от старения. Дневник выгодно отличается от сделанных о поездке очерков. В нем идет непрерывная работа чувствования, стремление понять увиденное. В течение всего пути. «Вышли в Эгейское море. Лиловая шелковая вода. Шествие великих и древних островов. Лесбос. Колыбель человечества».

Замечали вы, что дневники вообще отличаются завидным долголетием?! Они не так быстро портятся. В них меньше литературщины, украшательства, крема. Дневник — он все же для себя. Даже лукавя и хитря и надеясь, что потомки станут вникать, все равно много тут «длясебятины», без расчета на читателя, без моды, без влияний. Паустовский записывал

кратко, но аккуратно, почти ничего не упуская. Он вел записи, как судовой журнал. Прочитав дневник Паустовского, я стал спрашивать у всех, кто жив, у наследников тех, кто умер, — оказалось, никаких дневников или обстоятельных записей не осталось. Так, отдельные заметки. Писателей было человек десять. Почему мы ничего не записывали? Почему мы не считали себя обязанными? Почему не было у нас профессиональной потребности? Один Паустовский чувствовал себя путешественником, открывателем, землепроходцем. Это сегодня поездкой во Францию никого не удивишь. В 1956 году Паустовский ехал в Европу, как к инопланетянам. Европейские следы Бабеля, Маяковского, Пастернака были занесены, перепаханы войной.

В очерке о Неаполе «Толпа на набережной» Паустовский ведет рассказ, будто он приехал в Неаполь сам по себе. Нас там нет. Все приключается с ним одним, одиноким путешественником. В поездке с нами он втайне совершал и другое путешествие — без нас. Как бы самостоятельно, без огромной толпы туристов с автобусами, старостами, перекличкой. Как бы сам останавливался в отелях, знакомился, попадал в истории, не торопясь наблюдал чужую жизнь. Он путешествовал больше, чем ездил. Его любимцем был Миклухо-Маклай — «человек, обязанный путешествиям силой и обаянием своей личности». Он любил вспоминать Пржевальского, Нансена, Лазарева, Дарвина.

Большей частью мы становимся писателями, когда садимся за письменный стол, когда «божественный глагол до слуха чуткого коснется». Паустовский пребывал писателем и не работая. Он жил по-писательски, вел себя по-писательски...

Однажды, когда мы с Паустовским стояли у борта, на дрожащем от зноя горизонте океана показался пароход. Медленно вырастал из обреза воды нам навстречу. Паустовский разглядывал его в бинокль; судя по очертаниям, сказал он, это французский торговый пароход «Аякс». Построен еще перед Первой мировой войной для перевозки вин и фруктов. Пер-

вым капитаном на нем был потомок Бенигсена, Альберт Бенигсен. И дальше Паустовский рассказал удивительную историю про то, как «Аякс», застигнутый штормом, искал убежища на африканском берегу в маленькой закрытой бухте, где обозначено было какое-то подобие порта. Однако пирсы оказались почему-то пустыми, в поселке не было видно ни души. Зной и безлюдная тишина царили на берегу. Пароход причалил, подал несколько гудков, в ответ послышался рев. На дощатый пирс вышел лев, за ним другой. Львы подошли ближе к чугунным кнехтам, не боясь ни парохода, ни людей, и ревели, но как-то странно — хрипло, прерывисто. За ними стали выходить львицы, молодые львы, львята, они заполнили весь пирс, берег. Они ложились и смотрели на пароход. Их набралось около сотни. Команда взялась за ружья, но Бенигсен не разрешил стрелять. Он внимательно разглядывал это невиданное скопление львов, затем приказал налить ведра воды, спустился с ними по сходням и поставил ведра перед львами. Его не тронули. Первый лев подошел, лизнул воду, потом стал не лакать, а втягивать ее. Они подходили один за другим. Бенигсен велел наполнить питьевой водой большой бак, что стоял на камбузе. Его снесли на берег и туда ведрами подливали воду. Львы толпились, как овцы. Они терлись боками о ноги матросов. Львам отдали почти весь запас пресной воды. Когда «Аякс» пришел в Пирей, в цистернах не оставалось ни литра воды, команде выдавали вино. В Сицилии Бенигсен узнал о страшной засухе, поразившей Алжир.

Пароход меж тем приблизился. Без бинокля можно было рассмотреть на нем флаг с голубым крестом. Это был новенький финский лесовоз. Он прошел от нас неподалеку, и я удержался, — Господи, как я благодарен судьбе, или как там оно называется, что удержала мою не знающую снисхождения литературную молодость от насмешки, от того, чтобы уличить, ткнуть пальцем. Я был слишком привержен реализму, я не знал, что делать с этой сентиментальной историей, придуманной на ходу, а может, переиначенной из какого-то его

рассказа; не сразу я оценил прелесть сочинительства, игры воображения и выдумки. Что ему до этого финского лесовоза, он его не заметил, в упор не видел, его «Аякс» плыл всегда вдаль, по лезвию горизонта, флаг был неразличим. Не ближе к жизни, а подальше. Паустовский знал жизнь, знал неплохо, но ему надо было отдалиться, чтобы черты ее не резали глаза; поодаль она теряла ту обязательность, когда остается лишь обводить увиденное. Если ему удавалось найти нужную дистанцию, можно было дорисовать свое, воображаемое. Жизнь давала толчок. Чуть в сторону, вбок. Его влекло необычное. Он умел высматривать среди монотонных будней что-то несостоявшееся. Это был нелегкий труд, жизнь старалась обернуться деловой трезвостью, служебными заботами. Вблизи жизнь угнетала, не допускала отклонений.

В Неаполе мы попали на карнавал. Маски кружились, танцевали, пели. Длинная набережная переливалась огнями иллюминаций, огромные картины были сделаны из неоновых ламп. На них катились экипажи, кони перебирали ногами, кавалер опускался на колено перед дамой, распускались кусты роз, юноша целовал красотку, она взмахивала рукой, и огненные птицы поднимались в небо. А в толпе черт с горящими рогами поднимал маску, и под ней оказывалась хохочущая девчонка.

Паустовский восхищался вместе с нами, но что-то смущало его, как будто он попал в один из рассказов Александра Грина. Как бы это выразиться... Такие вещи несовместимы: реальность и романтика. Либо — либо, одно убивает другое: «...и тут же распяты, где горят, как кровь, вишневые лампочки». И тут же рядом из лампочек рекламное изображение нового телефонного аппарата.

Акимов сказал нам о Евгении Шварце, что первое действие в его пьесах превосходно, а второго нет, не знает, чем кончить. Наблюдение это показалось справедливым, но Паустовский промолчал. Он сочувствовал не Акимову, а Шварцу. Необходимость выстраивать сюжет его угнетала. В этом было что-то от заигрывания с читателем. Если бы можно было

писать без сюжетов, как бы ни о чем. Ни о чем — это был для него идеал прозы. Интересное начало, оно у Шварца само по себе драгоценность.

Время от времени в романтике начинают нуждаться. Паустовского то покидают, то возвращаются к нему. У него свое отдельное место, его можно узнать сразу, по нескольким строчкам. Писать под него — несложно. Труднее воспринимать мир, как он, с удивлением и восторгом, увидеть окружающее блистающим и странным.

Под деликатностью милого доброго сочинителя между тем таилась твердость, бескомпромиссность и спокойное бесстрашие. Мы испытали это в Болгарии, в Варне — первой нашей за границей. Впервые мы ступили на чужую землю. Было воскресенье. Десять автобусов ожидали нас в порту. Нас повезли по достопримечательностям, потом отпустили гулять по главной улице Варны. Движение было закрыто, и мы двигались вместе с толпой курортников, горожан. Не помню, то ли Сергей Орлов уведомил кого-то из своих болгарских однокашников по Литературному институту, то ли случайно повстречались в Варне. Помню лишь, как мы уселись в парке большой компанией. Молодые болгарские поэты, писатели, друзья Сереги. Ходили по рукам бутылки «Плиски», ракии. Читали стихи, нам пели болгарские песни. Были там, кажется, Джагаров, Блага Димитрова; очнулись мы, когда кто-то посмотрел на часы. Пять часов, то есть время отплытия «Победы». Мы бежали в порт, как, наверное, уже никогда после не бежали, за нами неслись болгары с бутылками. Белоснежная громада теплохода еще стояла на месте. Но трап был уже поднят. Туристы толпились на всех палубах и, когда мы показались, закричали: «Вот они!»

Запыхавшись, мы остановились перед уходящей ввысь стеной борта, крохотные, приниженные. Стальная, холодная, она неприступно нависла над нами. Некоторое время нас выдерживали, как бы не замечая, потом спустили веревочную лестницу. Болгары, видно, не очень-то понимали, что нас

ждет, они считали, что все обошлось, теплоход не ушел, это главное, и совали нам в карманы бутылки. Лестница раскачивалась. Я плохо переношу высоту, а у Сереги рука с войны была изувечена, да и сноровки у нас не было. Мы взбирались с трудом. Как я теперь понимаю, мы вполне могли гробануться. В трезвом виде мы наверняка не осилили бы этой цирковой лестницы. Это было свинство, мы лезли и матерились, только злость помогла нам. Когда перевалились на борт, мы уже не чувствовали себя виноватыми. Шли сквозь строй, на нас смотрели с осуждением, были и со злорадством — сейчас вам, голубчики, выдадут! — и с возмущением — что позволяют себе! У нас отобрали паспорта, велели привести себя в порядок и ждать вызова в такую-то каюту. Мы отправились в бар.

Теплоход стоял еще около часа. Нас хотели списать на берег. Паустовского вызвали к начальству и попросили как старейшего подписать от имени писателей просьбу отправить нас назад поездом за нарушение дисциплины. Паустовский благодушно развел руками. «Что случилось? Ничего не случилось. Подумаешь, делов, — сказал он. — Разве у нас воинская часть? У нас, по-моему, туристская поездка. Мы едем смотреть. Мальчики засмотрелись».

Неизвестно, что он там еще говорил, но теплоход отчалил. После ужина нас позвали в такую-то каюту, там сидели начальники, в центре плечистый атлет, расчесанный на пробор. Он коротко допросил нас: с кем мы выпивали, где, — затем постучал пальцем по столу, как бы давая сигнал, и нас стали воспитывать. Что мы из себя строим богему. Нам доверили, нас выделили, и в первом же порту мы подвели всех, это не просто нарушение, такие, как мы, способны... Ну ничего, даром нам не пройдет. Чем они только нам не грозили и здесь, и по приезде домой. Больше мы не сойдем, ни в одном порту нас не выпустят. Заграницы нам не видать. Будем куковать на теплоходе.

— Послушай, — сказал Серега тому атлету. — Ты где был на войне?

Был он, оказывается, в Москве, а потом в Куйбышеве.

— А мы на фронте были. Танкистами были, — пояснил Серега. — Чего ж ты нас пугаешь, дяденька?

Придя с войны, мы делили всех мужиков на фронтовых и тыловых. Никаких оправданий мы не признавали, все было просто. Своими были только те, кто стрелял. Поначалу мы бренчали орденами, медалями, но нас быстро окоротили, здесь тоже награждали за дело. В моем КБ те, кто не пошел в ополчение, стали там, за Уралом, пока мы воевали, шишками. Послушать их, так они натерпелись больше нашего. И те, кто ошивался в штабах, редакциях, и химики, и ремонтники, и боепиты — у всех имелись заслуги, все были причастны. Может, и были, но мы перестали носить даже колодки. Единственное, что отличало фронтовых, — это нашивки за ранения, но их на пиджак не присобачишь. Так постепенно все размазалось не разбери-поймешь. День Победы и то нельзя было как следует отметить, поскольку он оставался рабочим днем. Это мы, конечно, перешагивали, День Победы был наш, с утра по проспектам катили тележки инвалидов, гремели костыли, по всем шалманам, забегаловкам, пивнухам пели, пили, гуляли. По-прежнему никто не выставлялся своими наградами. Фронтовик узнавал фронтовика и без того, не отмерло еще чутье, нюх собачий на окопно-орудийно-танковую шатию. Вспоминали, узнавали, кто, где, как устроился. Многие — не очень. Фронтовик, ну и что с того, что фронтовик! Чего права качаешь?! Но выпадали моменты, когда фронтовое наше происхождение давало себя знать.

Часы, проведенные в Варне, были прекрасны, и плевать мы хотели на все дальнейшие заграницы. Пропадите вы с вашей Европой, с выходом на берег, с вашими запретами. Чем плохо сидеть в баре, плыть по океану, смотреть на порты и причалы, да о чем речь, счастье, что мы вообще живы, войну прошли и с тех пор одиннадцать лет живем! Мы отправились на палубу и пели под руководством Сергея Орлова: «Всю Европу за три перекура...» Была такая солдатская песня последнего

года войны. Море нам было по колено и черт не брат. Константин Георгиевич уверен был, что все обойдется. Все и обошлось. «Раз вас не волнует, то и у них интереса не будет» — примерно так говорил он. Мы угощали его ракией, он учил нас жить. «Данила, уходить от женщины нужно так, — говорил он мне, — чтобы не заставлять ее страдать». «А от жены, — продолжал он, — взяв с собою только машинку и рукопись, ничего более».

При всей своей мягкости и доброте он мог быть непреклонным. Когда «Известия» напечатали статью, где разносилась книга Паустовского «Далекие годы», Константин Георгиевич написал опровержение. Газета опровержения не напечатала, но вскоре главный редактор, человек по тем временам влиятельный, позвонил Паустовскому и принес извинения, поскольку «факты в статье не совсем подтвердились». Что-то в этом роде. Паустовский ответил ему сухо: «Вы оскорбляете публично, а извиняетесь лично. Я не принимаю ваших извинений». И повесил трубку.

«Олеандры — деревья. Слова Гранина о чужой красоте». Что за слова, не помню. Про себя не помню, может, умное что сказал, и пропало. Обидно. Хорошо было Гёте, за ним Эккерман ходил, записывал. От этого ему, может, и думалось лучше, мысли появлялись. А тут в кои веки произнесешь — и сам не запишешь, и другие не подберут. Раздумья, досаду, печаль вызвала эта запись. Потери, потери... Например, про ужин в стокгольмской ратуше: «Речь Акимова». Ничего не расшифровано. Смутно что-то нащупывается — была какая-то речь, резкая, парадоксальная, мы ее потом долго обсуждали, но сколько ни тереблю память, ничего не вытрясти. Разве что появился Николай Павлович Акимов на площади перед ратушей. Черный берет придавал ему вид европейский, в уличной толпе он не выделялся ни в Италии, ни в Швеции, артистическая натура его и природная элегантность помогали. Мы же сразу обращали на себя внимание. Прежде всего шириной брюк. Дома костюмы наши считались модными,

здесь же на каждом шагу ощущали ширину штанин, они развевались, как черные паруса. Большею частью костюмы наши были черных и синих тонов. Крутом мужики сухонькие, в легоньких продуваемых костюмчиках, одеты, в сущности, кое-как, мы же — как чугунные, плечи — во, затянуты в галстуки, застегнуты на все пуговицы, брючины полощутся, и стараемся ходить толпой. Сами жались друг к дружке — то не стыд, что вместе. А с брюками куда деваться — в гостинице не сузишь. Женщины наши в своем обмундировании маялись еще пуще, они на моды чувствительнее. Нас узнавали повсюду. Безошибочно. В парижском метро к нам с Сергеем Орловым подошли двое, муж и жена, и сразу: «Здравствуйте!» Эмигранты. А мы ведь стояли молча. Казалось, ничем не выделяемся. В бобочках, без пиджаков, у Сереги борода рыжая, скорее похож на норвежского моряка. А они — здравствуйте!

Было в этом узнавании и приятное — неожиданные знакомства. В Сорренто окружили нас бывшие итальянские партизаны, показывали свои военные фотографии... Но много лет еще, когда брюки наши достигли общепринятой узости, плащи укоротились, исчезли шляпы зеленого велюра, нас каким-то образом продолжали узнавать. И в Японии, и в Финляндии, и в Сиднее. Только в последнее время это прекратилось. Может, потому, что мы перестали на это обращать внимание, и многие поняли, что можно пренебрегать модой.

Кое-чем мы и тогда пренебрегали. С трудом. Гипс вроде сняли, а суставы не могли сгибаться. Разрабатывать надо было.

«Гид, бывшая русская, старуха в перчатках, всем недовольная».

Сразу вспомнил ее усохшую плоскую фигуру, так и вижу эту стерву, всю, от висючих кудряшек, словно из пакли, до высоких нитяных перчаток, забинтованную, запакованную... Водила она нас по Помпеям, а в термы не пустила. Хотя положено было по программе. Нравственность нашу блюла —

там, мол, неприличные картинки, похабщина, никому не нужная. Ей, этой мымре, может, и ненужная, а нам в самый раз. Молодость наша, и без того обгрызенная войной, была урезана строгостью школьных запретов, институтских общежитий, где армия комендантов всю энергию устремляла на то, чтобы никто ни с кем, никто ни к кому.

И вот здесь, в Помпеях, за тысячи верст от родимых ханжей, старорежимная эта белогвардейка лишала нас нашей законной программы, называла порнографией картины, сделанные две тысячи лет назад. Почему порнография? Для древних это было высокое искусство любви, культ любви с богатством ее радостей... Мы защищали древних этих мужиков лучшими словами, для нее же они были заодно с нынешними итальянцами — распутники, провонявшие чесноком. Брезгливо поджав губы, она стояла на своем, непреклонно, истово. Конечно, мы сами пошли в термы. Наше, положенное — отдай! Отправились под шипенье туристских дам: «Что о вас подумают! Какие интересы вы демонстрируете!»

«Гаага... Одинаковые домики, букеты цветов, колючий кустарник. С Акимовым по сумрачной улице. Велосипедисты с собаками в корзинах. Собаки лают на встречных».

Если бы так просто, без комментариев записывать увиденное. Не вмешиваясь. Придерживая свои суждения. «Вереница нарядных машин. Золотой ресторан. Из Хемингуэя. Лакеи во фраках красивые, как Оскар Уайльд. Ужин без хлеба. Просьба хлеба вызвала смятение». Здесь лишнее: «Из Хемингуэя». Тем более что Хемингуэй терпеть не мог шикарных ресторанов. Остальное безукоризненно. И ведь так каждый из нас мог, по-своему, но так.

«Гранин купил фарфоровую мельницу, она играет „Ах, майн либер Августин!“ Он обескуражен».

Интересно, чем это я был обескуражен? И вообще тут неточно. Мельница была деревянная. Мельница была прелестная, внутри у нее зажигалась лампочка, крылья вертелись, она в точности была похожа на ту мельницу у Дельфта, посреди

багрово-золотистых полей левкоев, тюльпанов и роз. Мельница была дорогой. Опять над моей покупкой недоумевали. Впрочем, никто не был доволен — кофточки плохо сидели, цвет не тот, туфли жали. А у Паустовского, если на то пошло, вообще произошел казус.

В Амстердаме нас привезли в универмаг. На сорок пять минут. Универмаг был огромен. Центральный зал как театр, высокий, с ярусами галерей. Я не успел подняться, я застрял в отделе игрушек, сувениров, среди детских и взрослых развлечений. Неподалеку от меня, в этом же отделе, копались Елена Катерли и Паустовский. Как всегда, Паустовского тянуло к гербам городов и флагам. Катерли, кажется, уже что-то успела купить по делу, женщина в любых магазинах расторопна и быстро ориентируется. Паустовский же зарылся в автоматах, луках со стрелами, парусниках, бумерангах.

Мельница нравилась мне тем, что она была игрушкой для всех друзей. Я купил ее, не колеблясь. Продавщица показывала Паустовскому вертолет. Желто-зеленый. Тогда они назывались геликоптеры. Пружинный завод действовал долго, чуть ли не пять минут. Вертолет был прекрасен. Паустовский решил купить его. Для Алеши или для Гали. Скорее всего, для себя. Всегда мы выбираем игрушки, в которые бы играли сами. Я взглянул на часы, пора было выбираться к автобусу. Катерли уговаривала Паустовского не брать вертолет, он был слишком дорогой. «Что вы купили, Данила?» — спросил Паустовский. Я показал ему мельницу. Мы вынули ее из коробки, она заиграла. «Видите!» — торжествующе сказал он Катерли и заплатил в кассу. Продавщица хотела упаковать геликоптер, но в последнюю минуту Паустовский решил проверить его полет. Мы отошли, завели его, винт завертелся, набирая обороты, и Паустовский подбросил игрушку вверх. Машина медленно стала набирать высоту. Жужжа, она поднималась все выше, запрокинув головы, мы зачарованно следили за желто-зеленой птичкой. Мы еще не осознали, что произошло.

Издали нас окликнул староста, нас ждали. Вертолет неторопливо плыл где-то на высоте второго яруса, потом, так же не торопясь, почему-то стал удаляться вглубь галереи. «Воздушное течение», — удивленно сказал Паустовский и помахал ему вслед. Я порывался бежать наверх, искать вертолет, но Паустовский взял меня под руку и повел к автобусам. Продащица что-то кричала нам вслед. Возможно, она просила подождать, а может, она хотела позвонить наверх, она не знала, что мы должны уезжать. Паустовский и ей помахал рукой.

В автобусе Паустовский сидел молча, глядя куда-то поверх голов, мечтательная улыбка не покидала его лица. Мы с Катерли хохотали. Почему-то никто из нас не испытывал ни сожаления от потери, ни сочувствия. Каким-то образом нам передалось ощущение Паустовского, и происшествие это превратилось в сказочную веселую историю. Она летела над нами до Северного моря, где на бакенах звенели колокола...

То был тоже урок, один из самых трудных уроков. До конца так и не усвоенный, имелся еще какой-то секрет, который я так и не постиг. Нет-нет да я и огорчаюсь, теряя какие-то вещи, упуская из рук возможности, они улетают, а я досаую на себя и не умею видеть в этом волшебную игру судьбы.

Мельница сохранилась. И дочь, а затем внук ее почему-то пощадили. Правда, лампочка не горит, ключ утерян, заводить ее нельзя, краска стерлась, но если пальцем вертеть крылья, то кое-как, хрипя, дребезжа, она выводит: «Ах, майн либер Августин». Никто, кроме меня, этой мелодии не различает.

Гранин Д.

Г 77 Чужой дневник / Даниил Гранин. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2019. — 416 с. + вкл. (16 с.).

ISBN 978-5-389-14093-6

Даниил Гранин — классик современной русской литературы, солдат Второй мировой войны, гуманист, общественный деятель, почетный гражданин Санкт-Петербурга, лауреат литературных и государственных премий.

В первую часть книги вошла документальная проза Д. Гранина, в том числе: «Запретная глава» — разговор с А. Н. Косыгиным о ленинградской блокаде; «„Блокадная книга“ без цензуры и ретуши» — о «Ленинградском деле» и трудной истории публикаций «Блокадной книги»; эссе «Страх» — о страхе как инструменте давления на личность и общество в целом; «Немецкий лейтенант и его дочь» — о проблеме вины и памяти...

Вторую часть книги составили рассказы «Церковь в Овере» и «Неожиданное утро», повести «Примечания к путеводителю» и «Прекрасная Ута», а также повесть «Чужой дневник», в которой рассказывается о первом заграничном круизе советских писателей на пароходе «Победа» в 1956 году.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

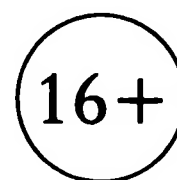
Литературно-художественное издание

ДАНИИЛ ГРАНИН
ЧУЖОЙ ДНЕВНИК

Ответственный редактор Кирилл Красник
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Владимира Сергеева
Корректоры Наталья Бобкова, Татьяна Бородулина

Подписано в печать 10.10.2018. Формат издания 60 × 90 1/16.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 22,68 (вкл. вклейку).
Заказ № 8166/18.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):



ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака „Издательство КоЛибри“
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:
www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y-APR-22307-02-R

ДАНИИЛ ГРАНИН

Чужой дневник

Даниил Гранин (1919—2017) —
классик современной русской литературы,
солдат Второй мировой войны, гуманист, общественный
деятель, почетный гражданин Санкт-Петербурга,
лауреат литературных и государственных премий.

Д. Гранин — автор вошедших в золотой фонд
современной прозы романов «Искатели», «Иду на грозу»,
«Картина», «Зубр». Автор (совместно с А. Адамовичем)
«ленинградского Евангелия» — знаменитой
«Блокадной книги».

Эта книга рассказывает о «советской Атлантиде»,
на фундаменте которой строит свое будущее
современное государство. Почему многие факты
ленинградской блокады скрываются? Почему первые
публикации «Блокадной книги» подвергались
жесточайшей цензуре? Что такое «историческая
память»? Почему Страх служит инструментом давления
на личность и общество?

В книгу вошла и пронизанная юмором, полная точных
деталей повесть-странствие «Чужой дневник», а также
путевые заметки, в которых Д. Гранин показал советскому
читателю мир без «железного занавеса» и «холодной войны».

Заманчиво было бы в исторической науке ставить
эксперименты: что было бы, если бы...

Пока что не получается.

Д. Гранин

© Юрий Белинский / ТАСС

ISBN 978-5-389-14093-6

02



9 785389 140936